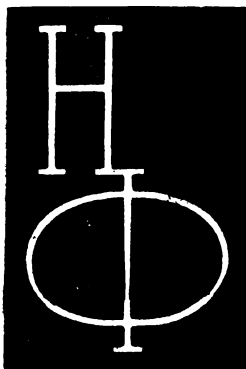
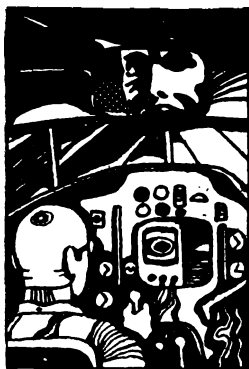


СБОРНИК
НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ





ВЫПУСК 13



СБОРНИК
НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ

Издательство „Знание“
Москва 1974

- С23 **Сборник научной фантастики. Выпуск 13.**
М., «Знание», 1974, 224 с.

В настоящем сборнике напечатаны повести и рассказы как советских, так и зарубежных авторов, в частности повесть Г. Гуревича «Приглашение в зенит», рассказы В. Фирсова, Р. Подольного, С. Лема, а также литературно-критические статьи Е. Парнова и В. Ревича.

8РС

С $\frac{70302-011}{073(02)-74}$ 131—72

© Издательство «Знание», 1974 г.



Георгий Гуревич

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗЕНИТ

Глава I. ДЕЛО О РОЗЫСКЕ ИСЧЕЗНУВШЕГО
(Материалы из папки следователя)

1. Постановление о производстве городского розыска

10 ноября 19.. года я, следователь отдела милиции г. Ленинграда, старший лейтенант Тверичев А. И., рассмотрев материалы об исчезновении г-на К., нашел,

что гражданин К., находящийся в командировке в городе Ленинграде, выбыл в неизвестном направлении из гостиницы «Октябрьская» 2 ноября около 16 часов, оставив документы и лично ему принадлежащие вещи, но до сего дня не возвратился и себя не обнаружил, а потому

постановил:

объявить розыск г-на К., рождения 1917 г., уроженца г. Москвы, литератора, беспартийного, ранее не судимого.

Всем лицам, знающим о пребывании г-на К., известить Уголовный розыск г. Ленинграда.

Меры пресечения: без мер пресечения.

Приложения: 1. Фотокарточка.

2. Словесный портрет.

Рост выше среднего, около 175 см., фигура полная, голова круглая, цвет волос — черные с проседью, глаза карие, лицо овальное, лоб скошенный, брови широкие, нос большой, тонкий с горбинкой, основание носа опущенное, уши не выяснены, особые приметы — без примет. Характерные привычки не отмечены. Пальто демисезонное, двубортное, серо-голубого ратина, костюм полушерстяной, синий с голубой ниткой.

Дактилоформула не снималась.

2. Из показаний дежурной пятого этажа

...Мы, дежурные, помещаемся в начале коридора, так что каждый посетитель проходит мимо конторки, прибывающий получает ключи, убывающий сдает. Хотя в коридоре тридцать номеров, всех проживающих помню по личности. Конечно, бывает, что кто-нибудь прошел незамеченный, потому что за конторкой не сидишь безотлучно, имея другие обязанности, как-то: прием и сдача белья, наблюдение за уборкой, регистрация... Гражданина К. помню хорошо, полный из себя мужчина, седоватый, в синем костюме с голубой ниткой, полушерстяном. Первое время держал себя тихо, как положено командировочному, уходил в десять утра, приходил к ночи тверезый. Однако в пятницу уже загулял. В ночь не пришел, явился под утро в выпившем состоянии. Безобразия не допускал, вином, однако, пахло. Тут ему был телефонный звонок с приглашением, я подала записку. Он прочел, заворчал: «Поспать не дают». И велел разбудить в 11. Теперь возвращается после обеда, веселый, видно, что добавил. «Ну все,— говорит,— теперь спать буду до поезда». Но часу не прошло, опять его несет куда-то. «Деньги на билет у вас, паспорт у вас, а я ухожу». Не моя обязанность, спрашивать, куда идет. И больше я его не видела в ту смену. Когда заступила опять, через двое суток, вижу, что паспорт в конторке и билет просроченный до Москвы, купейный в скором поезде. Дело идет к празднику, у нас в вестибюле на чемоданах сидят, а номер пустует по причине гражданина, который выпивает и просрочил командировку. Я написала рапорт, как положено, а вещи с понятиями вынесла в кладовую, согласно описи.

Больше по делу показать ничего не могу.

Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена.
Дежурная по этажу (подпись).

3. План оперативных действий по розыску исчезнувшего

I. Запросы:

- а) в картотеку неопознанных трупов и в морги;
- б) в больницы — о внезапно заболевших и покушавшихся на самоубийство;
- в) в милицию — о задержании неимеющих паспорта;
- г) в железнодорожную милицию — о происшествиях на линии Москва — Ленинград.

II. Обыск. Осмотр вещей исчезнувшего.

III. Выявление служебных и родственных связей.

IV. Выезд в Москву по месту жительства исчезнувшего.

4. Из тетради следователя два дня спустя

Среди неопознанных трупов,
в моргах,
среди внезапно заболевших, доставленных скорой помощью,
среди задержанных на улицах за правонарушения
разыскиваемый не обнаружен. Соответствующие версии отпадают.

При обыске установлено, что в гостинице оставлен небольшой чемодан с застёжкой-молнией без замка, в чемодане — нательное белье, умывальные принадлежности, книги для чтения, черновики выступления исчезнувшего. Бумаги, по показаниям дежурной, были разбросаны на столе. Все рисует картину непредумышленного исчезновения или умелой симуляции непредумышленного исчезновения.

Получена справка из Управления трудсберкасс гор. Москвы. На счету г-на К. имеется около шестисот рублей. В последнее время изъятия крупных сумм не было.

И этот факт против предумышленного исчезновения.

Сосредоточил усилия на выявлении связей в Ленинграде.

5. Из показаний г-ки О. секретаря семинара

Исчезнувший гражданин К. был приглашен на семинар по научно-художественной литературе наравне с другими авторами для обсуждения их произведений.

Согласно отпущенным фондам г-ну К. был забронирован номер в гостинице «Октябрьская» и в соответствии с его пожеланиями заказан билет на субботу 2 ноября на скорый поезд № 29. Никаких претензий на обслуживание г-н К. не заявлял.

Произведения его обсуждались на вечернем заседании 1 ноября. Критика была нелицеприятной, принципиальной, взыскательной и бережной. В заключительном слове К. благодарил за откровенную критику. Благодарность внесена в протокол.

После закрытия семинара К. был приглашен на товарищеский ужин, где сидел на дальнем конце стола рядом с неизвестной гражданкой лет тридцати пяти, блондинкой, с прической «конский хвост». С этой же блондинкой он и ушел с ужина.

Приписка следователя: «Блондинка! Вот оно! Версия «случайного загула». Может и уголовщина. Искать блондинку!»

6. Из показаний писателя Л.

Лично я мало знаю К., поскольку он житель другого города. Знаю по произведениям. Он способный человек, даже очень способный, из числа тех, которые на каждом месте будут полезны. Он мог быть хорошим педагогом и хорошим инженером, и литератор он довольно хороший... не выдающийся. Не хватает ему все же специфической одаренности, это ощущается в его слоге. Естественно, мы дали К. понять это. В том и задача критики, чтобы указать автору его недостатки. Но авторы, видите ли, обладают особо болезненной чувствительностью. Не лишено вероятия, что К. воспринял нашу критику несколько нервозно. Я даже специально пригласил его к себе, чтобы в домашней обстановке в товарищеской беседе мягко разъяснить ему нашу точку зрения. К. был у меня днем 2 ноября и ушел успокоенный. Мне никак не приходило в голову, что мы видимся в последний раз.

Да, это я звонил в гостиницу, чтобы пригласить его на обед. Не успел это сделать накануне. К. оказался далеко от меня и был очень увлечен беседой с незнакомой мне гостьей: хорошенькой блондинкой лет 24—25. На том же конце стола сидел молодой ученый Ф., активный участник нашего семинара. Мне кажется, что он ушел одновременно с К. Поищите этого ученого.

7. Личное письмо следователя. Три дня спустя

Василий Степанович!

Обращаюсь к Вам, как к бывшему учителю, не только как к начальнику. Как вы посоветуете?

Поехал я в Москву допрашивать жену исчезнувшего и, честно говоря, хотел даже проверить версию злоумышленного участия жены в убийстве мужа. Помню вы объясняли нам, что был такой случай в Саранске. Но фактов никаких, и внешнее впечатление против этой версии. Самостоятельная женщина, кандидат наук, в наследстве не нуждается. Да и нет там никакого наследства: ни дачи, ни машины, на книжке шестьсот рублей, доверенность на нее, на жену же. Очень нервная, на щеках красные пятна. Глаза заплаканы, а сама то и дело на крик: «Вы плохо ищете. Человек погиб или погибает, а вы тут время теряете. Буду жаловаться». Спрашивал, нет ли знакомых в Ленинграде. Припомнила, что муж хотел зайти к бывшему учителю Артемию Семеновичу. Адрес нашла. Но пустой оказался номер. Старик умер, недавно, 9 декабря. Еще намекал насчет случайных знакомств. Опять в крик: «Не может быть! Двадцать лет живем, в ноябре юбилей, не было такого». Ищите, твердит, где-нибудь на окраинах, на пустырях. Он у меня фантазер, любит бродить, где люди не ходят. Забрел куда-нибудь и там пропадает.

Ну вот, как Вы действовали бы, Василий Степанович? Вы меня учили рассуждать логически, а логика выводит меня на блондинку. По версии чудачества я не умею искать.

8. Ответная записка

Толя, приветствую!

Городской розыск тебе разрешен. Считаю, что действуешь в основном правильно. Блондинку ищи. Но не упускай из виду и чудаковатости. Логика логикой, а подход должен быть индивидуальный. Имеешь дело с писателем, чья личность выражается и в произведениях тоже. Мой совет: почитай внимательно. Может быть, он в народ мечтал уйти, как Лев Толстой, а теперь подался в матросы или в лесорубы. Почитай книжечки исчезнувшего, потрать вечеров — другой. У меня все. Действуй!

9. Из личных заметок следователя

Третий день читаю эту чертову фантастику. Ракеты, кометы, планеты, дюзы, грузы, пришельцы всякие. Вообще-то занятно, но к делу отношения не имеет. Исчезнувший в народ не хотел, податься — ни в лесорубы, ни в матросы. Его больше интересовало будущее: космическое и океанское. Там у него японец одержимый возненавидел океан, захотел его осушить. Японское море от-

менил совершенно. И моего одержимого понесло океан осушать, что ли? Без денег и без документов во Владивосток?

Чокнутый этот автор. Всякого можно ожидать. Но все равно, начинать надо с логичных версий.

Блондинка все еще не найдена.

10. Из показаний Ф. канд. физ.-мат. наук

...С гр. К. познакомился на семинаре 1 ноября. Читал его вещи ранее, удивился, что грамотный и, видимо, рассуждающий человек сочиняет такие ненаучные произведения, переполненные элементарными ошибками. После обсуждения разговорился с ним, сидя за столом, пригласил к себе домой. Беседовали дружелюбно, кое о чем спорили, в чем-то согласились. Сидели до трех часов, потом К. заночевал у меня. Утром отвез его в гостиницу на своей машине, и больше я его не видел. Дорогой К. говорил, что уедет в Москву вечерним поездом. Где я сам был? Уехал в Пушкинские Горы на машине. Часов в двенадцать выехал. Зачем? Просто так. В Риме бывал, в Нью-Йорке бывал, в Каире бывал, в пушкинские места не попал. Стыдно же! А тут суббота, воскресенье плюс праздники — почти неделя в распоряжении. Нет, не один, ехали компанией, на трех машинах. Фамилии могу назвать, подтвердят, конечно.

Знаю ли я блондинку с прической «конский хвост»? Более или менее, надеюсь, что знаю. Это моя законная жена, первая и единственная, с которой живу восемь лет и собираюсь жить дальше.

11. Характеристика

Г-ка Д. Ф. работает в организации п/я №... в должности заместителя заведующего лабораторией специального назначения. Проявила себя ценным работником, является автором рационализаторских предложений. Отношения с товарищами хорошие...

12. Личные заметки следователя

Вот тебе и блондинка!

Но в результате полностью прослежено времяпрепровождение К. накануне исчезновения.

Пятница 1 ноября. 11.00—18.00 — работа семинара,
19.00—22.30 — банкет.

Суббота 2 ноября. Ночь — 8.00 — в гостях у Ф.
8.00—11.00 — отдых в гостинице.

12.00—15.00 — в гостях у Л.

16.00 — возвращение в гостиницу.

17.00 — уход из гостиницы. Исчезновение.

В 16.00 приходит в гостиницу с намерением спать до поезда. Час спустя уходит. Что произошло в течение часа? Телефонный вызов? Но Ф. уже уехали. Новое лицо? Никаких намеков не было. Что-то взбрело в голову? Опять версия чудачества?

Надеюсь на городской розыск.

13. Из показаний г-ки Т. кондуктора трамвая

Конечно, пассажиров полно, летом битком набито, стоят на одной ноге, другую поджимают. Но осенью до парка порожняком гоняем. И вот под вечер в субботу этот ехал: без шляпы, пальто ратиновое, длинноватое против моды. И полуботиночки, несмотря на слякоть. Ему бы на Невском тротуары топтать, нечего делать в парке осенью. Непонятный пассажир! И ведет себя странно: пузырьками какими-то бренчит, на свет рассматривает, сам с собой разговаривает как психический. Глядит на пустое место и бормочет. Один раз даже крикнул в голос: «Решусь!» Хотела спросить: «На что решаетесь, гражданин?» Да посовестилась. Не приучена мужиков задевать. Доехал до самого кольца, слез и пошел. Я еще заметила: не к дачам пошел, а в парк. Но время было позднее, я побежала в будку погреться, мне за мужчинами ни к чему следить.

14. Из заключения по делу о розыске...

1) Установлено, что гр. К. вышел из гостиницы «Октябрьская» 3 ноября около 17.00, не имея при себе ни документов, ни вещей, ни значительной суммы денег, без шляпы, и в городских полуботинках...

2) Из книги гр. К. видно, что он давно размышлял о самоубийстве, причем оправдывал это недостойное советского человека деяние...

3) Установлено, что...

Впрочем, читателю изложены все факты, известные следователю. Читатель и сам может сделать вывод.

Сделали? А теперь проверьте себя. Прочтите, что мог бы рассказать сам исчезнувший.

Глава II. ПРИГЛАШЕНИЕ

Тррр!

Телефонный звонок.

Пронзительный, трескучий, тревожный, требовательный трезвон. Трр! Трубку снимите. По-хорошему просят.

В прежние времена неожиданность входила в дом со стуком, набатом, заревом, цокотом копыт, лаем собак, гулом выстрелов. В XX веке приключения начинаются с телефонного звонка.

Но я не хочу приключений сегодня. Лежу на кровати, устало свесив руки, даже трубку снять тяжело. Жду-жду-жду, когда же уймется этот ненужный звонок.

Ну, кто мне позвонит сюда в гостиницу? Ошибка, наверное.

Ненавижу гостиницы. Что-то есть противоестественное в комнате, которая отдается всем желающим, как проститутка. Что-то неживое в этой мужской упорядоченной аккуратности, когда на столе не валяется лифчик, а под подушкой не может оказаться взвод игрушечных солдатиков в засаде.

Да, вы угадали, я зол, я устал, я разочарован, высосан и измотан. Боком мне вышла эта поездка в Ленинград. Боком!

А началось так мило: «Многоуважаемый, ваша последняя книга вызвала всеобщий интерес. Многие читатели хотели бы высказать свое мнение. Мы были бы очень обязаны, если бы вы нашли время принять участие в симпозиуме, посвященном...»

Это весьма лестно, если «книга вызвала общий интерес». Я даже сожалел, что не могу взять всех родных, друзей, знакомых и коллег, чтобы они прониклись ко мне уважением. Я с удовольствием занял место в президиуме, положил локти на скатерть и, благожелательно улыбаясь, приготовился выслушивать всех заинтересованных.

Но тут началось непредвиденное.

На трибуну вышел молодой человек с оттопыренными ушами, кандидат физико-математических наук такой-то и заявил:

— Один ученый так сказал о своем ученике: «Хорошо, что он стал поэтом, для математики у него не хватало воображения». Замечание очень глубокое и меткое. Встречаясь с так называемой научной фантастикой, я всегда поражался редкостному отсутствию воображения у авторов.

Я представляю себе: если бы фантасту XVIII века кто-нибудь шепнул, что из Петербурга в Москву надо будет возить по миллиону пудов в сутки, что живописал бы он? Конечно, гигантскую телегу величиной с дом и упряжку битюгов размером с жирафа. В XX веке фантасты знают, что к Луне летают на ракете. И что

изображают они, желая рассказать о полете к звездам? Нехимическую, фотонную, субсветовую, но все равно — ракету. Космического битюга! И что вообразит фантаст, если речь пойдет об осушении океана? Насос! Примерно такой, какой качает у него воду из колодца на даче. Или несколько больше — насос-битюг. Я могу привести расчеты, если вас не пугают цифры... (он действительно привел расчет, из которого получалось, как дважды два четыре, что если все берега Японского моря уставить насосами, они будут выкачивать воду 177 лет и три месяца с половиной, при этом уровень океана поднимется на пять метров и человечество потеряет больше, чем приобретет).

Этого молодого человека я начал слушать с благодушной улыбкой, так и застыл, забыв согнать улыбку с лица. Спохватился, когда он сходил с трибуны. А на его месте уже стоял другой оратор — седоватый, румяный, с острой бородкой. Председатель назвал фамилию. Конечно, я знал Л. Автор лирических рассказов о лесниках и рыбаках, простых людях, у которых набираешься мудрости, сидя у дымного костра комариными ночами.

— Не совсем понимаю, для чего тут называли цифры, — так начал он. — У нас ведь не проект обсуждается, а книга, произведение художественное. А что есть художество? Это изображение. Художник подбирает краски, писатель копит слова, детали. Вот ноябрьская осень: белые тропинки на зеленой траве. Голая земля уже промерзла, а под травой снег тает. Замерзшие лужи хрустят словно сочное яблоко. Под матовым ледком белые ребра: ребристая конструкция, как у бетонного перекрытия. Может быть, бетонщики у луж позаимствовали форму? Вот такие штрихи копишь для читателя, на таких ребрах держится художественность. Но я не понимаю, может быть, мне здесь объяснят на симпозиуме, на каких ребрах держится фантастика? В будущем никто из нас не бывал, в космосе не бывал, океаны не осушал, автор не осушал тоже. Какими же наблюдениями он потрясет нас? Как поразит удачным словом, точной деталью, если он выдумывает все от начала до конца. Я прочел десять страниц и сдался. Язык без находок, холодный отчет, деловитая скороговорка. И я подумал: может быть, так называемая фантастика — просто эскапизм — бегство от подлинных тревог действительной жизни в нарядный придуманный мир? И одновременно эскапизм автора — бегство от подлинных тревог мастерства в условную неправдивую нелитературу. На рынке принимают стертые монеты, невзыскательный читатель принимает стертые слова. Но это не искусство!

Тррр!

Требовательно! Трескуче! Настырно!

— Ну кто там?

— Миль пардон! Простите великодушно, сударь, что я нарушаю ваше одиночество,—голос старческий, надтреснутый, и лексика какая-то нафталиновая.— Я обращаюсь к вам исключительно как читатель («Знаем мы этих читателей— начинающий поэт, или изобретатель вечного двигателя»). Мне доставило величайшее наслаждение знакомство с вашим вдохновенным пером. Я просил бы разрешения изъяснить чувства лично.

— К сожалению, я уезжаю сегодня...

— Я звоню из вестибюля гостиницы. Я специально приехал...

— Ну, если специально приехали...

Проклятая мягкотелость! Теперь еще вставать, галстук завязывать. Ладно, от вестибюля на пятый этаж путь не близкий. Полежу, подумаю. Так на чем я остановился?

Да, на выступлении Лирика. А потом были и другие, все в том же духе. А потом еще банкет. И отказаться неудобно, обиженному неприлично признаваться, что он обижен. Вот сидели мы за длинным столом, закусывали тосты холодным языком и заливной осетриной. Наискось от меня оказался ушастый физик, почему-то он не пил ничего, а рядом со мной блондинка спортивного вида с конским хвостом на макушке и экзотическим именем Дальмира. Эта охотно чокалась и лихо опрокидывала. После третьей рюмки я начал зачем-то жаловаться блондинке на ушастого физика. Дальмира вспыхнула, сказала, что заставит его загладить обиду немедленно. Трезвенник был призван, оказалось, что он законный муж конского хвоста. Ему велено было извиняться, а мне — принять извинения и в знак примирения и вечной дружбы немедленно ехать к ним в гости.

Супруги увезли меня на собственной машине, какой-то особенной, трехцветной, бело-черно-голубой. Физик сел за руль, вот почему он не пил на банкете. Вел он лихо и всю дорогу рассказывал, как ему удалось поставить необыкновенное кнопочное управление. И в квартире у них все было особенное: потолок цветной, на дверях черные квадраты и старинные медные ручки. И салат подавали на листьях, а не на тарелках, и масло — на листьях, а листья специально хранились в холодильнике. Потом еще был сеанс любительских фильмов о Каире, Риме, Суздале и Сестрорецке. Физик был главным оператором, а Дальмира — кинозвездой. В разных одеждах она улыбалась на фоне пирамид, соборов и отmelей. Я восхищался, высказывал восхищение вслух, а сам все думал, зачем же нужно было бить наотмашь, а потом улещивать? Все ждал объяснений, потом сам навел разговор:

— Есть темы,— сказал я,— и есть детали. Книги пишутся не о насосах.

— Вот именно,— сказал Физик.— И не пишите о насосах.

— Я и не писал о насосах,— выгребал я на свою линию.— Я писал о перспективе развития. Бытует модное мнение, что планета наша тесновата, иные за рубежом воинственность оправдывают теснотой. Океан у меня — не только Тихий океан. Это символ простора. Я хотел доказать, что впереди простор в будущем.

— Но вы не способны доказывать,— возразил он.— Доказывает наука, опытами, точными цифрами. А наука в наше время так сложна, она не по плечу дилетанту. Вычислительная машина — это же целый зал, синхрофазотрон — заводской цех. Открытия уже не делаются за письменным столом, и кустарные советы только отнимают время у специалистов. Мы справимся. Сделаем все что потребуется, рассчитаем на сто лет вперед. И океаны ваши осушим и новые нальем. Но не убогими насосиками. И не пишите о насосах. Вы писатель, у вас получают люди. Например, этот японский юноша, возненавидевший океан, он мне просто нравится.

Часа в три меня уложили подремать на диване, а в восемь Физик отвез меня в гостиницу. Я поднялся на пятый этаж, преодолел коридор с красной дорожкой и еще коридор с синей дорожкой, и дежурная вручила мне вместе с ключом записку — сверхлюбезное и настойчивое приглашение Лирика на обед в семейном кругу. И не было основания отказаться. Физика я посетил, почему обижать Лирика?

Лирик жил на окраине, где-то за Старой Деревней, в вылинявшем серо-голубом доме с резными наличниками. Видимо, лет двадцать назад здесь были дачи; теперь город пришел сюда, многоэтажные корпуса обступили садики, выше сосен поднялись строительные краны. Под самым забором Лирика ерзал и рычал бульдозер. Я долго ждал за калиткой, слушал нервический лай собаки, потом меня провели через мокрый сад с голыми прутьями крыжовника и через захламленную террасу в зимние горницы. Там было натоплено, душно, и стол уже накрыт. Опять я пил, на этот раз приторные домашние наливки. И закусывал маринованными грибочками, подгорелыми коржиками и вареньем трех сортов.

Лирик рассказывал о своем саде: какие там летом яблоны и жасмин, и настурции, и ноготки и где он достает черенки, и откуда выписывает рассаду. Показывал трофеи охотничьих походов: чучело глухаря, шкурку лисицы. А я все слушал и удивлялся: зачем было нападать так сердито, чтобы потом угощать радушно? Все ждал объяснений, потом сам навел разговор:

— В литературе есть темы и есть детали,— сказал я.— Книги пишутся не о насосах.

— В точности это самое я говорил вчера,— подхватил Лирик.— Вы понимающий инженер, это чувствуется в каждой строчке. Но книги пишутся не о насосах. Есть только три вечных темы: любовь, борьба, смерть.

— Я и писал на вечную тему,— упрямылся я.— Писал о вечной борьбе человека со скупой природой. И о борьбе разведчиков с нерешительными домоседами. Во все века идет спор: идти вперед или тормозить? Надо показать, что впереди просторно, наука может обеспечить тысячелетнее движение.

И тут вмешалась жена Лирика. До сих пор она сидела молча, только пододвигала вазочки с вареньем.

— Что она может ваша наука? Лечить не лечит, губит все подряд. Вот-вот-вот!— она показала на окно.— Такая благодать была. А теперь на розах копать, яблони не плодоносят. И люди обесплодили. Старшую замуж выдали, говорит: «Не жди внуков, мама». А вы говорите: «Наука обеспечит!» Невыносимо! Невыносимо!

И она выплыла, хлопнув дверью, монументальная, полная достоинства и благородного гнева.

Лирик, несколько смущенный, погладил мою коленку:

— Не обижайтесь на нее, дорогой. Вы поймите: людям нужны простые понятные радости: бабушке — внуков понянчить, дедушке — с удочкой посидеть у залива, послушать музыку тишины. Сейчас за тишиной надо ехать в Карелию — за двести километров. На двести километров от города под каждым кустом бутылки и консервные банки. И тут еще ваша оглушительно-барабанная мечта о насосах. Я прочел, меня дрожь проняла. Представил себе эти ревущие жерла, глотающие целую Невку зарáз. Вместо залива топкий ил, вонючая грязь отсюда и до Кронштадта, ржавые остовы утонувших судов, разложившиеся утопленники. Дорогой мой, не надо! Пожалейте, будьте снисходительны. Оставьте в покое сушу, море и нас. Мы обыкновенные люди со слабостями. И писать надо, учитывая наши слабости: чуточку снисхождения, чуточку обмана даже, утешающего, возвышенного. А у вас холодная логика конструктора. Она, словно сталь на морозе, к ней больно притронуться. Вы цифрами звените как монетами, все расчет да расчет. Для писателя у вас тепла не хватает...

И вот разоблаченный я лежу на гостиничной койке, бессильно свесив руки. Для науки у меня не хватает воображения, для писателя — тепла. И тут еще является читатель, который испытывает величайшее наслаждение, хочет выразить чувства лично...

Стук!

Как, уже? Преодолеет лифт и две ковровых дорожки?

Грузный, лысый, с шаркающей походкой. А одет нарядно, запонки на манжетах, манишка, старомодный шик. И французит. У нас это вышло из моды лет пятьдесят назад. Из эмигрантов, что ли?

— Простите, по телефону не расслышал фамилию.

— Граве. Иван Феликсович Граве.

— Астроном Граве? Но мне казалось, что вы старше.

— Я не тот Граве, не знаменитый. Тот — мой двоюродный дядя. Он умер недавно в Париже. Меня тоже увезли в Париж мальчиком. Там я учился, там начал работать. Но в моей семье Петербург всегда считали родным городом. И вот удалось вернуться. Теперь я тоже работаю в Пулковке... по семейной традиции.

«Ну и чего же ты хочешь от меня, племянник знаменитого Граве?»

— Миль пardon,— пыхтит он.— До сих пор я не имел чести лично, тет-а-тет, быть с писателем — жени де леттр. Даже смущен немножко. И недоумеваю. По вашим вещам я составил себе представление, как о юноше, худощавом, порывистом, нервном, с пронзительным взором и кудрями до плеч. Фантастика, как поэзия, — жанр, свойственный молодости. А вы человек в годах, склонный к тучности, я бы сказал...

Пока что я оказался объектом наблюдения. Что за манера — прийти в гости и вслух обсуждать внешность хозяина!

— Внешность обманчива. Кто же судит по внешности?

— Но согласитесь, однако, что человек с моим обликом не может сделать великое открытие.

(Все ясно — непризнанный изобретатель. Сейчас будет уговаривать написать о нем роман).

— Для открытия прежде всего необходима аппаратура, — говорю я. И собираюсь повторить слова Физика о синхрофазотроне.

— Да-да, техника, оборудование, — подхватывает гость. — Астроном, прикрепленный к рекордному рефлектору, как бы получает ярлык на большие открытия. Впрочем, и тема играет роль. Вы замечали, что широкую публику интересуют не все разделы астрономии, а только крайние — экстремальные: с одной стороны, Луна, Марс, Венера — нечто достижимое, с другой — квазары, пульсары, пределы видимости. Альфа и омега.

— А на вашу долю выпала буква в середине алфавита?

— Именно так, отдаю должное вашей проницательности. Мю, ню — что-то в таком духе. Знаете, как это бывает. Попал в обсерваторию к Дюплесси, шеф занимался шаровыми скоплениями, мне поручил наблюдение переменных в шаровых. Так я и застрял на

этой теме. А кого интересуют шаровые? От Солнца — тысячи и десятки тысяч парсек. Практически недостижимы, философского интереса в них нет. Среднее звено. Ученый, работающий в среднем звене, не может не числиться средним.

«Сочувствия ищет, что ли? Предложит роман о гении, занятом средним делом?»

— Среднее звено, — продолжал Граве. — Хотя в шаровых очень много увлекательного...

— Вероятно, увлекательно для специалистов, — сказал я. — Для немногих избранных. Рядовых людей волнует то, что их тоже касается, например, есть ли жизнь в космосе?

— Тут не может быть двух мнений, — согласился он. — Да, всех волнует жизнь в космосе. Когда Моррисон и Коккони ловили радиосигналы с Тау Кита, об этом писали все газеты. А что может быть наивнее: из миллиардов звезд выбрать одну и ждать, что именно оттуда идут радиопередачи? Уж лучше бы направить радиотелескоп на шаровое. До миллиона звезд в одном направлении, в миллион раз больше шансов, чем у Моррисона и Коккони.

Я насторожился. Кажется, этот Граве — человек с сюрпризом.

— Вы ловили сигналы? — спросил я, поднимая голову.

От тотчас ушел в кусты:

— Нет, я только хотел бы написать небольшую повесть о жизни в космосе. Вы не отказали бы мне в совете? Вот мой герой ловит сигналы из космоса. Что ему передают?

(Совет? Этого добра хватает).

— О сигналах написаны сотни повестей, — сказал я. — Надо придумать что-нибудь оригинальное. Ваш герой астроном и наблюдает переменные? Тогда сама переменная может быть прожектором. Звезда мигает, получаются точки и тире.

— Вы советуете мне наблюдать неправильные переменные в шаровом?

Я насторожился. Темнит этот Граве, путает.

— Разве я астроному советую? Я советую вставить в повесть.

— Да-да, как раз это я имел в виду: описать наблюдателя. А что именно, извините за назойливость, вы рекомендовали бы передавать со звезд?

— Обычно рекомендуют какую-нибудь геометрическую истину: 3—4—5, 6—8—10 — стороны египетского треугольника. Но у вас десятки тысяч световых лет, нет возможности ждать ответа на вопрос. Надо сразу передавать что-либо существенное. Говорят, всю сумму знаний можно вместить в часовую передачу.

— Сумму знаний вы рискнете передавать неведомо кому?

— Пожалуй, не рискнул бы. Тогда можно передать чертеж космического экипажа. Вот карета, приезжайте к нам в гости.

— При условии, что на Земле сумеют сделать эту карету.

— А как же иначе? Вот если бы они побывали на Земле, они могли бы оставить корабль в какой-нибудь пещере. Тогда можно было бы передавать ее местонахождение, карту с крестами, как в «Острове сокровищ».

Граве, кряхтя, поднялся с кресла. Вытянулся, словно премию собрался вручить.

— Эта догадка делает вам честь,— сказал он торжественно.— Смотрите. Вот что я получил в результате трехлетних наблюдений неправильных переменных в скоплении M13 — шаровом Геркулеса.

И было это как дверь в сказку в комнате Буратино. Гостиничный номер, тумбочка светлого дерева, лампа на гнутой ножке, под стеклом — список телефонов администрации, шишкинские медведи на стене. И в заурядном номере заурядный старик, пыхтящий от одышки, вручает мне астрогамму — привет чужих миров.

Светокопия, красновато-коричневая, такие делают сейчас для строителей. На ней пунктиром контурная карта. Один участок выделен квадратиком. В углу он же в увеличенном масштабе. На нем тоже квадратик. Так четырежды.

— Узнаете?

Конечно, я узнал. На главной карте лежал, уткнув нос в сушу Финский залив, похожий на осетра с колючей спинкой. Первый квадрат выделял дельту Невы с островами, следующий вырезал кусочек материка, примерно там, где находилась дача Лирика. На третьем квадратике виднелось нечто, похожее на гроздь бананов (озера, возможно), на четвертом — скала, похожая на удлиненную голову, словно на острове Пасхи. Последний квадратик находился в ухе этой головы. От него шла стрелка к группе точек. К планетной системе, что ли? Планет многовато.

— Узнаете местность?— повторил гость.

— Вы уже были там — у этой головы с ухом?

— Мне не хотелось осматривать камень без свидетелей. Я просил бы, я надеялся, что вы не откажетесь присутствовать. Если бы вы согласились составить мне компанию поутру.

— Завтра утром я буду в Москве.

— Какая жалость. А сегодня?

— Сегодня поздно уже. Через час темнеть начнет. Вообще мне надо бы отдохнуть перед дорогой.

Гость покачал головой с сокрушенным видом.

— И вы еще утверждаете, что рядовых людей волнует проблема космических контактов. Кого же волнует, если вы, писатель-фантаст, автор произведений о пришельцах, самое заинтересованное лицо, предпочитаете воздержаться от лишних усилий? Сами же мне советовали составлять схемы по сигналам неправильных переменных, а когда я показываю вам подобную схему, выясняется, что вам важнее отдых перед дорогой. Что же спрашивать с рядовых читателей? Пожмут плечами, улыбнутся. А если я без свидетелей отправлюсь осматривать, разве мне поверят? В фальсификации обвинят.

— Едем!

Почему я решился так быстро? Во-первых, раздумывать было некогда, время поджимало. А, во-вторых, чем я рисковал, собственно говоря? Окажусь в глупом положении? Но я не уверен, кто глупее: человек, верящий словам, или тот, кто воображает себя остроумным, потому что лжет. Да и не похож на любителя розыгрышей этот тучный, старомодно французящий старик с одышкой. Ограбят в пустынном месте? А у меня три рубля в кармане. Вот весело будет, когда шайка будет делить мою трешку на троих. Впрочем, и такая роль едва ли подходит моему гостю.

На улице стояла осень. Рваные тучи неслись низко-низко, казалось, каждая облизывает крыши. Дождь то моросил, то барабанил, порывистый ветер швырял брызги в лицо. Вчера мне говорили, что если ветер не переменится, будет наводнение как при Пушкине.

Такси поймать не удалось. Они проскакивали мимо, не замечая протянутой руки. Поехали через весь город в трамвае. Сквозь забрызганные стекла смутно виднелись тесные боковые улочки, трамвай отчаянно скрежетал на поворотах, чуть не задевая углы зданий. Я худо знаю Ленинград, не могу объяснить, где мы ехали. Кажется, крутили у Финляндского вокзала, потом перебрались на Петроградскую сторону. Вокруг, держась за поручни, тряслись пассажиры с мокрыми усталыми лицами, капли бежали у них по скулам. И я, мокрый и усталый, тряся со всеми вместе; история с космической телеграммой казалась мне все нелепей.

Опять мы переехали через мост и оказались в квартале новых домов. Почти все пассажиры сошли там, рядом с Граве освободилось место, я пересел к нему.

— Так что вы хотите узнать у наших звездных друзей?— спросил он. И сразу увел меня с пути сомнений.

— Все надо узнать. Как живут, на кого похожи, чем заняты, что их волнует? И главное: то, о чем мы спорили в эти дни: чувствуют они простор впереди или глухую стену? Моря наливают и осушают, солнца зажигают и гасят, или же берегут садочки и заливы, лелеют тишину для удильщиков?

— И вы отправитесь узнавать сами?

— Ну, я полетел бы с удовольствием, но едва ли меня сочтут достойным. Подыщут более подходящего, молодого, крепкого, лучше подготовленного технически и физически...

— А если нет времени обсуждать? Если надо решиться сегодня?

Я ужаснулся:

— Только не сегодня. Столько дел! Столько обязанностей!

Почему я ужаснулся, почему принял вопрос всерьез? Видимо, уже воспринимал Граве как человека с сюрпризом. Пришел скромником: «Ах, я восхищенный читатель, ах, прошу у вас совета»... а потом вытащил свою астрограмму. Может, он и у того камня побывал, отлично знает, что произойдет там.

Столько обязанностей! Но какие обязанности, в сущности? Гранки в «Мире», верстка в «Мысли», договор с «Молодой гвардией»? Обойдутся. Сказал же Физик, что у меня нет воображения, а Лирик, что нет теплоты и наблюдательности. Найдут других, более наблюдательно-воображательных.

Семейный долг? Круглолицая жена, круглоглазый сын? Как-то он вырастет без меня, полководец оловянных солдатиков? А с другой стороны, жена говорит, что я никудышный воспитатель, только потакаю, заваливаю ребенка подарками. Воспитает.

Так что же меня удерживает? Не страх ли за собственную жизнь? Полно, мне-то чего бояться? Прожито две трети, а то и три четверти. Впереди самое безрадостное: «не жизнь, а дожитие», говоря словами Андрея Платонова. Ну так обойдутся без дожития.

— Решусь,—сказал я громко. Так громко, что кондукторша посмотрела на меня с удивлением.

Мы не закончили эту тему, потому что трамвай дошел до конца («до кольца» — говорят в Ленинграде). Крупноблочные коробики остались за спиной, даже асфальт отвернул, перед нами тянулась полоса мокрой глины, окаймленная заборами. Сейчас в межсезонье все калитки были заперты, все окна заколочены. Ни единой души мы не встретили на пути к парку.

Я сразу же ступил в лужу, зачерпнул воды и перестал выбирать дорогу. Все равно мокро — внутри и снаружи. Шлепал по грязи и ругал себя ругательно. Как я мог попасться так наивно?

Не вижу, что имею дело с маньяком? Только маньяк может в ноябре на ночь глядя плюхать по лужам за городом. Ну ладно, полчаса с ним поброжу и хватит. Назад, в гостиницу, сразу залезу в ванну. И если грипп схвачу, так мне и надо: не принимай всерьез маньяков!

Наверное, я и повернул бы назад вскоре, если бы у входа в парк не висела схема и на ней я увидел озеро, похожее на гроздь бананов. Мы двинулись по главной аллее мимо киосков, качелей, раковин, пустых, мокрых, нереальных каких-то. Летом здесь были толпы гуляющих, на каждой скамейке дремали пенсионеры, у каждого столика «забывали козла». А сейчас никого, никого! Поистине, если бы Граве задумал недоброе, не было места удобнее.

Вот и озеро. Пруд как пруд. Лодки мокнули вверх дном на берегу.

— Слушайте, Граве, будем благоразумны. Как можно спрятать тут космический корабль? Здесь толпы летом, толпы!

— Посмотрите, там голова.

Верно, тот самый камень, что на астрограмме: удлинённый лоб, чуть намеченные глазки, подобие ушей.

— Но здесь же ребята играют. Наверняка залезали на макушку, сиделись верхом сотни раз.

— Залезали, сиделись, но не высвечивали каждую трещинку. Подсадите меня, пожалуйста, я осмотрю внимательнее.

Какой-то особенный фонарик у него был, сверхсветосильный. Брызнул светом, словно трамвайный провод заискрился. Все деревья выступили из сумрака, все одинокие листья прорезались, лиловатые почему-то. Я невольно зажмурился на миг.

И свершилось. Сезам открылся. Нет, не дверь там была, не тайный вход в пещеру. Просто голова распалась надвое, обнажая очень гладкую, почти отполированную плиту. И ничего на ней не было, только два следа, как бы отпечатки подошв.

В парке культуры! У лодочной станции! Около тира!

— Нас приглашают,— сказал Граве.— Сюда надо ставить ноги, по-видимому.

Плита как плита. Следы подошв только.

Поставил пустую склянку. Исчезла. Была и нет.

Положил ветку. Нет ветки.

— Ну что же, господин фантаст. Вы сказали: «Решусь!»

— Стойте, Граве, дело важное. Это надо обсудить...

В голове: «Надо известить научные круги: обсерваторию, академию. Какая жалость, что нет Физика с его кинокамерой, было бы доказательство. Надо завтра притащить его с утра...»

— Граве, я считаю, что прежде всего... Где вы, Граве?

Исчез! И когда он ступил на следы, я не заметил даже...

«Обязанности, гранки, верстка, воспитание... Круглолицая жена, круглоглазый сын... Научные круги подберут достойных. А что же я, себе не доверяю? Скорее Граве нельзя доверять: приезжий, почти чужой, что там у него на уме? Разве может он единолично представлять человечество в космосе? Боязно? А чего бояться, собственно: три четверти уже позади, риск невелик...»

И я ступил на плиту мокрыми туфлями. Левой на левый след, правой — на правый...

Глава III. КОСМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Прожгло насквозь.

Будто тысячи раскаленных иголок пронзили тело, опалили руки, ноги, мозг, каждую точку кожи, каждую клеточку внутри. Пронзили и застряли, оставили боль всех сортов. Саднило, ныло, дергало, кололо, рвало, царапало. Жгло глаза, горела кожа, ломало кости и зубы. А когда я вздыхал, отдуваясь от боли, схватывало сердце и ребра. С болью является в мир человек, с болью явился я в тот мир. Только за первое мое рождение страдала моя мать, а тут я сам стонал и корчился.

Кошмары.

Глаза воспалены, голова разламывается. Не знаю, кого винить за бредовые видения: зрение или мозг? В щелках опухших глаз проплывают страшные призраки: помесь зоопарка с фильмами ужасов — змеи в пенсне, хохлатые птицы с клювами, намазанными губной помадой, жуки с моноклями, мохнатые чертенята, рыбы с подведенными ресницами, сросшиеся ежи с глазками на колючках, спруты в шляпах и что-то невидимое, стреляющее молниями и что-то бесформенное, гнусаво гудящее, студенистый мешок с крыльями.

Но страшнее всего, противнее всего то, что напоминает человека: заплывшие жиром рожи с вывороченными веками и сухопарые скелеты с черепами, туго обтянутыми зеленоватой кожей, отвратительные живые мертвецы. Ужасы детских лет выбрались из памяти, сказки Гриммов расхаживают у моей постели.

— Прочь! — кричу я истошно. — Уберите! Не верю!

И чей-то голос гудит назойливо: «Анапод, ана-под, дайте же ему анапод!»

— Дайте ему анапод,— повторяю и я, чувствуя, что мое спасение в этом непонятном слове.

Прохладный компресс ложится на лоб... Обыкновенная больничная палата. Миловидные сестры в чистеньких халатах, туго перехваченных в талии. Молодой врач рассматривает шприц на свет.

Где я?

Классический вопрос приходящих в сознание.

У меня память восстанавливается постепенно, задом наперед: от сегодняшнего к вчерашнему, потом к позавчерашнему. Было очень больно. А до того? До того я встал на камень с выбитыми подошвами, след в след. Шел дождь, пузырились лужи на дорожках пригородного парка. Мы долго ехали туда на трамвае вместе с Граве, тучным, медлительным и уклончивым человеком, что-то скрывающим, на что-то намекающим. Граве спросил: «А вы, автор фантастики, столько страниц исписавший про космические контакты, вы сами отправитесь в космос, если вас пригласят сегодня, сейчас?»

И приглашение состоялось.

Так где же я: на Земле или на небе?

— Лежите спокойно,— говорят мне,— вам нельзя разговаривать. Вы у нас в гостях, в Шаре. Но вы не очень удачно перенесли космическую транспортировку.

— Значит, в космосе... А почему же вы говорите по-русски, сестра?

Для открывателей неведомых миров первая минута — наиглавнейшая. Перед ней годы и годы полета к какому-нибудь светилу, годы-годы споров; есть там жизнь или нет? А выясняется это сразу же после посадки: да, есть! Остальное — уточнения.

Самое важное я узнал на Земле от Граве: узнал, что они существуют — наши братья по разуму. Узнал, что они живут в скоплении М13 — шаровом Геркулеса и что они хотят иметь с нами дело. Это самое существенное. Прочее — детали.

Целый век тянулся у нас спор в «земной фантастике», похожи ли на нас эти братья, человекоподобны они или нет? Спор тянулся столетие, а ответ я узнал в ту секунду, когда мне разбинтовали глаза. Оказалось, что да, похожи. Так похожи, что я даже путал их с земными знакомыми, называл по имени-отчеству. Была среди моих врачей вылитая Дальмира, жена Физика, тоже блондинка и даже с конским хвостом на макушке. Была жена Лирика среди сестер, неторопливая, немолодая, но ловкая и умелая, лучше всех

помогала мне. Но смотрела неодобрительно, губы поджимала, как бы корила: «Что тебе не сидится дома, шастаешь по космосу?» И Физик был, даже несколько Физиков, все молодые и лопотухие. И Лирик заходил, но ничего не сказал, постоял у дверей и вышел недовольный.

Ура, мне дали собеседника.

Болезнь на чужбине плохо, выздоравливать еще хуже. Представьте сами: приехали вы за границу, в Италию или в Индию, приехали впервые в жизни, ничего не видали и сразу же слегли. Лежите на койке, изучаете узор трещин на потолке, а за стенами Святой Петр или Святой Марк или Тадж Махал. Обидно!

За стенами чужая планета, а я лежу и жду выздоровления, лекарство пью с ложечки, кушаю жидкую кашку.

Читать не могу. Языка не знаю. Радио слушать не могу. Телевизора нет, смотреть не разрешают.

Тоска!

И вот — о счастье! — дают собеседника.

Ничего, что он похож на чертенка, маленький, вертлявый, с рожками и хвостом. Ничего, что он неживой, штампованный, кибернетический. Главное, что ему можно задавать вопросы, и он понимает. И отвечает по-русски, комичным таким, чирикающим голоском:

Первый вопрос: «Как тебя зовут?»

— У нас, неорганических, нет имен. Я номер 116/СУ, серии КС-279, по профессии — карманный эрудит.

— Что же ты умеешь, карманный эрудит?

— Я отвечаю на любые вопросы по всем областям знания. Что не храню в памяти, узнаю в Центральном Складе Эрудиции. Меня можно держать на столе и носить в кармане. Я буду твоим гидом на всех кругах нашего мира.

Проводник по всем кругам неба и ада! Вспоминается «Божественная комедия» Данте.

— Я буду называть тебя Вергилием. Хотя нет, чересчур солидное имя. Будешь маленьким Вергиликом, Гиλικом. Запомни: «Гилик».

— Запомнил. Перевел из оперативной памяти в постоянную. Номер 116/СУ, звуковое имя — Гилик. Есть еще вопросы?

— Есть. Почему ты похож на чертенка, Гилик? Для чего тебе хвост и рожки?

— Отвечаю: в хвосте портативные блоки памяти. В случае необходимости можно нарастить, не меняя основной конструкции.

В рожках — антенны. Одна — для восприятия недостающих справок по радио, другая — для телепатической связи.

Вот так, между прочим, выясняется еще одно важное. Телепатия существует. А мы на Земле все спорим: научна она или ненаучна?

Отныне я не одинок. На тумбочке возле меня дежурит вертикальное существо, неорганический бессонный организм, готовый ночью и днем удовлетворять мое любопытство.

Он-то отвечает. Понимаю я не все.

— Где я нахожусь? На самом деле — в шаровом скоплении Геркулеса?

— Отвечаю: Куб АС-26 по сетке Цет-Дэ, сфера притяжения Оо, небесный объект 22-15.

Чувствую себя профаном, хуже того — младенцем-несмышленнышем. Ничего не понимаю в их кубах, сетках и сферах. Пробую подобраться с другого конца:

— Далеко ли отсюда до Земли?

— По вашим мерам — около десяти тысяч парсек.

Ого! Десять тысяч парсек — тридцать две тысячи световых лет! Триста двадцать столетий, если лететь со скоростью света. Неужели на Земле сейчас триста сороковой век?

— Но я же не на фотонной ракете летел сюда?

— Нет, конечно. На ракетах не летают на такие расстояния. Тебя переместили.

— Как это переместили?

— Дали Ка-Пси идеограмму в зафон, сделали эболиз, локализовали в трубке Соа. Затем сессеизация, тететитация...

— Стой, стой, ничего не понимаю, тарабарщина какая-то. Что такое Ка-Пси?

— Ка-Пси у нас проходят дети в школах. Это определение граничных условий. Очень простой расчет, примитивный. Берется система уравнений класса Тхтх...

— Подожди, не будем путаться с классом Тхтх. Для чего эти уравнения?

— С этого надо начинать всегда, хотя бы для того, чтобы привести к виду, удобному для логарифмирования.

— Разве меня логарифмировали?

— Да нет, это я для примера говорю. Тебя эболировали. Понял?

— Ты скажи попросту, — говорю я, махнув рукой, — я со скоростью света летел сюда?

— Нет, конечно. В зафоне не летают со скоростью света. Ты перемещался с зафоновой скоростью, порядков на пять выше.

Понятнее не стало, но выяснилось еще одно важное. Можно перемещаться на пять порядков быстрее света.

— Значит, они умеют летать быстрее света?

— Умеют.

— А умеют они...— Три эти слова твержу с утра до вечера. И слышу в ответ: «Да. Да, умеют!» Все умеют, что ни спроси.

— Умеют ли, например, погоду заказывать?

— Умеют. Понижают давление в воздухе или повышают давление, в результате выпадает дождь или же облака растворяются.

— Умеют ли моря создавать?

— Умеют. Организуют стойкий циклон и собирают влагу с целой планеты. Идет дождь сорок дней и сорок ночей.

— А горы умеют строить?

— И горы строят. По-разному. Чаше пробивают кору, делают ряд искусственных вулканов. Подземное давление само выстраивает хребет.

— А если надо снести горы?

— И это умеют. Включают особое поле, ослабляющее молекулярное сцепление. Горы рассыпаются в атомную пыль. Остается смыть ее или сдуть.

— А умеют ли?...— Что бы еще спросить позакковыристее? Умеют ли управлять небесными силами: создавать гравитацию и антигравитацию?

Оказывается, и это умеют. Причем, как объясняет Гилик, создать притяжение проще (кто бы подумал!), тут энергии не требуется. Антигравитация же поглощает много энергии, это и хлопотливее и дороже.

— И как же это делается?

Опять Гилик тараторит про классы Тхтх и граничные условия Дедде. Все непонятно. Все надо учить заново.

Объявился Граве.

Пришел в палату, шаркая ногами, пыхтя уселся в кресло, заглянул в лицо соболезнающе.

— Ну как вы, голубчик? Силенки набираете?

Подумать только: дряблый такой, наверное — сердечник, а полет перенес лучше меня. Уже — разгуливает по чужой планете, а я пластом лежу.

— Ну рассказывайте, рассказывайте подробнее. Где были, что успели повидать?

— А я, голубчик, нигде не был. Я вас жду.

— Хотя бы про эту планету расскажите. Какая она? Похожа на Землю? Поля здесь зеленые, небо голубое? Лето или зима?

— Не лето, не зима и зелени никакой. Это искусственная планета. Межзвездный вокзал. Ни полей, ни неба — одни коридоры. И торопливо встает, уклоняясь от расспросов:

— Доктора не велели вам разговаривать.

Ох уж эти доктора! Всюду они одинаковы — на Земле и в Звездном Шаре.

Обман чудовищный! Все неправда! Кому же верить теперь?

Впрочем, надо взять себя в руки, успокоиться, записать все по порядку.

Болезнь на чужбине плохо, выздоравливать еще хуже. Это я уже писал. За окном чужая планета, а с постели не спускают. Пичкают лекарствами, вечный компресс на лбу.

А чувствую себя нескверно, ем с аппетитом, боли все реже. И всего-то пять шагов до окна.

Как раз врачей не было, все ушли на обход. Гилика унесли для технической профилактики. Ну вот, я спустил ноги с кровати, голову высвободил из компресса, шаг, другой... пятый. Я у окна.

Кошмар!!!

Опять бред первых дней болезни, ужасные видения зоофантастики: жуки с моноклями, сросшиеся ежи, амёбы на крыльях. Бегут, летят, ползают, скачут, как нечисть из «Вия». Меня заметили, вылупили глаза, языки вытянули, ощерили пасти...

— В кровати! — это уже сзади хрипят, за спиной.

Оглянулся. В дверях самый страшный: голый череп с пятнистой кожей. Я завопил, глаза зажмурил...

Слышу голос Граве: «Скорей в постель, голубчик! Вам плохо. Компресс на голову, скорей!»

А я и кровати не вижу. И стен нет, какие-то трубки, цветные струи колышутся. Вой, писк, треск. Уж не помню, как забрался на матрац, голову всунул в повязку...

Снова голос Граве:

— Откройте глаза, не бойтесь. Все прошло.

Чуть разлепил веки. Верно, исчез кошмар. Идет от двери мой спутник, ноги волочит, отдувается, такой рыхлый, обыденный, с жалостливым лицом.

— Плохи мои дела, Граве, — говорю я и сам удивляюсь, какой у меня плаксивый голос. — Схожу с ума. Галлюцинации среди бела дня. Мертвецы видятся с трупными пятнами.

Граве тяжело вздыхает. Так вздыхают, решаясь на неприятное объяснение. Берет меня за руку, поглаживает тихонько.

— Это вы меня видели, голубчик. Так я выгляжу на самом деле, без анапода.

Анапод, как выясняется, специальный прибор у меня на лбу, который я принимал за компресс.

Если сдвинуть его, передо мной пятнистый скелет, чудище из страшной сказки.

Если надвинуть, возвращается в кресло тучный старик, сутулый, обрюзгший, смотрит на меня участливо.

Старик — скелет, скелет — старик. Кто из них настоящий?

Кажется, Граве улавливает мои мысли.

— Мы оба настоящие, — говорит он. — Я действительно уроженец планеты Хохх, нечеловек с пятнистой кожей. И я действительно старик, пожилой ученый, астроном, посвятивший жизнь межзвездным контактам. По мнению моих знакомых, я тяжелодум, медлительный, мешковатый, несколько ироничный. Это мой подлинный характер. Анапод улавливает его и преобразует в привычную для вас форму: в образ человека с такой натурой, как у меня.

Старик — скелет, скелет — старик. Открытки бывают такие: справа видишь одно, а слева — другое.

А все-таки, обман.

Пусть внешность отвратительна, культурный человек не обращает внимания на внешность. Мне неприятно, что звездожители начали знакомство со мной со лжи, с очков, втирающих мне очки. Ведь мы полагали, что они — старшие братья по разуму — образец безупречной честности.

Я возмущен и высказываю свое возмущение Граве.

Вот как оправдывается пятнистый череп:

— Вы ошибаетесь. Правда трудна, не всем под силу ее вынести. И у вас на Земле скрывают истину от тяжело больных, прячут от детей темные стороны жизни. Даже взрослые брезгливо отворачиваются от неопрятных язв, от попавшего под поезд. Мы же пробовали подойти к вам в подлинном виде. Вы кричали: «Прочь, прочь, уберите!» Вы и сейчас морщитесь, глядя на меня, содрогаетесь от отвращения. Пристегните анапод. Легче же? Не надо преодолевать тошноту? Для того и был придуман этот аппарат. Не для вас лично, не обольщайтесь. Анаподы появились, когда возникла Всезвездная Ассамблея, и сапиенсы разных рас («сапиенсы» — так я перевожу их термин «ауаоо». Человек — хомо сапиенс,

разумные нелюди — сапиенсы, но не хомо.— К. К.) собрались впервые, чтобы обсудить общие дела. Обсудить, а не нос воротить (правильно я выражаюсь?), думать, а не кривиться, удерживая тошноту.

Ана-под, ана-под, анализирует аналогии, подыскивает подобия. Это слово тоже создано анаподом из земных слогов по подобию.

Привыкаю к прибору, даже забавляюсь с ним. Надвигаю, сдвигаю. Как будто шторка на глазах, как будто страничку перевернул. Раз — пухлое лицо старика, раз — череп. Раз-раз! А если сдвигать анапод постепенно, получается наплыв как в кино: череп проступает сквозь черты лица, кости вытесняют светлеющие мускулы.

Их-Дальмира, оказывается, похожа на голенастую птицу, на аиста, долгоносого и с хохлом на макушке. Это анапод нарисовал мне блондинку с конским хвостом. Их-Лирикова — крылатый слизняк. Ничего у нее нет постоянного — ни глаз, ни рук, ни ушей. Но если нужны руки, они вырастают, как ложноножки у амебы. Сколько угодно рук, любое количество, любой формы. Потому так приятны и мягки ее прикосновения. У нее руки, приспособленные к форме моего тела. Даже моя кровать не кровать, как выясняется, а подстилка на тугой струе воздуха.

Только Гилик стационарен в этом зыбком мире. Неизменна вертящая машинка с рожками и хвостиком. Для Гилика нет подобия на Земле, и анапод не искажает его облик.

— А соплеменники кажутся вам привлекательными, Граве?

— Ну, конечно же,— говорит он.— Они стройны, они конструктивны, ничего лишнего в фигуре, никакой рыхлости. И наши лица очень украшают пятна, такие разнообразные. У мужчин они резкие, отчетливо очерченные, у женщин — ветвистые с прихотливым узором. Модницы умело подкрашивают пятна, в институтах красоты меняют узор. По пятнам можно угадать характер и настроение.

Он вдохновляется, он читает стихи о пятнах. Стараюсь разделить его восхищение. Сдвигаю анапод...

Отвратительно и противно!

— И все же вы обманщик,— твержу я.— Хорошо, допустим, вы боялись напугать меня внешностью. Пожалуйста, анаподируйтесь. Но почему не сказать честно, что вы пришелец из космоса? К чему был этот спектакль в пяти актах с пулковским астрономом?

— У меня была сложная задача,— говорит Граве.— Я должен был провести некое испытание, проверить готовность людей к космическим контактам. Существа на вашем уровне развития (Нахал!

А он на каком уровне?) очень склонны к вере. Предположим, я назвался бы пришельцем, подтвердил бы свое звездное происхождение доходчивыми чудесами: телекинезом, телепортацией. И вы уверовали бы в мое всемогущество? Пошли бы за мной зажмурившись, как слепец за поводырем? Но это не проверка готовности. Сорван экзамен.

— Но вы же читаете мысли. Слышите, что я думаю.

— Да, слышу. Но люди не всегда думают о себе правильно. Им кажется, что они рвутся в бой... а на деле мужества не хватает. Эта поездка под дождем тоже была частью проверки. Согласны лететь сию же секунду? Вымокнуть хотя бы не боитесь ради космического контакта?

А я не подкачал!

Я горд необыкновенно, горд как индюк, маслом полита душа. И Физик меня хаял, и Лирик хаял... а я выдержал экзамен.

— А почему вы именно меня выбрали?— спрашиваю. Очень уж хочется услышать комплименты. Пусть объяснит с космической точки зрения, какой я выдающийся.

Но Граве не склонен потакать моему тщеславию:

— Нам нужен был писатель-фантаст, профессионал, по некоторым соображениям, вы их узнаете после. Западные авторы отпали, очень уж въелась в них идея неравенства. Из числа ваших товарищей не годились земные изоляционисты, противники контактов. Сам я пожилой ученый, я худо сговариваюсь с молодыми горячими талантами, предпочитаю иметь дело с пожилым, пусть и не талантливым (я поехал). Видите, выбор не так уж велик. И какие-то случайности сыграли роль: вы оказались в чужом городе, в одиночестве, вас было легко увести, не привлекая внимания. Вот я и увел. Привез в парк и поставил перед выбором: «Теперь или никогда?»

— А если бы я не решился?

— Тогда я стер бы вашу память,— сказал он жестко.

Память можно стирать и можно заполнять, например, ввести в нее иностранный язык. Процедура торжественная, настоящее священнодействие. Ученик лежит на операционном столе, весь опутанный проводами, глаза и уши заложены ватой, лицо забинтовано. Диктор монотонно начитывает сведения, учителя в шлемах с забралами, в свинцовых скафандрах. Это чтобы своими посторонними мыслями не заразить, не внести «мыслеинфекцию».

Меня так не хотят обучать. Говорят, что не знают особенностей моего мозга, опасаются напортить.

— Ну, а мертвых вы умеете оживлять?

(Рассчитываю на отрицательный ответ. Хотя что-нибудь должно быть невыполнимое).

Ответ: Если есть хорошая матрица, оживляем. Это не труднее, чем изготовить копию по зафонограмме. Оживший помнит все, но до момента записи. То, что прожил после записи, выпадает.

Хуже, если объект умер до изобретения матриц. Тут ищут волосы, бумаги, личные вещи, чтобы установить формулы всех личных ДНК, РНК и всего прочего. Это трудно... и делается редко. Радости не приносит, больше огорчений. Вот на нашей планете Хохх мы восстановили великого поэта прошлого, такого, как ваш Шекспир. Но он был великим в свою эпоху, в новой показался старомодным, напыщенным, многословным. И даже несведущим: ему учиться пришлось заново. Обидно быть памятником самому себе, живым портретом знаменитости. Так что это делают редко... но умеют.

«А умеете вы?..» Что бы еще спросить? Вспоминаю фантастические идеи по Кларку и по «Регистру» Альтова. Умеете вы летать в прошлое и будущее?

Гилик долго молчит, перебирает сведения в своем хвосте. Он в затруднении. Кажется, на этот раз я поймал его.

— Вопрос некорректный,— заявляет он в конце концов.— Видимо, задан для проверки моих логических способностей. Путешествие в прошлое — абсурд. В прошлом можно встретить самого себя и убить себя, кто же будет продолжать жить и убьет себя? Можно встретить свою мать и жениться на ней, стать своим отцом. Визитер в прошлое может древнему поэту продиктовать его собственную поэму. Кто ее сочинил?

— Значит, не умеете! (Я почти ликую).

— Путешествовать во времени нельзя,— говорит Граве.— Но можно управлять временем, ускорять и замедлять.

— Ускорять? Как это? Про замедление я знаю. Время замедляется в субсветовых ракетах. Но где тут ускорение? Я выписываю формулу. Все корни положительные, налицо только прибавка времени...

— Ты забываешь про мнимые корни и мнимоскорости,— говорит Граве.

Мнимоскорости! С ума сойти! Все надо изучать заново.

— Ну и зачем все это?

— То есть?

— Зачем ускорять время, зачем замедлять время? Зачем уве-

личивать тяготение и уменьшать тяготение, зачем сносить и возводить горы, зачем ввинчиваться в зафон и летать там на пять порядков быстрее света? Зачем вы, Граве, явились на Землю и зачем привезли меня оттуда? Что вы ищете в космосе? Что вам дома не сидится?

Почему только сейчас задал я этот наиважнейший, в сущности, вопрос? Может быть, оттого, что задумываться было некогда. Набивал голову впечатлениями, блокнот пометками, собирал, коллекционировал информацию, ждал, что еще мне покажут замечательного, сверхзамечательного. Побывал на биополигоне, генополигоне, побывал на галаполигоне, где испытывают новые законы физики (это особый рассказ). Какое осталось впечатление? Физики забавляются. Пробуют так и этак, какая комбинация смешнее. Но стоит ли дергать время и мять пространство только для того, чтобы потешиться своим могуществом? Вот я и спросил:

— Ну и зачем все это?

— Нам нужен космос. У нас там полно забот.

— Заботы? Какие у вас заботы? Молодость возвращаете, мертвых оживляете, летаете на любую планету? Еще что?

— Вот теперь начинается серьезный разговор,— сказал Граве.— Закажи ему, Гилик, ленту Диспута о Вселенских Заботах.

Глава IV. ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАБОТЫ

Зал Межзвездной Федерации на планете Оо. Зал как зал, на сцене селектор, стол президиума, кафедра. Ложи амфитеатром, только в ложах не стулья, а баки, опутанные множеством шлангов с кранами. Их можно наполнять любым газом по вкусу: кислородом, азотом, аммиаком, метаном, или же водой, пресной, соленой, мутной, по заказу делегата.

Спрашиваю: Зачем такие ухищрения? Все равно анаподы, все равно смотрят на селектор, слушают микрофонный перевод. Почему не договориться по радио, сидя у себя дома?

Оказывается, все дело в расстояниях. С окраинных звезд радиоволна идет лет пятьдесят, даже зафоновый сигнал — несколько суток (по нашему счету). От вопроса до ответа — две недели. «Кто хочет взять слово?» Через две недели: «Я прошу». «Мы готовы вас выслушать» — еще через две недели.

Своеобразный парадокс. Планетных конференций не бывает, дела планеты можно обсудить и по радио, а на межзвездные — традиционно собираются в одном зале. Ложи, трибуна, президиум. И кто там за столом? Тоже какие-то монстры в баках. Поспешно натягиваю анапод. Ба, знакомое лицо. Докладывает Физик, моло-

жавый, коротко стриженный, в очках, лопоухий. Конечно, не наш. Их-Физик. Приглядевшись, я даже на глаз отличаю, потому что анапод карикатурит: не моложавый, а мальчишка, и уши действительно как лопухи. Видимо, всегда мы рисуем шаржи на наших друзей в собственном мозгу.

Ну и что же рассказывает этот звездный Физик?

— Мы живем в эпоху всесилия точных наук,— говорит он, скрестив руки на груди, уверенным голосом лектора, уверенного, что мало кто понимает его лекцию.— Ученые проникли в недра вещества до семьдесят девятой ступени (электрон на девятой по их счету.— К. К.) и в зафон на 144 слоя. Мы освоили сигналопроводящий слой пятого порядка, практически можем посетить любую планету Галактики и Магеллановых облаков. Я слишком долго занимал бы внимание уважаемого собрания, если бы перечислял все успехи физики, математики и технознания. Скажу коротко: мы— физики— способны разрешить любую задачу, которую поставит перед нами Звездный Шар в этом и в будущем веке.

Выступавший передо мной представитель Академии Прогноза как раз и сформулировал очередную задачу. Он говорил, что сфера нашего обитания уже охватывает около миллиона звезд со спутниками и что нормальный рост населения, долголетия, энергетики и новых потребностей диктует расширение этой сферы на один процент ежегодно, то есть требует освоения десяти тысяч новых солнечных систем в год.

— Ого!— подумал я.— Десять тысяч планетных систем ежегодно! Пожалуй, это можно назвать заботами.

— Осваивать мы умеем,— продолжал Физик.— Но вот проблема: куда направить усилия? Резервных звезд в нашем Шаре почти нет. Мы вышли уже за пределы скопления и заселяем разрозненные миры, распыляя расы по космическим островкам, фактически выключая их из единого потока цивилизации. И прогнозисты говорят, что хорошо бы пресечь этот стихийный поток эмиграции, направить его на один компактный объект, например на ближайший звездный шар ОГ (М-92 по земным каталогам.— К. К.). Выбор логичный, общеизвестный, общепризнанный. Помнится, еще в юности в романах я читал о приключениях покорителей шара ОГ. Но романисты упускали из виду одно обстоятельство.

ОГ не больше, даже несколько меньше нашего родного Шара. Отсюда следует, что, сохраняя однопроцентный прирост, мы и ОГ используем поколения за три. Опять встанет вопрос о следующем объекте. Правда, и очередные известны— это скопления ОЗ, ОХ и ОТС. Всего в Галактике около четырехсот шаров, есть возможность выбрать и установить очередность. Однако и тут главная моя

мысль, подчеркиваю ее: принимая самый принцип расселения по шаровым, мы молчаливо соглашаемся с тем, чтобы культура наших потомков топталась на месте, все время дробясь, умножаясь количественно, а не качественно. От шара до шара десятки тысяч световых лет, передавать энергию и материалы на такое расстояние бессмысленно. Шары будут разорваны экономически и ограничены экономически — все дойдут до некоторого потолка, приблизительно до сегодняшнего уровня науки и будут повторять и повторять историю в следующем по порядку шаре. Согласившись на такой вариант развития, мы на многие века программируем топтание на месте.

Есть ли альтернатива? Да, есть. И я уполномочен предложить ее от имени группы физических институтов.

В Галактике помимо отдельных островков, я разумею одиночные звезды (вроде нашего Солнца.— К. К.), помимо архипелагов типа Оо, ОГ и других, есть еще и материк — Ядро Галактики. Диаметр его — около 4 тысяч световых лет, расстояние такого же порядка, как от Оо до ОГ. Но в этом материке сосредоточены десятки миллиардов звезд, то есть в тысячу раз больше, чем во всех четырехшарах, разбросанных по небу.

Принимаясь за освоение шара ОГ, мы решаем наши заботы на три поколения, освоение Ядра решает их на тысячелетия. Покоряя ОГ, мы рассеиваем нашу культуру по отдельным архипелагам. Ядро же сосредоточит ее, сконцентрирует. Шары будут поддерживать науку на сегодняшнем шаровом уровне; Ядро переведет цивилизацию на новую ступень, уже четвертую в истории, если первой считать однопланетную, второй — односолнечную, третьей — одношаровую. Теперь предстоит творить новую, принципиально новую культуру — галактическую.

Творчество или повторение? Выбирайте!

Закончив речь, Их-Физик поклонился с улыбкой, полной достоинства, даже чуточку самодовольной. Впрочем, я не осуждал его. Можно гордиться, если принадлежишь к клану всемогущих волшебников, не только звезды хватающих с неба, но и целые скопления дюжинами, даже ядра галактические. Десятки миллиардов солнц! Ничего себе размах!

— У кого есть вопросы? — послышался голос председателя. Камера оператора скользнула с кафедры на стол президиума. Мелькнуло несколько баков... я подправил анапод... и ахнул. Дятел собственной персоной! Дорогой мой школьный учитель. То есть, конечно, не сам он, его звездный аналог.

Дятел, как вы догадываетесь, прозвище, а не фамилия. Так окрестили мы, непочтительные восьмиклассники, нашего учителя

географии. Нос у него был как у дятла, крупный и прямой, колуном. И короткая шея, убранный в плечи, и характерный жест: скажет что-нибудь и голову набок, поглядывает иронически. Прозвище, конечно, поверхностное. Дятел глупая птица. Трудно размышлять, если голову употребляешь, как долото. Но вид у него преумный. Работает трудолюбиво, что-то выковыривает, рассматривает правым глазом, рассматривает левым, словно оценивает всесторонне. Вот и наш учитель любил расковыривать факты, цифры, причины, связи, докапываясь до скрытой сути. Вытащит суть и на нас посматривает: каково? Проняло? Шевелятся ли мысли под лохматыми прическами.

Помню, как он пришел к нам в класс, молодой, черноволосый, с решительным носом. Пришел почему-то в середине года — в феврале. А до него преподавала географию Мария Никандровна — пышная дама с буклями, раз навсегда восхищенная подвигами великих людей, обожавшая знаменитых путешественников молитвенно и восторженно, считавшая своим святым долгом привить эту молитвенную восторженность нам — лоботрясам.

Учиться у нее было легко и скучновато. География превращалась в святы: святой Колумб, святой Кук, святой Амундсен... Отвечая, надо было показать маршрут на глобусе и с пафосом рассказать о заслугах. Мой приятель Дыня держал пари на десять пирожных, что о Колумбе и Куке будет рассказывать одними и теми же словами. И пирожные получил. Пятерку тоже.

И вдруг, нарушая эту дремотную картину, в класс вторгся Дятел и с ходу прочел нам лекцию о миграции химических элементов в коре. Честное слово, это в географию не входило. Но у Дятла были свои понятия о границах предмета. Даже не знаю, что он преподавал нам: геохимию-геслогию-геотехнологию-геоэкономику-геопроектирование-геоконструирование, некий комплексный предмет. Никандровна описывала нам лик Земли, Дятел — строительную площадку. Мы все писали у него рефераты — проекты: «Орошение Сахары», «Отепление Арктики», «Подводное земледелие» и т. д. Про осушение Средиземного моря писал я. Не от той ли темы родился мой «Океаноборец Ота»? У других были темы: «Климат при повышении CO_2 в атмосфере», «Жизнь при пониженном содержании азота», «Если Урал тянулся бы с запада на восток»...

Как горько плакали у Дятла милые и старательные девочки, безупречно знавшие точные ответы на заранее известные вопросы (компьютеру им сдавать был), способные наизусть спросонок ответить, что столица Сальвадора — Сан-Сальвадор, Гватемалы — Гватемала, а Гондураса вовсе Тегусигальпа!

— Вы этого не проходили, Танечка?— ядовито спрашивал он.— Конечно же, не проходили. А не хочется вам подумать сврей собственной хорошенькой головкой? И в каком же классе вы начнете думать? Я бы не советовал откладывать до замужества, даже для замужества полезно думать.

«Замечательно» — было любимым словом Никандровны. Дыня подсчитал, что на одном уроке она произнесла «замечательно» 78 раз. Дятел предпочитал «любопытно» (16 раз за урок в среднем). Земля, природа, народы и мы — ученики — представлялись ему любопытными явлениями. Он любил понимание, любил извлекать зернышки истины из-под коры слов. Истины предпочитал неожиданные, парадоксальные. Он так наслаждался сложностью мира и процессом понимания сложности.

И если верить анаподу, этот звездный Дятел тоже мастер докапываться до истины, извлекать ее из-под коры предрассудков и упрямых заблуждений. Вот он клонит голову на плечо, щурит глаз. Интересно, как препарирует Их-Дятел Их-Физика?

— У меня самого тьма вопросов,— торопится он.— Первый: ведь условия на поверхности Ядра непривычны, не очень благоприятны для нас — жителей Шара. Сумеет ли приспособиться?

— Ядро предоставляет нам две возможности,— отвечает Физик быстро.— Внутри там такие же звезды, как в Шаре, можно отобрать среди них удобные. Но еще заманчивее расселиться на поверхности Ядра. Все Ядро вращается, как твердое тело. Видимо, мы сумеем доказать, что оно окружено достаточно плотной оболочкой. Сила тяжести на ней примерно, как на звездах, излишек гравитации придется снимать искусственно. И нет своего освещения, понадобится искусственное. Но зато какие просторы! Мы получим как бы единую планету диаметром в четыре тысячи световых лет, сверхастрономических размеров строительную площадку. Там можно создать невиданных размеров общество единой культуры. И каких высот оно достигнет, мы, скромные жители одной звездной кучки, не можем даже и вообразить. Разве не стоит потрудиться ради этого?

— Вопрос второй,— вставил Дятел поспешно, словно опасаясь, что его перебьет кто-нибудь.— Сколько труда это все потребует?

— В проекте есть цифры,— сказал Физик неохотно.— Вы хотите, чтобы я зачитывал таблицы?

— Нет, зачитывать не стоит. Это утомительно и недостаточно ясно. Но уважаемому собранию полезно знать порядок цифр. Сейчас у сапиенсов в среднем по Шару четыре часа обязательного труда. Сколько прибавится?

— Не больше, чем при освоении шара ОГ.

— Точнее? От и до?

— Очень большой разброс с цифрах в зависимости от вариантов.— Физик явно уклонялся от прямого ответа.— Осваивать поверхность труднее. Легче проникнуть к внутренним звездам. Десятки миллиардов светил. Для начала можно выбрать самые удобные для жизни.

— Но самые удобные для жизни, вероятно, заселены жизнью. Там могут быть свои сапиенсы.

— Суперсапиенсы — едва ли. Если бы были, давно бы объявились, сами связались бы с нами.

— А низшие расы вы предлагаете уничтожить?— это уже не Дятел спрашивает, другой голос. Я бы поручился, что это голос Лирика.

— Не передергивайте. Я имею в виду животных, досапиенсов.

— Кто определит: перед вами уженеживотные или ещенесапиенсы?

— Специалисты определяют, на основе науки.

— Ваша наука столько раз ошибалась (ну, конечно, Лирик).

— Это не моя наука, а ваша: астропсихология, астродипломатия.

Граве, Гилик, где вы? Что такое астродипломатия? Есть такая наука?

— Удивительные пробелы у тебя, Человек,— ворчит Граве.— Я же сам астродипломат. И практик и преподаватель. Веду курс. Кстати, и тебе полезно походить, послушать.

— А у меня как-то душа не лежит к этому делу. Наверное, это профессиональное, литературное. Мы заняты поиском точных слов, чтобы выразить нюансы мыслей. А у вас положено выражаться дипломатично, смягчать, церемонии соблюдать. И какого-нибудь коронованного недоноска именовать высочеством, рассыпаться бисером перед ним. Нет, это не по мне.

— У тебя, Человек, устаревшие понятия о дипломатии, примитивные. У нас иной принцип. Мы настолько могучи, что можем и уступить, обойтись без чужой помощи. Мы сами дарим. Девиз астродипломата: помоги, потом проси. Да ты позанимайся, разберешься сам.

— Позаниматься? А я справлюсь, Граве?

Глава V. АСТРОДИПЛОМАТИЯ

Я — снег.

Пухлой шубой лежу я на пашне, очень белый, белей, чем белье, накрахмаленное и подсиненное, белый с искрой, как бы толченым стеклом присыпанный, незапятнанный, нетронутый, словно ватман, только что приколотый к чертежной доске. И лыжни исчертили меня, нанесли двойные линии, идеально параллельные, льдисто-голубые днем, сиреневые к вечеру, с розовыми бугорками от лыжных палок на закате.

— Достаточно. Верю. Вынужден. Мало смотрел на ваши снега. А теперь ты — огонь. Огонь одинаков везде.

— Я — огонь. Я пляшу на поленьях, извиваясь и изгибаясь, звонко оранжевый с синими лентами и желтыми колпачками на каждом языке. В черное небо бросаю охапки искр, светлых продолговатых иголок...

— Ну, для первого раза приемлемо. А теперь ты — я.

Бросаю вороватый взгляд на Граве, не очень надеюсь на память. Впрочем, надо показать его в подлинном виде, без анапода.

Удлиненный череп обтянут землистой кожей, темнеют глубокие глазницы. Пятна, не забыть бы пятна! Характерная поза: острые колени расставлены, на коленях узкие руки...

— Пальцев сколько?

— Ах да, три пальца у него. А я свои руки вообразил, пятипалые.

— Придешь сдавать еще раз,— говорит он жестко.

Да, я учусь на астродипломата, занимаюсь в группе Граве, вместе с десятком звездных сапиенсов, почему-то земноводных по преимуществу. Занимаемся вместе, сидим порознь, каждый в своем баке: они — в водных, я в кислородно-азотном, слушаем наушники с переводом, долбим «Наставление астродипломата» каждый на своем языке. А в «Наставлении» сказано: «Наблюдайте, не вмешиваясь в чужую жизнь, предпочтительно оставайтесь незамеченными, пользуйтесь гипномаской». Гипномаска это и есть: «Я снег, я снег, пухлой шубой лежу на пашне». С виду — повязка на лбу, как и анапод. В сущности, гипномаска и есть анапод обратного действия. Там чужие становятся похожими на людей, а тут ты внушаешь, что ты снег, огонь, скелет с пятнистой кожей.

И вот на тебе: пять пальцев вместо трех.

— Придешь пересдавать,— говорит Граве.

Маскировка не единственный предмет на подготовительном курсе. Я прохожу «Астрографию» — описание природы планет Шара. Прохожу «Наставления и Уставы». Прохожу «Оборудование» — на-

бор сложнейшей аппаратуры косморазведчика. Еще «Астропсихологию» — индивидуальную и социальную. И, наконец, «Прецеденты и Казусы» — уроки истории Звездного Шара.

Казус 1. Планета А, почти целиком океаническая. Разумная жизнь народилась на островах. В дальнейшем местные сапиенсы, обладавшие развитой способностью к самометаморфозу, ушли в воду, довольно быстро превратились в дельфиноподобных. Море богато пищей, сытая жизнь располагала к ленивому безделью. Сохранив разум, дельфиноподобные забросили технику, забывают науку.

Прибывший из Звездного Шара астродипломат предлагает...

Казус 2. Планета Б — обширная, суховатая. Сапиенсы, похожие на саламандр...

Астродипломат предлагает...

Казус 3. Казус 4. Казус 44... Астродипломат предлагает...

Так три месяца по моему земному счету. Вплоть до того решающего казуса, который мне предложат после всей подготовки еще и на вступительном экзамене.

И вот этот страшный экзамен. Мы с земноводными толпимся у закрытой двери, на вселенско-студенческом жаргоне выводываем, как спрашивают, на чем сыплют, кто построже, кому как угодить?

— Следующий!

Входя докладываю: Человек с планеты Земля.

— А, приглашенный из спиральной ветви? Просим.

Если анапод не снимать, нормальная студенческая обстановка. Я — жалкий подсудимый, уличаемый в лени и невежестве. Слева сидит Граве, он строг, нахмурен, но я не боюсь его. Не будет же мой личный куратор тянуть меня на двойку. Справа — преподаватель по оборудованию, буду называть его Техником для краткости. Этот опасен, потому что молод. Еще не научился быть снисходительным. Сам ничего не успел забыть и не прощает забывчивости. А председатель — Лирик. Их-Лирик, конечно. Анапод показывает мне добродушного толстячка, холеную бородку, сивые кудри. Вот он-то опаснее всех, потому что, как все лирики, живет чувством. Лирики добросердечны, гуманны, но пристрастны. И горе тебе, если ты заденешь их взгляды на гуманность.

— Берите билет, пожалуйста.

Пачка карточек, в них моя судьба. Хоть бы вытянулось что-нибудь землеподобное. С разумными лягушками я запутаюсь обязательно.

«Билет №... Небесное тело 2249 в квадрате 272/АУХ. Показатель массы — 49. (Про себя соображаю: «Куда больше Земли, поменьше Юпитера»). Расстояние до ближайшего солнца — 16 ас-

троном. единиц («светит, но не греет»). Температура поверхности — минус 150 (переводя на земные градусы). Плотная атмосфера не позволяет рассмотреть детали с помощью телескопа («не густо!»). Астродипломат ведет переговоры по использованию ресурсов планеты в интересах Звездного Шара.

— Если жизни нет,— поясняет Техник,— вы все равно даете проект использования ресурсов.

«Едва ли посылают туда, где нет жизни»,— думаю про себя.

— Жизни может и не быть,— говорит Граве,— но вы обязаны представить убедительные доказательства.

— Вопросов нет? В зеленую кабину, пожалуйста.

Оглядываюсь. За спиной у меня ряд цветных дверей, словно будки телефонов-автоматов. Знакомые кабины для межзвездного перемещения за фоном. Вот это организация экзамена! Вытянул билет с планетой и лети туда, показывай, чему научился.

— 2249, куб АУХ,— напоминает Граве.— Цифры набирайте точно.

Честно говоря, страшновато выглядел мой объект.

Повис передо мной, заслоняя целое созвездие, мрачный круг с тускло-багровым отливом и серо-красной бахромой по обводу.

Я только вздохнул: «И зачем посылали сюда?». Сразу понял, что означает этот багровый отсвет цвета запекшейся крови. Видимо, под густой толщей непрозрачной атмосферы планета моя была раскалена, возможно, расплавлена. И я еще должен привезти веские доказательства отсутствия жизни! Можно было спорить: есть ли жизнь на Марсе. Никто не спрашивал, есть ли жизнь в вулкане.

По мере приближения моя планета становилась все беспокойнее. Зловещая чернота наливалась кровью, прорезались какие-то алые жилки, потоки лавы, вероятно. Багровая бахрома зашевелилась. Это характерно для космоса: дальше неподвижно. Дальний протуберанец кажется застывшим, а на самом деле это огненный ураган, туча ревущего пламени.

Сел. С трудом зацепился за грунт, перевел дух, увидел себя на сухой равнине цвета догорающих углей. Банная каменка на тысячи километров. Плесни водой, зашипит, даже мокро не будет, капли разбегутся ртутными шариками.

Эх, не тот билет потянул! Что бы взять соседний?

Ясно, что астродипломатией здесь и не пахнет. Никаких сапиенсов в пекле быть не может, кроме жареных. Нормальное техническое задание: как распорядиться небесным телом, лишенным жизни? Нормальное техническое решение: громоздкую планету раскалывают на средние, примерно такого размера, как Земля.

Я измерил толщину коры геосейсмографом; получилось 43 метра, 40, 47, в одном месте даже — 27. Тоненькая корочка, где хочешь, там и пробивай. Впрочем, есть еще огненные жилки, не естественные ли это разломы? До ближайшего надо дойти. Километров сто пятьдесят. Хватит для четверки с минусом?

И я пошел. «Пошел» — это сказано хвастливо. Меня качало, подбрасывало, ворочало, швыряло с размаху о камни. Сто раз я решал отказаться от этого безумного маршрута, скорей вернуться на тихую культурную кафедру, сказать... Но что я скажу? «Извините, я вытянул слишком опасную планету, дайте билет полегче». И какими глазами они посмотрят на меня? Техник выразит кислое презрение, Лирик — снисходительное всепрощение, а Граве — дорогой мой куратор, начнет меня выгораживать, доказывая, что Человек — слабое существо, нельзя его перенапрягать. И во все их учебники войдет примечание, что жители Земли — слабодушные существа.

Нет уж, лучше я сгорю здесь заживо.

И вот, верьте или не верьте, но преодолел я полтора-два километра, вышел к намеченной прожилке... к потоку, к широкой реке лавы, смородинового цвета. И текла она в черных берегах, как бы траурная лента. «А почему, кстати, берега темные? — спросил я себя. — Они же должны быть светлее пустыни, если лава их освещает». Приблизился. И увидел, представьте себе, что черное шевелится.

Берега огненного потока были усажены жесткими пластинками лаково-черного, вороного, черно-зеленого или шоколадного цвета. Все эти пластинки: овальные, круглые, сердцевидные, угловатые, стояли торчком, повернувшись широкой стороной к свету. Видимо, они ловили лучи, ловили жадно, активно, наползая на соседей, отодвигая, протыкая их. Растительность? Можете вы вообразить себе кусты, которые дерутся за место под солнцем, разрывая друг друга в клочья?

Хорош был бы я, если бы заявился к моим профессорам с заявлением: «Планета огненная, жизни нет и быть не может».

Налюбовавшись вволю, я принялся за описание. Не без труда оторвал образец. Стебель был словно проволоочный, а сок похож на ртуть. Но анализатор сказал, что это не ртуть, а расплавленный алюминий. Не удивительно при плюс восьмистах!

А нет ли и животных тут же?

Аппетит приходит во время еды. Всего несколько часов назад я брел подавленный по раскаленной пустыне, уверенный, что ничего живого тут не будет. Но если есть растительность, почему не быть растительоядным? Нормальный круговорот природы.

И присмотревшись, я увидел, что на противоположном берегу растительность как бы сгорает, свертывается рулонами, обнажая мясокрасный грунт. И кучами сползает к кромке лавы. И даже сваливается на лаву, но не тонет, а плавает по ней. Так у нас дерн плавает по реке после ливня. И еще заметил, что в этом районе мечутся какие-то светлые пятна. Мечутся! Но при такой температуре, если кусты приседают как на зарядке, кланяются и протыкают друг друга, фехтуя, звери должны носиться как мотоциклы. Я послал через поток кибера для киносъемки, рассмотрел кадры неторопливо и увидел...

Увидел жнецов и увидел гребцов. Разумных обитателей!

Разумные, но какие-то странные! Существа, в которых нормальная температура тела не 36 и 6 по Цельсию, а восемьсот с лишним. С кроваво-красными лицами, как бы озаренными огнем. С головой, глазами, ртом, с руками, но без ног. Вместо ног природа преподнесла им этикие мускулистые подушки, они катились словно гусеницы танка. Может быть, нормальные ноги перегорели бы здесь?

Но какие ни на есть, они хозяева этой планеты, и астродипломат должен понимать их, предлагать, помогать... а потом уже договариваться об использовании природных ресурсов — сорока девяти масс.

Прежде всего понимать, наблюдая скрытно. Нужна гипномаска. Простейшая: я камень, сухой, раскаленный, засыпанный жестким песком. Затем, включаю фоноуши, киберу надеваю лингвоанализатор. Остается ждать. Некоторое время пройдет, пока он начнет понимать язык.

И верно, только через несколько часов кибер начал выдавать отдельные слова, сначала с обобщенными пояснениями: «Глагол... местоимение... коррелат». Затем появились смысловые группы: «Ругательство... почтительное обращение... жалобное междометие...» И, наконец, осмысленное:

— Что он сказал тебе?

— Сказал: «Плохо работаешь. На прохожих заглядываешься? Жениха подбираешь, что ли?»

— Ну и что? Обычная шутка. Все парни так привязываются.

— Да, но как он посмотрел на меня.

Вот и вся первая запись. Но я был в восторге. Что-то умиленное и внушающее почтение было в этом вселенском всевластии любви. Подумайте: улетаешь за миллиарды миллиардов километров, спускаешься в «пещь огненную» и слышишь девичьи пересуды о таинственных представителях иного пола, которые «привязываются» пустословя, но при этом глядят по-особенному.

Дня через три мой кибер набрал достаточный запас слов для житейских переговоров. Я начал разрабатывать сценарий контакта. В какой гипномаске являться? Притвориться таким же алюмиником? Но я двигаюсь раз в пятнадцать медленнее и говорю так же медлительно. Стоит ли торопиться? Лучше еще понаблюдаю.

Но решил за меня случай. Случай подстегнул.

Сидя в укрытии, с наушниками, подсоединенными к киберпереводчику, я услышал дикие вопли: «лфэ... лфэ!» Я уже знал, что так называются крылатые хищники, кошмар алюморгаников, буки огнеупорных детей. Выглянул из своей норы. Прямо на меня плыли по воздуху два черных ромба с алым колесом между ними. Потом я узнал, что лфэ всегда нападают парой, одному не под силу утащить крупную добычу. Но в тот момент я ничего не подумал, вообще не успевал подумать в этом суматошном мире. Вскинул лазер, полоснул лучом. Четыре половинки двух лфэ и потерявшая сознание жертва свалились возле меня. Обретя смелость, воины бежали ко мне, потрясая копьями. Я едва успел включить гипномаску: «Я — алюминик, такой же как они, только на куртке узор другой: не полосы, а клетки». Клетки нужны были, чтобы приняли за чужеземца.

Набежали. Несколько секунд я ничего не мог разобрать. Что-то сверкало, мелькало, кричало. Воины скакали вокруг поверженных хищников, и каждый старался воткнуть в них копьё, воображал, что добывает. Кто-то меня обнимал, кто-то хлопал по плечу, кто-то целовал. Скафандр спасал меня от этих жгучих поцелуев.

— Пировать, пировать! — разобрал я наконец. — Пир горой!

Мы построились торжественной процессией и двинулись вдоль лавопотока. Впереди катились на своих подушках воины, надев на копья головы лфэ, за ними жнецы тащили на плащах куски разрубленных туш, истекающих лаковыми каплями алюминия.

Я мчался следом, изо всех сил внушая, что я чужеземец в клетчатой куртке. По опыту Граве помнил: чужеземцем представляться спокойнее, так оправдываешь мелкие оплошности.

Путь был краток. Несколько минут, и мы влетели в их деревню. В ложине прятались от ветра каплеобразные здания. Архитектура здесь требовала прежде всего обтекаемости, ветроустойчивости, безопасности от булыжной бомбардировки. Процессия наша завернула в самый большой бугор, похожий на кита, зарывшегося в песок. Нет, это был не храм, простая деревенская харчевня. Копьеносцы торжественно понесли лфэ на кухню, прочие влились в цилиндрические ступы, расставленные вокруг стола.

Заполняя паузу, слово взял самый толстый из огнеупорных (жрец, как выяснилось). Многословно, с бесконечными повторами, он начал благодарить бога Этре за то, что он (бог!) спас девушку от страшных лфэ, послав чужеземца (бог меня послал, оказывается), укрепив его руку и направив копье, за что надо богу молиться под руководством оратора.

Но не все верили болтуну. Сосед мой дернул меня за рукав:

— Слушай, чужак, покажи мне твое копье. Я сам кузнец из кузнецов, тысячи лезвий отковал, но такого, чтобы лфэ разрубало на лету, не видел никогда.

— Дай подумать,— ответил за меня кибер. Такую изобрел я уловку, чтобы замаскировать странную для них медлительность. И продиктовал гипномаске образ обычного копья.

— Обыкновенное!— сказал кузнец разочарованно.— И сам ты не великан с виду. Видно, слово знаешь заговорное.

Как объяснить ему принцип лазера? И надо ли объяснять?

Но тут пир был прерван. Замелькали какие-то фигуры, и стол вдруг опустел, какие-то огрызки на нем остались. Только задним числом, по репликам, я понял, что Господин прислал слуг за своей долей добычи. Львиной оказалась доля.

— И в вашей стороне, чужак, господа такие же ненасытные?

— Его бог сильнее наших богов,— важно сказал Жрец.— Наши боги— рабы у его бога.

И тут я не выдержал, презрев все наставления астродипломатии. Впервые в жизни столкнулся с тем, что никак не мог уразуметь на уроках истории: с удивительным, инертным и возмутительным долготерпением рабов.

— Так что вы терпите?— крикнул я.— Сколько вас и сколько господ? А боитесь господ, убежали бы. Простор вокруг, свободной земли столько.

Отец спасенной, самый робкий, ответил мне:

— Удрать хорошо бы. А куда? В пустыне-то лавы нет...

Ах да! Про то, что алюмики без лавы не проживут и дня, я, представитель мира всесильной науки и могущественной техники, забыл. Но ведь лава есть в пустыне! И неглубоко. Уж сообразить, как до нее добраться, могли бы... Например, навалить груду камней и продавить корку...

И час спустя (по моему счету), я уже шагал по пустыне во главе каравана рабов, их жен, детей, повозок со скарбом, скотины ревушей, воющей, скачущей, катящейся...

Друг мой, терпеливый читатель, горячо желаю тебе никогда не оказаться в незавидной роли пророка. Верующие — тяжкий

народ: они послушны, лестно-восторженны, но слабодушны, беспомощны и требовательны необыкновенно.

«Мы твои, пророк,— говорят обращенные.— Веди нас на край света». Но подразумевают: «Перенеси нас в свои райские кущи, пои молоком и медом, мы согласны пировать в твою славу». Почему нести, почему угощать? «Но мы же в тебя поверили». Не желаешь ублажать? «Тогда будем роптать, объявим лжепророком, побьем камнями».

Все это я испытал: веру, ропот и камни.

Да, рабы пошли за мной в пустыню. Пошли. Но устали через полчаса (по моим часам) и начали роптать. Проголодались. Роптали. Лфэ напали на оставших. Роптали на меня: «Почему не убил всех лфэ пустыни?» Старики болели и роптали на меня. Детишки плакали, и матери роптали на меня: «Почему завел так далеко? Почему дома не обеспечил?»

А я нарочно хотел отвести их подальше от господ.

Конечно, господа немедленно организовали погоню, чтобы силой вернуть бежавших рабов. Как я оградил свою паству? Все той же гипномаской: «Я лава, я светлая лава, соломенно-желтая, ослепительно сверкающая, я плыву, ворочая камни, я грохочу, я жгу». Забавно было смотреть, как свирепые воины стояли посреди пустыни у невидимого рубежа, проклинали меня, потрясая копьями. В суете некоторых столкнули в мнимую лаву. И они дико вопили от воображаемых ожогов. Ожоги от внушения. Еще один грех на моей совести.

От погони гипномаска избавила нас. Увы, не могла накормить. Пробовал я расставить воображаемые столы в пустыне. Жевали мои подопечные воздух, смаковали, благодарили, вставляли сытые, хлопали себя по раздутому животу, а потом падали от истощения. Пришлось позаботиться о еде всерьез. Еще одна обязанность у пророка: он и интендант и фуражир.

Углубившись в пустыню подальше, я выбрал котловину, где кора была потоньше. Распорядился складывать каменную гору. Таскали все. Но роптали. Уставали и роптали, голодали и роптали, болели и роптали. Напрасно я объяснял, что холм еще не дошел до проектной отметки. Алюмики рассуждали по-своему: «Если ты пророк и чародей, к чему тебе проектные отметки?» Я не пророк, я астродипломат, уверял я. Но они предпочитали пророка и требовали, чтобы я был пророком.

А Жрец (и почему он увязался с нами?) нашептывал упавшим духом:

— Астралат — лжепророк. Он против бога Этрэ. Бог сделал пустыню пустыней. Побьем камнями лжепророка.

Они взялись-таки за камни. Катастрофа была причиной (или поводом?). Ведь складывали мы камни вручную, без цемента, без всякой техники безопасности. Однажды холм вздрогнул, камни посыпались. Кто пострадал? Старики и женщины, слабые и неповоротливые. А что смотрел пророк? Камни полетели в меня.

«Гипномаска! Срочно! Я груды спекшихся кусков туфа. Я туф, туф, никакого Астралата тут нет».

Тут бы я мог спокойно удалиться, но совесть не позволила. Несмышлениши эти огнеупорные, что с них спрашивать? Если ребенок выплюнул на тебя горькое лекарство, не прекратишь же лечение. Ну покинул бы я эту толпу, что дальше? Побредут назад через пустыню, половина погибнет дорогой, половину уцелевших господа казнят для острастки. Тысячи мертвецов за несостоявшееся избиевание одного пророка! Великовато наказание за обиду.

Я подождал, пока алюминики одумаются, явился к ним в привычном для них образе и потребовал три дня. Три дня, как Колумб. Нет, я не был уверен, что трех дней хватит, но надеялся. Расчетную высоту мы набрали. Из-под земли слышался треск, вероятно, кора уже лопалась. Возможно, и обвал был вызван проседанием.

И древний бог Этрэ, сделавший пустыню пустыней, не сумел совладать с сопротивлением материалов. Кора лопнула к концу третьего дня. В надлежащий момент напряжения сдвига превзошли предел прочности, основание холма отслоилось, холм начал погружаться, словно пароход с пробитым днищем. А по обводу его брызнула лава, светоносная, животворная. По понятиям огнеупорных, родилась жизнь в пустыне.

— Это ты создал лаву, Неторопливо Думающий? — спросил Кузнец.

Попытался я объяснить ему, как подземное давление в центре достаточно крупных небесных тел рождает ядерную энергию, а энергия плавит давящие сверху слои.

— Ядрэ-Нэрэ — это твой бог?

И это был еще самый толковый!

Но в мою задачу не входило читать курс естествознания. Я сам сдавал экзамен, и так задержался на столько дней. И фильтры пора было менять и накипь счищать. Так что, уловив минуту, когда алюминики устали ликовать, я собрал их и произнес прощальную речь.

— Главное я показал, — говорил им я. — Теперь вы и сами сумеете, складывая каменные холмы, добывать лаву в пустыне. Кругом просторно. Живите дружно, места всем хватит.

Некоторые плакали, убеждали меня остаться.

— Не могу, долг призывает.

— Долг это твой бог? Кто важнее, Долг или Ядрэ-Нэрэ?

Но некогда было разъяснять, проводить антирелигиозные беседы. Дышал я уже с трудом. Даже не стал придумывать гипномаску поубедительнее. Крикнул «прощайте!» и включил стартовые двигатели. Мелькнули удивленные лица, руки, воздетые к небу, сверкающее кольцо нового озера, холм, погружающийся в лаву. Вверх, вверх! Набежали тучи, все затянуло багровым туманом. А там и черное небо, узоры звездной пыли. Среди пылинок одна ползучая: станция зафоновой связи. На ней будка, вошел, набрал номер...

Как будто и пяти минут не прошло. Сидят мои профессора за той же кафедрой. Лирик пьет чай, позванивая ложечкой, Техник морщится, давая сигарету в пепельнице. На лице у него написано: «Страдалец я. Знаю, что студент будет нести ахинею, но обязан слушать».

— Докладывайте коротко,— говорит Граве.— Мы следили за вашими действиями (как это? Две недели следили?).

— Девиз астродипломата: пойми, предложи, помоги...— выпаиваю я.— Что я понял? Планету 2249 населяют сапиенсы с достаточно развитым мозгом. Труд у них ручной, малопроизводительный, подневольный. Все свои силы они тратят на добычу хлеба настоящего. Как я помог? Научил их легче добывать хлеб, освободил умственные силы. Теперь у них есть время и возможности для саморазвития. Думаю, что через несколько поколений ваши космонавты найдут в мире 2249 зрелую цивилизацию, с которой можно будет вести переговоры.

— Ну что ж,— говорит Техник.— Возможно, вы правы, а может, и нет. Наука ничего не принимает на веру. Отправляйтесь еще раз к вашим алюминикам и, если ваш вывод правилен, вступайте в переговоры. Пожалуйста, в ту же зеленую кабину.

— Сейчас отправляться? — Я недоумеваю.

— У нас не принято прерывать экзамен,— вступает и Граве.— Вы же сами не хотели поблажек.

— Я сказал, что надо пропустить несколько поколений.

— Мы поняли. Идите.

Они поняли, но я не понимаю чего-то. Впрочем, на экзаменах не спорят. Лучше промолчать, чем выдать невежество.

К удивлению чувствую, что я не так уж устал. Вхожу в свою зеленую кабину, набираю цифры на диске...

Да, планета изменилась, это заметно с первого взгляда. Раньше она была однотонно шоколадной с прожилками, теперь вся

усеяна светлыми крапинками. Видно, моя наука не прошла даром. Алюмики продавили кору в тысячах мест, создали тысячи оазисов.

Когда они успели? Непонятно. Мой рейд на кафедру и обратно занял часа четыре. Судя же по количеству пятен, в огненной пустыне поработало несколько поколений. Очевидно, я основательно ошибся в темпе их жизни.

Спускаюсь к одному из озер, минуя черную каемку — посевы на берегу, освещенном лавой. За ними в тылу бугорки, каплеобразные, обтекаемые, все выстроены острыми хвостами к господствующему ветру. Держу на самый крупный бугор: рассчитываю войти в харчевню, сесть в ступу, послушать, о чем ведутся хмельные беседы. Дорогой присматриваюсь к одежде: покрой тот же, но в моде клетчатое. Заказываю гипномаске клетчатый кафтан. Потертый, запыленный. Включаю киберперевод. Надеюсь, язык не изменился за это время. Вхожу.

Но это был не Дом хмельной лавы. Никаких столов, никакого угощения. Ступы стояли полукруглыми рядами, а заполнявшие их огнеупорные внимали оратору, стоявшему на помосте. И был оратор тот как две капли воды похож на Жреца, того, что называл меня лжепророком, камнями хотел побить. Конечно, это был не тот Жрец, а потомок его в пятом колене.

Стоя на кафедре, он водил длинным стеблем по картинам, грубо намалеванным на стенах, и вычитывал заунывным голрсом:

«...И во гневе сказал Великий Ядрэ: «Если нет мне почета от моих созданий, уничтожу их корень, стебли и побеги. И светлая лава станет черным камнем, и кровь станет камнем в их жилах...»

«...И услышал те слова Милосердный и пал перед Вседержителем ниц, молвив: «Велика вина сих, впавших в ничтожество, но не спеши, отец мой, во гневе содеешь непоправимое. Разреши мне сойти в их страну, чтобы мог я поведать забывчивым истинную истину...»

«...И был он для смертных невидим, но демоны ощутили, как вздрогнули их подземелья под стопами Божественного. И демон демонов, чье имя произносить греховно, послал двух слуг, приказав им принять облик хищных лфэ. И напали хищные на жницу из жниц, возвращавшихся с песней, и понесли ее, терзая когтями и клювами...»

«...Но Неторопливый в словах и думах был скор на доброе дело. Он кинул молнию и рассек тех демонов, отрубив им крылья и головы...»

Все это и многое другое в том же духе Жрец вычитывал нараспев, а слушатели в тумбах гудели нестройным хором:

— Алат, Великое Сердце, перед лицом грозного Ядрэ не оставь нас в смертный час, милосердное слово молви...

Дошло до вас, догадливые читатели? Сразу дошло? А до меня, Неторопливого, представьте себе, дошло не сразу. Слишком нелепо было думать, что это моя история намалевана на стенах, что это я — Алат Божественный, сын великого бога Ядрэ. Ядерной энергии!

Я вышел из храма потрясенный, лелея слабую надежду, что только в этом поселке сложилась ритуальная сказка обо мне. Увы, и в другом селении, и в третьем, и за сто и за пятьсот километров, всюду находил я каплеобразные храмы, всюду жрецы пятого поколения гудели про мои подвиги и страсти!

— Ну допустим,— сказал я себе,— меня с каким-то основанием чтят в пустыне, где лава добывается по моему способу, каменными холмами. Но были же древние земледельческие районы по берегам естественных каналов. Там жатву возили по лаве на плотах и лодках. И лаву поднимали на плато колесами. Все это было до меня, без меня.

Три сотни километров не преграда для того, у кого за плечами реактивный мотор. Я пересек пятнистую равнину, разыскал знакомый поток лавы, возле которого убил пару лфэ. Ни единой лодочки не было на поверхности лавы. Я нашел каскад искусственного орошения, даже лавоподъемные колеса сохранились, но проржавевшие, заброшенные. И несколько десятков алюмиников, обливаясь кроваво-серебристым потом, пыхтя, катили в гору камни — складывали очередной холм.

— Почему вы не используете каскад и колеса?— спросил я. И услышал в ответ:

— Алат рек: «Все необходимое я вам поведал. Большого не скажу, чтобы разум ваш не привести в смятение». В песнях не сказано о колесах, стало быть, колеса — смятение и суемудрие.

Действительно, не говорил я о колесах. Но ведь они и до меня были известны.

И вот, втиснувшись меж двух губчато-ноздреватых камней, сам притворившись губчато-ноздреватым камнем, я горестно спрашивал себя: «Почему?» Почему мои добрые намерения дали такие пустые плоды, почему из дельного технического совета выросло тупоумие? Что я доложу экзаменаторам — Лирику, Технику и дорогому моему Граве? Видимо, приплетусь с повинной головой. Скажу «Извините, ошибся, попал в мир ленивого разума. Эти огнеупорные дураки еще не доросли до мышления».

Но поостыв, я сам себя поправил. Разум огнеупорных не ленивый, скорее он экономный. Они сообразительны и даже изобрета-

тельны, когда это им полезно. Когда надо было везти пищу по лаве, изобрели лавоплавание, нашли тугоплавкие металлы, добывали руду, обрабатывали, выменивали на изделия рук своих. Мои каменные холмы все это упростили. Лава отныне находилась везде, и земледелие было возможно везде. Мои советы насчет холмов стали единственно нужными; вот их и твердят наизусть, долбят как таблицу умножения, долбят не вдумываясь, не проверяя, превратили в молитву и будут долбить до скончания веков...

Нет, не до скончания. Кормиться холмами можно до той поры, пока есть свободное место в пустыне, пока оазисы не сойдутся вплотную, не займут всю площадь. Сколько используется сейчас? Пожалуй, процентов шесть. Но население растет, дважды шесть — двенадцать, дважды двенадцать — двадцать четыре... Поколений через десять негде будет ставить новые холмы. Они перестанут кормить и перестанут вызывать уважение. Придется искать новый способ пропитания. И тогда полетят к чертям славословия Алату (мне). Придется думать своей головой, появятся ремесла, промышленность, наука, философия. Мысль потребует и мысль будет в почете. Тогда и можно будет вести переговоры о будущем их планеты на равных.

— Значит, предыдущий ваш прогноз был ошибочным? — переспрашивает Техник.

— Да, к сожалению. Переоценил я алюмиников. Судил о них, как о своих земляках. Для нас — органических — органично искать знание. Для нас нет довольства без культуры. А там в огнеупорной Алюмии — темные существа с рабскими запросами: сыты, и больше ничего не нужно. Ошибся, признаю.

— Признание ошибок делает вам честь, — говорит Техник. — Молодому ученому упрямство противопоказано. Но что вы предлагаете? Хотите отказаться от этой планеты?

— Отказаться? Жалко все-таки — сорок девять масс пропадает зря. Разве можно сказать, что алюминики используют свою планету? Царапают чуть-чуть на поверхности. Недра им не нужны. Сорок восемь масс можно откачать у них безболезненно, оставить только оболочку. Конечно, потребуется искусственное отопление и искусственная гравитация, все это надо согласовать. Но пока согласовать не с кем. Вас не поймут. В лучшем случае уверуют, а потом, разочаровавшись, будут клясть. Веруют, не мыслят.

— Может быть, природа этих существ такова, против природы не поспоришь? — это вопрос Лирика.

— Природа? Нет, я сказал бы — экономия мышления. Алюмики не рассуждают о ненужном, непрактичном. Думают о том, что могут сделать в жизни: как выбрать жену, построить дом, детей

воспитать. Изменить производство не в силах одной семьи, даже — одного поколения. Деды, прадеды и прапрадеды добывали хлеб каменными холмами. Представляется: так было, так будет.

— Но так и будет. Срок жизни-то не меняется,— говорит Лирик.

— Да, срок не меняется... Впрочем, кое-что меняется. Растет темп перемен. Пять или шесть процентов пустыни — разница не велика, все равно впереди простор. Половина или три четверти — это уже существенно, тут скачок от простора к тесноте. Придет поколение, которое увидит тупик: отцы были сыты, нам тесно, детям есть нечего. Вот эти задумаются. Сменяют истину «так было, так будет» на противоположную: «все течет, все меняется». Планетарные перемены станут насущной необходимостью. Тогда придет и время для космических переговоров.

— Не очень скоро? (опять Лирик)

— Примерно через пятнадцать поколений.

— А нельзя ли приблизить это время?

— Вот пробовал я, предложил им новую идею, все равно получился застой: двадцать поколений жующих и молящихся. И если бы они сами изобрели каменные холмы, все равно двадцать поколений молились бы на эти холмы. Сколько ни дергай за волосы, они не растут быстрее. Как ускорить развитие? Не знаю. Может, пригласить их в ваш мир, показать будущее со всей его заманчивостью?

— У кого еще есть вопросы?

Лирик смотрит на Техника, на Граве. И вдруг, вытянувшись во весь рост, говорит неожиданно:

— Человек с планеты Земля из второй спиральной ветви, приемная комиссия, после проведения предварительных испытаний, считает, что ты сдал на «хорошо»; можешь быть зачислен в Институт Астродипломатии на первый курс. Поздравляем.

Поздравляют?!?

«Хорошо» за испытание. Сдал! Принят! Ура! Гожусь в астродипломаты! Сдал наравне с земноводными. Земли не посрамил!

Благодарю в суетливо радостном оживлении, порываюсь руки пожать, преисполнен симпатии к Лирику, Технику, милому скелетообразному Граве, ко всему миру, к огнеупорным алюминкам...

— Но вы не оставляйте без внимания мою Огнеупорию,— и о подопечных хочу позаботиться.— У них темп жизни стремительный. Пятнадцать поколений как одно наше. Вы пошлите туда бывшего астродипломата своевременно.

Недоуменная пауза. Потом Граве говорит раздельно:

— Планета 2249 — давным давно полноправный член Звездной Федерации.

— ???

Но тут же все объясняется. И объясняется наглядно.

За моей спиной раздаются сдавленные крики, частый стук, трещат электрические разряды. Бордовая кабина, что стояла рядом с моей — зеленой, содрогается, из-под двери течет вода. Техник, обругав эту «треклятую дряхлую аппаратуру», рывком вырубает ток. Двери кабины распахиваются, вываливается разбитый бак, в нем задыхаясь бьется земноводное. И выпученными глазами смотрит на заднюю стенку... на ней экран, и на экране раскаленные камни бомбардируют каплеобразные здания и носятся туда-сюда пышащие жаром существа на мускулистых подушках вместо ног.

И в бордовой кабине! На экране! А я-то воображал... Стало быть, это только казус — учебный гипнофильм.

Испарилась вся моя радость.

— А как ты хотел? — спрашивает Граве. — Хотел, чтобы тебя с подготовительных курсов послали на чужую планету? Разве у вас принято студенту-первокурснику поручать операцию на сердце? Огнеупорные существуют... Тебя не было там.

И еще один вопрос волнует меня. Но только через два дня я решаюсь спросить Граве:

— А почему мне поставили хорошую оценку? Ведь я же так и не нашел решения. Сделал вывод, отказался от вывода, переговоры не начал. Так и не знаю, как нужно было действовать.

— Как ни странно, ты всем угодил своей неудачей. Технику понравилось, что ты не забывал о сорока восьми лишних массах, не отказался от их использования. А Лирик оценил твою непредвзятость, искреннее желание разобраться, понимание всей сложности дела. И даже понравилось, что ты зашел в тупик. Он же доказывает, что чужих планет не надо трогать. И с удовольствием говорил о тебе на Диспуте.

— Ах, диспут продолжается? И обо мне говорят там? Скорее, Гилик, закажи информацию!

Глава VI. ДИСПУТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Опять на экране знакомый зал с баками, газовыми и жидкостными. Знакомое лицо на трибуне: пухлое, румяное, с седыми кудрями и холеной бородкой. Таким я запомнил земного Лирика, таким показывает мне анапод их звездного Лирика.

— Признаюсь, без вдохновения я слушал темпераментные призывы нашего многоученного докладчика,— так начал Их-Лирик.— Десять миллиардов светил, всегалактический материк, сверхрасстояния, сверхдавления, сверхтяготение. И ради этого меня заставляют покинуть милые сердцу родные болота (Их-Лирик так и сказал «болота», он был из болотных существ). А мне, извините, не хочется. И я первым долгом думаю: «Нельзя ли обойтись?»

Как метко сказал докладчик: бывает развитие плоское, количественное — вширь и бывает качественное: ввысь и вглубь. Мне представляется, что наше прошлое и было количественным. Недавно в докладе брэнчало столько металлических цифр: миллион звезд, 79 ступеней материи, 144 слоя сверхпространства. Все числа, все количества. А о качестве ни полслова.

И это не случайность. Это показатель того, что наша техницизированная культура, растекаясь и растекаясь по космосу, очень мало продвинулась качественно. Вот наглядный пример. Недавно к нам доставили экземпляр из числа аборигенов весьма отдаленной планеты. (Это я экземпляр? Спасибо!) Судя по техническому уровню, культура той отдаленной планеты — почти первобытная (я поежил). О суперсвете, там не ведают, летают на четыре порядка медлительнее света, не проникли даже в первый, смежный слой подпространства. Но мы знакомимся с этим экземпляром (опять!) и не ощутили большого разрыва. У него есть понятие о добре, о совести, нравственности и о долге. Правда, он не всегда умеет подавлять свои прихоти ради долга. Но разве мы сами безукоризненны? Разве нет у нас, у докладчика, да и у меня, самолюбия, самомнения, пристрастия, односторонности? Да, мы не корыстолюбивы. Но вещи у нас доступны как воздух, нет корысти в вещах. Да, мы вежливы и уступчивы. Но ведь у нас нет повода для столкновений, мы давно забыли о войнах и насилии. Так в чем же мы превосходим ту отсталую планету?

Нас тут пытаются оглушить одними цифрами.

Так было, так предлагается на будущее. Не миллион светил, а десятки миллиардов, не квадратные километры, а квадратные светогоды. Миллиарды, биллионы, триллионы, квадриллионы...

А не привлекательнее ли иное: поменьше да получше!

Пусть будет столько же планет и столько же сапиенсов, но давайте подумаем о качестве. Я хочу услышать на следующем совещании доклад о росте благородства, о том, что любовь становится крепче на 0,7% ежегодно и на 1,5% красивее. О том, что сапиенсы стали счастливее на пять порядков. Стали счастливее у тебя дома, не на сомнительной тверди чужеродного вакуума.

Я бы предложил обойтись без Галактического ядра.

Сразу послышался говорок Дятла. Экран скользнул на него. Знакомая поза: голова набок, ухо на плече. Прищурил левый глаз, потом правый. Чувствую: сейчас начнет расковыривать Лирика.

— У меня частный вопрос,— начал Дятел. Ехидство слышалось в каждой нотке.— Есть у вас семья?

Лирик пожал плечами:

— Какое это имеет отношение к делу? Даже странно. Ну, есть. Жена и четыре дочери. Хорошие дочери, любящие.

— Еще вопрос: кто у вас в семье любит сильнее: дети родителей или родители детей?

— Час от часу не легче. Кто может измерить теплоту чувств? Спросите моего коллегу Физика. Есть у него такой термометр?

— Поставим вопрос иначе: кто скучает, кто горюет больше: дети без родителей или родители без детей? Кто кому нужнее?

— Я вас понял,— сказал Лирик.— Вы полагаете, что забота о кровожадных и грязных дикарях подобна родительской. Нет, не подобна. Возясь с безнравственными субсапиенсами, мы сами теряем нравственный уровень.

— Нельзя ли наоборот: поднять их уровень? Приблизить к нашему?

— Но дело тут не в линейных измерениях: выше, ниже. Приблизить к нашему означает унифицировать. Каждая культура оригинальна. Мы не имеем права выпалывать ростки своеобразия. Нам надо отказаться от менторства и заняться самовоспитанием.

— У меня еще один вопрос тогда,— настаивал Дятел.— Вы помните историю Яхты Здарга. Учитывали этот опыт?

???

Гилик, что это за яхта? Почему все смеются, переглядываются. Видимо, общеизвестный исторический пример. Достань мне материалы о яхте и о Здарге.

И вот на столе у меня гора карточек, ленточек, снимков, вырезки, выписки, статьи, очерки, хроники, таблицы, диаграммы, интервью, романы, стихи, мотки видеозаписи, звукозаписи, теплозаписи, электрозаписи, аромазаписи, портреты, кадры, целые фильмы. Это история трех веков, доброго десятка поколений, полная история небесного тела в сущности. О нем бы надо написать многоплановый роман, хватает драматических коллизий.

Но, сами понимаете, многоплановый роман пишется года четыре, потом издается года четыре. Стоит ли на восемь лет задерживать информацию? Возможно, роман я напишу впоследствии.

Глава VII. ЯХТА ЗДАРГА

Для начала сухая справка:

ЗДАРГ: (IV век шар. летоисч.) — крупнейший ученый энциклопедист, уроженец планеты Вдаг, III спутника звезды 14214, квадрат ХН. Составил общую схему материи и сил, в частности сил тяготения, разгадал механизм гравитации, нашел пути управления этим механизмом. Создал гравитационные насосы, гравитационное управление погодой, искусственное тяготение в космическом корабле и на астероидах. Организовал искусственные приливы на планете Вдаг, оросив большие площади. Планета жила водороследелием на мелководье, орошение имело важнейшее значение в ту эпоху технической скудости, соответствующей социально разрозненному классовому обществу. Здарг был признан первым ученым Вдага...

Тут же портрет...

Ох уж, эти мне портреты звездных сапиенсов!

Дело в том, что планета Вдаг несколько больше Земли, а крупные планеты (ученые Шара считают это законом природы) покрыты океаном полностью или почти полностью. Жизнь на Вдаге активнее всего развивалась в пограничной прибрежной полосе, в зарослях, вроде наших мангровых. Там, среди хаоса стеблей и лиан, появились и местные сапиенсы, плоские, скользкие, глянце-вито-черные существа, с обилием ножек и глазок по всему телу, глазок воздушных и глазок подводных. Можете вы, земные читатели, с сочувствием следить за переживаниями такого существа?

— Ничего не получится,— заметил и Гилик.

— Ну так пристегни мне анапод.

Анапод преобразует не только собеседников, но и портреты, однако тут срабатывает медлительно. Нужно еще долго вчитываться, наполнять фактами образ. Не сразу вырисовалось у меня что-то своеобразное: широкогрудый мужчина с курчавой бородой на шее, лобастый, губастый, этакий богатырь с волосатыми кулаками, на голову выше всех окружающих, с ботинками 47-го размера, наверное, вспыльчивый, несдержанный, с зычным голосом, гроза лаборантов, кумир лаборанток. Здаргу всего было много дано от природы: много плоти, много силы, ума, таланта, работоспособности, сообразительности, научной смелости, красноречия, мужской красоты. Так что я прошу художников не изобретать что-то лентовидное с глазками на носу и хвосте, а рисовать былинного богатыря-красавца.

Читаем дальше:

«За особые заслуги Здарг получил в качестве награды довольно крупный астероид в свое распоряжение, первый астероид с искусственной атмосферой и гравитацией — Астреллу. Здарг решил устроить там уединенный остров творчества. Он пригласил несколько тысяч талантливых ученых и художников и вместе с ними отправился в космическое путешествие...»

Так вот она какая яхта была у Здарга! Целое небесное тело, самоуправляющийся астероид! Скалистый массив, километров семьдесят в диаметре. Целый мир живописных утесов и уютных долин с садами, прудиками, водопадами, тысячи укромных местечек для свиданий с музами. У Астреллы было и свое солнце — искусственное, на другом маленьком астероиде-спутнике. И тот спутник служил заодно буксиром. Увеличивая и уменьшая его притяжение, можно было видоизменять орбиту Астреллы, направлять ее ближе к большому солнцу, или же к холодным дальним планетам. И греясь под ласковыми лучами собственного солнышка, любясь звездами и чужими мирами, таланты могли беспрепятственно вдохновляться, чтобы создавать поэмы, симфонии, полотна, конструкции, модели, матрицы, формулы, графики, атласы, альбомы, каталоги и обобщающие теории.

Без забот, без помех. Твори, выдумывай, пробуй. Выпало же счастье этим нелюдям. Досталась им Телемская обитель в космосе, мечта Франсуа Рабле. Но, представьте себе, трех лет не прошло, начались среди них раздоры, странный спор о том, чья работа важнее.

В споре этом приняли участие почти все пассажиры «яхты». Но история связала его с двумя именами — химика Гвинга и математика Ридды. (Художников прошу изображать их только анаподированно).

Ридда была учительницей Здарга, первой наставницей в студенческие годы, в дальнейшем — другом, защитницей, соратницей, адвокатом, поклонницей, последовательницей, обожательницей и биографом. Анапод нарисовал мне бескровное лицо, прищуренные глаза, брезгливо поджатые губы. Видимо, Ридда была не очень привлекательна на вкус уроженцев Вдага. В жизни ее не было большой любви, детей не было и весь нерастраченный жар сердца она отдала ученикам, сначала многим, а потом единственному, лучшему из всех — Здаргу. Мир понимала она предельно просто: есть гений и есть остальные. Гений несет миру счастье, остальные принимают его недоверчиво, нерешительно, нехотя. Гением был Здарг, конечно; остальными — его помощники, рядовые жители Вдага и даже таланты Астреллы. Высшим достижением своей жизни, самой большой удачей Ридда считала открытие Здарга,

целью и смыслом жизни — служение Здаргу. Она служила энергично, ревностно, ревниво и властно, полагая, что Здаргу некогда думать о своих интересах, она понимает их лучше и лучше защитит.

У Гвинга тоже был свой кумир, но не личность, а принцип. Гвинг служил Справедливости и не задумываясь приносил этому кумиру в жертву свои личные интересы. Анапод показал мне его беззубым и одноглазым, с изрытым в синих точечках лицом. Но от рождения Гвинг был здоров и даже благообразен. Его изуродовал взрыв в химической лаборатории. Неловкая и бестолковая уборщица уронила бутылку с нитровзрывчаткой. Гвинг кинулся и засланил уборщицу.

В дальнейшем он работал фармацевтом. На Вдаге, нищем, перенаселенном, малограмотном, эта работа давала некоторый достаток и покой. Семья Гвинга была сыта и одета. Но когда голодающие штурмовали хлебные склады спекулянтов, Гвинг принял участие в штурме, был схвачен и заключен в тюрьму на долгий срок. Испуганные власти пошли на уступки, жадность спекулянтов несколько ограничили; миллионы голодающих получили хлеб. Но семья Гвинга пошла по миру, его собственные дочери умерли от голода.

В тюрьме было достаточно времени для размышлений. Сидя в камере, Гвинг написал трактат о синтетической пище. Синтез мог бы решить проблему прокормления Вдага. Позже, узнав о летающей космической академии Здарга, Гвинг переслал ему свой трактат, настаивая на том, чтобы ученые астероида энергично продолжали работы по синтезу. Но Здарг верил в головы, а не в формулы. Он сумел вызволить Гвинга из тюрьмы и взял его с собой в космос.

И вот теперь этот Гвинг выступил с декларацией:

«Целью истинных талантов,— заявил он,— является развитие науки, искусства и культуры для благоденствия жителей Вдага.

Для процветания живым существам необходимы в изобилии:

а) еда, б) одежда, в) жилье, г) авто, мото, д) телевизор, е) здоровье и долголетие, ж) личное спокойствие, з) приятные развлечения, и) не слишком обременительная работа и к) продолжительное свободное время.

а) Для изобилия еды таланты Астреллы разрабатывают...

б) Для изобилия одежды таланты Астреллы разрабатывают... и т. д. вплоть до раздела десятого.

к) Для изобилия свободного времени таланты Астреллы разрабатывают автоматы, избавляющие от отупляющего нетворческого труда. Главный вклад в настоящее время — комнатно-кухонный ав-

томат «киберприслуга», освобождающий женщину от одуряющего труда у плиты и с метлой».

Так по всем десяти разделам: перечень тем, указание «главного вклада». Гвинг даже предложил составить списки ответственных за темы и определить сроки исполнения.

Ридда возражала с негодованием и иронией. Она сказала, что, видимо, автор этого списка не очень четко понимает разницу между интуицией и инструкцией, советовала заглянуть в толковый словарь. Назвала декларацию Гвинга инвентарной книгой. Сказала, что подлинному таланту не нужна подсказка, у него есть врожденная потребность творчества, огонь и компас внутри. Впоследствии сторонники Гвинга именовали «инвентарщиками», а приверженцев Ридды — «нутристами».

Полемика продолжалась устно и в печати. Сохранились многочисленные статьи.

Перебирая эти статьи, вслушиваясь в раскаты давно отгремевших споров, невольножимаешь плечами: «К чему столько страсти? Астрелла — питомник свободного творчества, время есть, место есть. Вот и твори, каждый в своем закутке...

Но в том-то и дело, что отвлеченные, казалось бы, споры были связаны с насущными вопросами. Прежде всего, с проблемой помощников. На астероиде было много светлых умов, но мало золотых рук, не более двух-трех подсобников на одного таланта. Вот каждый и доказывал, что его дело важнее, ему нужен наряд на руки. Кроме того, шел спор и о выборе орбиты. Практичные инвентарщики хотели держаться ближе к Вдагу, чтобы как можно быстрее перенести свои опыты в массовое производство. Нутристы предпочитали дальние просторы, поговаривали даже о тысячелетнем путешествии к соседней звезде. Почему дали казались предпочтительнее? Об этом не говорилось прямо. Возможно, нутристы побаивались, что большой Вдаг вмешается в их дела, начнет пересортировку, кого-то отзовет. Инвентарщики были явно полезны Вдагу, нутристы же со своими отвлеченными идеями могли показаться и необязательными. А из младших научных сотрудников явно было возможно заменить любого. Возвращаться на голодающий, обьятый войнами Вдаг мало кому хотелось. Но соплеменники Здарга стеснялись говорить «хочется — не хочется». У них полагалось ссылаться на высокие мотивы: на свободу духа, прогресс, интересы будущего... на внутреннее горение хотя бы.

При голосовании нутристы оказались в большинстве. Астрелла взяла курс на дальние просторы.

Гвинг не успокоился. Он заявил, что хочет с группой единомышленников покинуть астероид, просил предоставить ракету.

Ему отказали. На Астрелле была только одна ракета. Нельзя было оставаться без единственной спасательной шлюпки.

Тогда Гвинг предложил построить большой радиопередатчик, чтобы информировать Вдаг о практических успехах. Отказали и на этот раз. Нутристы не хотели вмешательства и по радио. Но возражая, ссылались на авторитет Астреллы. Сообщать о незрелых идеях несолидно и нескромно.

Ридда победила опять, но она понимала, что Гвинг не отступится. В просьбах отказали, возможно, он попытается захватить ракету силой. Ридда уговорила Здарга поставить охрану на космодроме, расставила посты и возле дома Здарга. Все предусмотрела, не догадалась о самом главном — о том, что глава талантов колеблется, сам не прочь покинуть Астреллу.

Станный каприз, непонятная прихоть гения? Пожалуй, если вдуматься, не такая уж непонятная.

Всю жизнь Здарга тянуло в неведомое, всюду он хотел быть первооткрывателем, пионером мысли, разведчиком среди разведчиков. Его гравииустановки были лестницей в неоткрытое, каждая ступень мощности вводила в новую область: в гравиботанику, в гравиибиологию и гравиимедицину, в гравитехнику, в гравииклиматологию. В космос ввел его гравииастероид. А сейчас Здарг думал о следующей ступени. Искусственная гравитация есть на астероиде. Нельзя ли сделать ее на крупном небесном теле, например на спутнике Вдага — Рлоре — их Луне?

При усиленной гравитации Рлора могла бы удержать и искусственную атмосферу, там можно было бы налить моря в котловины, растительность прижилась бы. Соплеменники Здарга получили бы целый мир для жизни, не какую-то яхту.

Но это была бы работа совсем иного класса. Рлора была массивнее астероида примерно в сто тысяч раз. Здарг рассчитал, что там нужно поставить двадцать тысяч гравиистанций. Двадцать тысяч таких, как на Астрелле!

Здарг сделал расчет, составил проект, приложил планы, чертежи, пояснительную записку... и со вздохом поставил папки в шкаф. Астрелле эта работа была не нужна, и не по плечу... не по количеству рук.

Будь Здарг моложе, не задумывался бы. Сейчас он не решался повернуть на 180 градусов. У пожилого ученого велик багаж. Его багаж — начатые труды. Здарг сам затеял этот эксперимент с космическим питомником талантов, отбирал, приглашал, увел на далекую орбиту. Теперь он чувствовал ответственность перед приглашенными. Имеет ли он право все переменить: «как хочу, так и верчу».

Здарг тосковал и терзался. Кто знает, на что он решился бы в конце концов. Но тут Ридда ускорила события, совершила непростительную ошибку, сама привела к Здаргу вождя своих противников.

Зачем? По обыкновению, Ридда переоценила своего божка.

Она полагала, что Здарг своей логикой, эрудицией, авторитетом раздавит упрямого инвентарщика. Пристыженный и просветленный Гвинг поймет свои заблуждения, превратится в преданного здаргиста.

Но коса нашла на камень.

И косой оказался Здарг, потому что колебался он.

Художники Астреллы не раз изображали сцену встречи. Если анаподировать ее, перевести на земные образы, получится примерно такое: полумрак просторного кабинета; на большом пустоватом столе (Здарг методичен, не разбрасывает бумаги как попало) настольная лампа. Она скупо освещает две фигуры, такие разные. Иссеченное лицо Гвинга почти страшно: единственный глаз выпучен, губы закушены. Он уселся в кресло, глубоко и прочно, всей позой показывая, что его не сдвинешь ни на волос. И перед ним возвышается статный богатырь. Кажется, нажмет рукой, мокрое место останется от противника. Но не нажимает. Нет уверенности в позе богатыря. Руки убрал за спину, склонился, слушает. Мог бы сокрушить, спрашивает вместо того.

И кончилась встреча эта победой мрачного гостя. Здарг обещал помочь инвентарщикам, способствовать их побегу. Так во всяком случае утверждал Гвинг впоследствии.

А побег не удался. Охрана заметила посторонних возле ракеты. Ракета уже вздувала огонь, охрана заспешила, обстреляла беглецов. Почти все были перебиты. Среди мертвых оказался и Здарг.

Как это случилось? Беглецы уверяли, что Здарг сам захотел проводить их, чтобы вручить свой труд — проект оживления Луны, а в последнюю минуту решил лететь на Вдаг. Нутристы обвиняли инвентарщиков в том, что они захватили Здарга в качестве заложника и убили его в злобе, убедившись в своем поражении. Их судили. Гвинга казнили как главного зачинщика. Так или иначе, движение было подавлено. Даже в Устав Астреллы вписали слова о том, что «истинные таланты развивают науку, искусство и культуру качественно, а не количественно».

Конечно, и капитаном Астреллы стал убежденный нутрист. Нет, не Ридда. Подавленная, потерявшая со смертью Здарга опору и стержень жизни, Ридда могла только предаваться воспоминаниям.

Живые не интересовали ее. Всех вместе она не приравнила бы Здаргу. Капитаном избрали другого нутриста — Ласаха, психолога по образованию, друга талантов, отзывчивого и внимательного.

Один из моих редакторов сказал, что тут я должен был бы удвоить повествование. Вероятно, в Звездном Шаре, с его миллионами миров нашлись и такие, где история сложилась иначе: практичные и фанатичные инвентарщики подавили чувствительных нутристов, казнили какую-нибудь другую Ридду, капитаном поставили другого Гвинга.

Представьте себе, и я задал Граве этот вопрос.

— Не припомню, — сказал мой куратор. — Кажется, не было такого варианта. Пожалуй, и не могло быть. Ведь инвентарщики хотели вернуться на большую планету. Они и вернулись бы... и влились бы в общепланетную науку. У них не могло быть изолированной самостоятельной истории. За изоляцию стояли нутристы, те, которые способны были творить в башне из слоновой кости. Только они и могли оставаться надолго на астероиде, этой космической летающей «башне».

Итак о Ласахе, новом капитане Астреллы.

Анапод нарисовал мне удлиненное лицо, полуоткрытый рот с толстыми выпяченными губами, короткие кудряшки на потном лбу, выпуклые грустные глаза — облик застенчивого наивного добряка. Пожалуй, наивным Ласах не был в действительности.

В юности Ласах хотел стать священником, поскольку религия Вдага прокламировала всепрощение, утешение, милосердие. Но как и в христианской религии, там все сводилось к векселям: терпение в этом мире, утешение после смерти. Ласах же хотел делать добро живым, а не мертвецам. Разобравшись в пустословии церкви, он перешел с богословского факультета на безбожный медицинский. Его увлекала психиатрия, точнее — психотерапия, лечение словом.

Он кончил университет, занимался практикой и помогал практически. Постоянно выискивал несчастных, одиноких, осиротевших, неудачливых, увечных, подсудимых, осужденных, хлопотал за них, устраивал в бесплатные больницы, добывал пенсии, поручительства, рекомендации, пособия. Сам ручался... за обманщиков нередко.

— Зачем ты вкладываешь столько времени в каждого шизофреника? — спрашивал Бонгр, его друг и антипод. — Ты же ученый, вдумчивый наблюдатель. Лучше напиши книгу, принесешь пользу тысячам, всему народу.

— Народ состоит из личностей,— возражал Ласах.

Он считал, что каждая личность талантлива от рождения. Но нищета угнетает, беспомощность озлобляет, будничные заботы глушат творческие порывы. Горе убивает талант. Ласах написал научный труд «Счастье — фундамент творчества». Ссылался на своих подопечных: примерно десяток ему удалось вывести в люди. «Десяток из тысячи?» — усмехнулся Бонгр. «Десяток — не так мало для одного врача», — возражал Ласах.

Стимуляция творчества интересовала Здарга. Ласах был приглашен на астероид. И вот теперь он имел возможность широко проверять свою теорию на практике: давая радость каждому астреллиту, измерять рост творческого потенциала.

Ласах подошел к делу как ученый: начал с анкет.

«Бывали в Вашей жизни беспредельно счастливые дни, часы, мгновения? Сколько Вы можете припомнить?»

«Что именно доставляет Вам наибольшее счастье: любовь, наслаждение, веселье в обществе, опьянение, похвалы, благодарности, подарки, награды, приобретения, исполнение желаний, самодовольствие, победы, красивые вещи, творчество, искусство, восприятие искусства? (зачеркните, подчеркните, важное подчеркните дважды, не упомянутое впишите)».

В таком духе страниц шесть. Первый раздел был посвящен счастью, а второй — вдохновению.

«1. Ваша творческая деятельность. Находится в активной фазе, в латентной, в прошлом, получила признание, не получила признание (подчеркните, зачеркните...)»

2. Вашу творческую деятельность подготовили: отличные успехи в школе, любознательность, мечтательность, склонность к фантазии, к логическому рассуждению, независимость суждений, самоуверенность, находчивость, богатое воображение, достойные примеры, другое (что?)...

3. Наилучшие идеи приходят к вам: в рабочие часы, на отдыхе, в период сильной радости, в опасные минуты, в подавленном состоянии, во сне, при пробуждении, при опьянении, в других условиях (каких?)...

И т. д., и т. д., всего 116 параграфов.

Анкетой обследование не исчерпывалось. Ласах говорил: «Не каждый пишет о себе правду, редко кто знает правду». После анкеты следовало собеседование с глазу на глаз, потом еще давались тесты. И в итоге писалось заключение: «Путь к личному счастью астреллита (литки) Икс...» Многие из них написаны Ласахом лично. Любопытно, что этот доброжелатель становился беспощадным в выводах. Себя психотерапевт не может обманывать.

Например:

Карточка № 226. Скульптор А.

Жалобы. Пишет, что ему мешают достойно прославить освобожденный Талант. Хочет все горы и утесы Астреллы превратить в аллегорические фигуры и портреты, высочайшую вершину — в голову Здарга. Многословно рассуждает о зависти мелких бездарностей. **Анамнез.** Действительно погружен в творчество, других интересов не имеет. К семье равнодушен, о жене не думает, о детях заботится мало. Друзей не имеет, сходится туго, в обществе молчит, замыкается в себе. Малообразован, слова подыскивает с трудом, за пределами специальности ничего не знает, разговор поддерживать не может. В мире искусства авторитетом не пользуется, считается середняком.

Диагноз. По-видимому, гигантомания — подсознательный реванш за поражение в главном русле искусства. Не сумел превзойти в качестве, надеется выделиться грандиозностью, масштабом. Не самая лучшая поэма, но самая длинная. Пишет о возвеличивании Таланта и Здарга, думает о собственной славе, о том, что навеки веков останется в космосе небесное тело, облик которого создан скульптором А. ...

Разрешить ему уродовать Астреллу?

Будет это красиво, если у гор появятся уши и носы? Будет способствовать уважению Здарга, если в его ноздре создадут каменоломню и по губам проложат шоссе?

Терапия. Путь к счастью скульптора А. ...

Поручить ему составить макет пластического оформления астероида в масштабе 1 : 500 000, потом 1 : 10 000 (семиметровый). Макет выставить, обсудить. Наверное, будут предложения по переработке. После трех-четырех переработок разрешить А. испортить одну из гор, снабдив необходимой техникой. Вероятно, этой деятельности хватит ему на всю жизнь... если он не остынет к своему проекту».

Так карточка за карточкой. На всех как бы история психической болезни: жалобы, анамнез, диагноз, терапия.

Вот на приеме химик Н. Немолодой ученый, в прошлом помощник Гвинга. Н. хочет продолжать работу с синтетическим пойлом для скота. Пора ставить опыты на животных. Нужен скотный двор на две сотни станков. Синтетик не может быть счастлив без скотного двора.

Но ведь это количественное, а не качественное развитие. И где взять руки для постройки коровника и свинарника, кто захочет ухаживать за нечистоплотными животными? Ласах мягко угова-

ривает химика сменить тему. Пусть занимается не пойлом, а синтетическими приправами, усилителями запаха и вкуса. Право же, это интереснее, тоньше, достойнее и нужнее... на астероиде. Приправы здесь оценят повара и гурманы. А простой пищи хватает.

Д.—художник. Десять лет писал полотно: «Добрый бог на тюремном дворе». Выставил, наконец. Посмотрели, похвалили, разошлись и забыли. Ценителей на Астрелле немного, тюрем нет, тема эта волнует мало. Художник опустошен и разочарован. Счастья нет, противно брать палитру и кисти.

Ласах советует начать новое полотно. Подсказывает тему: «Мудрый бог в пустыне». Мудрость, по религии Вдага, заключается в самоуглублении, отречении от мирских радостей, уединении, в молчаливом познании самого себя. Ласах как бы настаивает: углубись в работу и не жди одобрения. Ищи счастья в самом себе. В сущности, это основная идея нутризма.

Проходят чередой и помощники талантов. Ведь, по Ласаху, каждый потенциально даровит, только не раскрылся, потому что не познал счастья.

Т.—Секретарша. Пожилая вдова.

Пишет, что мечтает стать психологом (модно!— пометка Ласаха), приносить счастье, пробуждать дремлющие таланты (штамп!—Лас.).

Ласах пишет: «Исполнительна, старательна, бестолкова. Учить ее — напрасный труд. Всю жизнь была домашней хозяйкой, чувствует одиночество. В сущности, мечтает о том, чтобы подавать диетические обеды немолодому тихому мужу».

И рекомендует:

Подобрать работу в доме для престарелых талантов.

— Был ты попом, попом и остался,—язвил Бонгр.—Обманываешь со сладкой миной. Суррогаты предлагаешь. Вместо скульптуры модель, вместо мужа — команду капризных пенсионеров.

Ласах разводил руками:

— С бедняками было легче. Нищему дашь золотой, он счастлив. Нас с тобой не осчастливишь и сотней.

— У психологии непростая арифметика,—посмеивался Бонгр.—Оказывается, разница между сотней и тысячей меньше, чем между единицей и нулем. Не хочешь ли вернуться к нулю? Легче будет.

О Бонгре, этой личности, сыгравшей такую важную, роковую, по мнению историков, роль, надо сказать чуть подробнее.

На Вдаге он был адвокатом, даже преуспевающим. За хорошую плату старался выгородить, избавить от заслуженного наказания

разных мошенников, воров, грабителей, убийц, растратчиков или растлителей, если они могли внести эту плату. Выгораживал словом, умным, уместным, впечатляющим. И Бонгр верил в слово, прикрывающее суть, искажающее суть, обеляющее суть. А суть ему всегда виделась одинаково грязной.

Он владел искусством воздействия словом. Отсюда его интерес ко всякому воздействию искусством: красками, звуками, мелодиями, формами, размерами, композицией, позами, жестами, намеками, тоном, мимикой. Как психолог искусства, попал на Астреллу, ведал там искусствами. Историки отмечают, что он предпочитал симфонию опере, балет — драме, форму — содержанию. Ибо Бонгр верил в слово, но не верил словам.

И именно он поддержал и распространил на Астрелле квази.

Что такое «квази»? Мы бы сказали, что это кино с эффектом присутствия и усилением сопереживания. Благодаря совершенной стереоскопичности эффект присутствия был идеальным. Казалось, сидишь за одним столом с героями, можешь чокнуться с ними. Сопереживание есть и в обычном кино. Ведь каждый мальчишка в кинозале как бы скачет рядом с героем на лихом коне. Как бы скачет! А зрителю «квази» внушали, подавив его волю особыми таблетками, что он на самом деле скачет, боксирует, вальсирует, сражается, плывет, что это он, увенчанный лаврами, встает на помост над цифрой «1».

За какой-нибудь год «квази» стали любимейшим развлечением астреллитов. Снимались фильмы легко, каждый сам мог сыграть для себя. Все несуразности затушевывались таблетками. Были и ходовые сюжеты на все вкусы. Например, «Дочь богини красоты» брали нарасхват молоденькие девушки. Так приятно было воображать и чувствовать себя желанной, дарить мелкие знаки внимания «этим несносным мужчинам». Пожилые одинокие женщины вроде секретарши Т. предпочитали квази «Вечерняя песня». Героиня ее — хозяйка придорожной гостиницы, погруженная в житейские заботы о приварке, постельном белье, пьяных гостях, жуликоватых служанках. И вдруг в гостинице останавливается проездом друг детства хозяйки — пожилой профессор с молодой женой из студенток. Профессор заболевает, расчетливая жена бросает его и обкрадывает. Но хозяйка выхаживает больного, и он понимает, кто истинный друг ему...

Мужи Астреллы, в особенности зеленые юноши и старики, охотно смотрели квази «В гареме». Но тут и пересказывать нечего, сюжета никакого, сплошная порнография. Широко пользовалась популярностью серия «Чемпион мира», а также фильмы о знаме-

нитостях, в молодости непризнанных и осмеянных, а потом — прославленных. Естественно, среди талантов было много потребителей таких квази. Но и женщины охотно брали их, если в квази о великом таланте вплеталась и романтическая история, а в конце, получая всемирную премию из рук короля, президента, восторженной толпы, талант представлял свою молодую жену (или немолодую), и король, президент (или толпа) говорили:

— С такой помощницей каждый станет великим.

И долго ли коротко ли, как говорится в сказках, но через некоторое время квази-фильмы стали повальным увлечением и всеобщим бедствием Астреллы. Таланты смотрели по три-четыре-пять квази подряд, смотрели все больше, работали все меньше. Квази-жизнь была куда приятнее и легче подлинной. В самом деле, зачем тренироваться часами с мешком и прыгалкой, если победа достается так легко: включи квази... и вот ты чемпион мира по боксу! Зачем терзаться ночами, искать «слово, величием равное богу», если квази «Великий поэт» сделает тебя признанным гением через полчаса!

Художники Астреллы забросили свои мастерские, музыканты оставили партитуры, высохли тряпки на глиняных моделях будущих статуй, пылью покрылись письменные столы. Таланты бездействовали, воображая себя талантами. И бездействовали, воображая себя талантами, их помощники: лаборанты, типографы, механики, секретари. Бездействовали транспортники, снабженцы, садовники.

И продукты плесневели на складах, осыпалась в поле необранная пшеница, ревел в стойлах некормленный скот, гнили опавшие плоды в садах. Плесневело, гнило, осыпалось, а одуревшие от видений работники смаковали несуществующие яства на квази-пирах.

Но квази-пища не насыщала, а квази-жизнь требовала действительного расхода нервов. Очнувшемуся зрителю мир казался таким невыразительным, серым, противным. Наскоро закусив, он спешил окунуться в грезы. А если еды не было в доме, возвращался к грезам натошак. Бывали голодные обмороки, бывали и случаи голодной смерти. И необранные трупы неделями лежали в комнатах, потому что соседи перестали ходить к соседям. Каждый сидел в своей келье, наслаждаясь мнимой жизнью в одиночку.

И кто знает, может быть, вся Астрелла вымерла бы через несколько лет, иссушенная сновидениями, если бы не нашлась в ней здоровая жизнелюбивая прослойка граждан... маленькие дети.

Для детей не делали квази, самых младших мнимые существа только пугали, вызывали неудержимый рев. Дошкольников (приме-

няя нашу терминологию) удовлетворяли книжные картинки, воображаемые баталии с осязаемыми игрушками. А насмотревшись и наигравшись, детишки настырно горланили, требуя молока и каши четыре или пять раз в день.

И матери, оторвавшись от своих женских квази с почтительной и сентиментальной любовью, слышали этот настырный рев. Материнский инстинкт просыпался, матери спешили накормить горлопанов натуральной кашкой. Но нередко выяснялось, что в доме нет ни крупинки. А ближайший магазин заколочен, и муж-добытчик витает в воображаемых джунглях, героически спасая от тигра постороннюю красавицу.

И проклиная квази-фильмы с их изобретателями, изготовителями, распространителями, матери отправлялись сами добывать, собирать, одалживать, выменивать и выпрашивать пищу.

Так сложилось содружество заботливых матерей—Общество Пчел-Работниц.

Возглавила его Хитта, руководитель Исследовательского центра по изучению потенциальных талантов (проще говоря, детского сада.— К. К.), женщина выдающейся энергии.

Хитта собрала мам. «Ваши чада в смертельной опасности!—воскликнула она патетически.—Я не ручаюсь за их жизнь! Спасайте потомство, пчелы-работницы!»

И предложила операцию по избиению трутней.

Хитта проявила редкостный организаторский талант. Операция была подготовлена тщательно. Сначала с помощью детей были выслежены убежища скрывающихся отцов, составлена диспозиция, намечены направления главного удара, охватные маневры. И трутней захватили врасплох. Не потому, что удалось сохранить тайну, нет. Каждая пчела выдала по секрету тайну операции своему мужу или возлюбленному. Но мужчины в своем мужском самомнении не обратили внимания на предупреждения, сочли все бабьими выдумками, пустой брехней. Однако ударные отряды обиженных мам были подготовлены, вооружены и подняты по тревоге. Разморенные и истощенные, одуревшие от видений, квази-герои не смогли оказать сопротивления. Свирепые пчелы оттаскивали их за руки и за ноги, награждая тычками и пощечинами, а совершенную аппаратуру превращали в груды стеклянных осколков, проволочек и мелких щепок.

Историки не считают, что это женское восстание было действительно задумано как день избиения трутней. Конечно, женщины хотели не уничтожить, а образумить мужской пол, вернуть супругов в семейное лоно. Но, видимо, в разгаре разрушения

мстительницы перенесли свою ярость с одуряющих аппаратов на одуревших потребителей.

Бонгр был повешен. Ласах свергнут. Капитаном Астреллы стала Хитта. Хитта объявила, что начинается новый век — Эпоха Чистых Радостей.

— Я по-простому думаю так,— говорила она.— Здарг хотел для всех нас достойного будущего. А что такое будущее? Дети. Что такое достойные дети? Вежливые, обученные, красивые и здоровые. Здоровье — прежде всего, потому что красота — это здоровое тело, нравственность — здоровое поведение, ум — здравые суждения. А что нужно для здоровья? Естественность. Чистый воздух, чистая, вода, простая сытная пища, естественный труд на чистом воздухе. И не нужны нам фабрики, загрязняющие легкие ядовитой копотью, а желудок — анилиновыми красками. Астрелла достаточно просторна, чтобы прокормить всех естественными продуктами. Нужно только не лениться, спину гнуть, пота не бояться. Да здравствует простая жизнь, простая пища, простые радости!

Упрощение стало главным лозунгом при Хитте, целью, достижением, личной заслугой. Труд физический, труд с напряжением мускулов, считался почетным, труд умственный — блажью, работой для ленивых и слабосильных. О закрытии фабрики, разрушении машин, ликвидации лаборатории сообщали как о победе. Утонченное называли извращенным, рассуждения — пустословием, чтение — потерей времени, сибаритством. И поэты воспевали опрощение простыми словами. Гирдл-Простак был самым известным. Приведу несколько его сонетов в прозаическом переводе. Рифмовать не берусь, хотя и рифмы в школе Простаков были простые, четкие и привычные, такие как «день — тень», «кровь — любовь».

Итак, стихи:

«В лаборатории, затхло-прокисшей, заплесневелой, как могила, в запаянных колбах, наполненных удушливым дымом, ветхий старец слезящимися глазами старается рассмотреть зарождение жизни.

А жизнь рождается не в колбе, она рождается в поле, когда солнце припекает, а свежий ветер обдувает чернозем, когда горючие ручейки омыают комья почвы. Открой глаза пошире. В крыльях бабочки ты увидишь блики солнца, в ворковании горлицы говор ручейка. Посмотри старец на свою внучку, посмотри мужчина на жену хлопотуню. Разве ты не замечаешь в ней стремительность ветра, резвость ручья, жар солнца в румянце.

А подслеповатый мудрец что-то ищет в мутной колбе».

И еще один стих:

«Сладка вода для того, кто гнул спину над плугом. Отдых сладок тому, кто потрудился на славу. Вот старик сидит на зава-
лилке, вокруг галдят внучата. Галдят, а он дремлет, подставив
солнцу морщинистые веки. На лице покой и довольство. Заслужил,
потрудился. Звонит многочисленное потомство. Жизнь прожита
не даром.»

Гирдлу выпало счастье быть знаменитым и популярным при
жизни. Его стихи декламировали, пели и цитировали. Его читали,
как пророка, и любили гораздо больше. Пророк куда-то тянет, ве-
дет за собой, а Гирдл сам шел за почитателями, выражал их точку
зрения: «Сапиенс живет для будущего, а будущее — это дети».

Результат нетрудно угадать. Прирост населения на Астрелле
был завидный. Число жителей удваивалось в каждом поколении,
за сто лет увеличилось в 16 раз, через полтора века — в 64 раза
и перевалило за триста тысяч.

Астрелла, однако, не резиновая. Это маленькое небесное тело,
астероид, и поверхность его по площади не больше Парижа.
В свое время для трех тысяч талантов хватало пустырей. Триста
тысяч едоков с трудом находили площадки для новых
пашен.

И если презирается, третируется неопрятная, дурно пахнущая
техника, стало быть, нет ни тракторов, ни бульдозеров, выравни-
вающих неудобные земли, камни выковыривают ломом, грунт носят
на носилках. И нет никаких надежд на просторные новые земли.

Если наука, в частности химия, считается подозрительной бла-
жью подслеповатых чудаков, стало быть, нет и химических удоб-
рений, нет генетики — химии новых сортов. Никаких надежд на
повышение урожайности.

Наука забыта. Забыто даже, что сама Астрелла — детище высо-
коразвитой науки: у нее искусственная атмосфера, искусственная
гравитация, искусственное солнце. Все это требует управления,
поддержания, ремонта. Правда, управлять техникой не так уж
сложно. Можно, наизусть зазубрить, какой рычаг тянуть, какую
кнопку нажимать. Но машина требует и ремонта, кроме того. А что
можно понять в искусственном солнце, если «наука это блажь
подслеповатых старцев?»

И гравитация начала сдавать со временем, через прохудив-
шееся искусственное небо улетучивался воздух, дышать становил-
ось все труднее, работать тяжелее. И солнце меркло время от
времени, так что не всегда вызревало зерно на полях. Голодали
взрослые, голодали и дети — достойное будущее.

Тогда король Астреллы (в ту пору там уже были короли, а
не капитаны) объяснил народу, что счастье не просто в детях,

а в здоровых детях, и потому первенцев, как не самых здоровых, надлежит убивать.

Так, за полтора века от умиления Астрелла перешла к уничтожению потомства. Круг замкнулся быстро, потому что тесный, махонький был кружок.

На Вдаге ничего этого не знали. Большая планета жила своей жизнью, решала свои проблемы. Проблемы общепланетные. Период раздоров, войн и социальных потрясений там миновал давно, преодолен был классовый эгоизм, преодолена скудость, так пугавшая первопоселенцев Астреллы. О беглом астероиде помнили только специалисты — историки астрономии. И по их желанию телескопы иногда нацеливались на светлую точку. Где она? Существует ли?

И вот однажды один из наблюдателей увидел, что точка мигает. Мигает не случайно, чередуя короткие и длинные перемены. Короче, передает сигнал бедствия. SOS по коду Вдага.

И через некоторое время ракеты скорой помощи сняли с Астреллы триста тысяч голодающих потомков гордых талантов, некогда отказавшихся работать на скудный Вдаг.

На Астрелле остались только закоренелые приверженцы патриархальности.

Ныне починенный и реставрированный астероид вращается вокруг обширного Вдага. И школьников Вдага возят туда, чтобы познакомить со старинным бытом.

Глава VIII. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

И снова Диспут о будущем Звездного Шара.

Председатель (по-прежнему называю его Дятлом мысленно) повторяет свой каверзный вопрос:

— Так вы помните историю Астреллы? Учитываете ее опыт? Их-Лирик нервно теребит свою мнимую бородку:

— Пример Астреллы не показателен,— говорит он.— Это история беглецов из аморального классового общества, пропитанных предрассудками и эгоизмом. Их нельзя сравнивать с настоящими сапиенсами.

— Ну-ну!— хмыкает Дятел.— В прошлый раз вы говорили, что мы не так уж далеко ушли от отсталых планет. Но, может быть, вы возьметесь проверить, повторить опыт? Можно предоставить вам самоуправляющийся астероид, подберите желающих...

— Это ничего не даст. Надуманная обстановка, искусственная изоляция в космосе. Все равно, что заточить сотню ученых в тюрьму и воображать, что наблюдаешь там развитие общества.

Нет, нам необходимо нестесненное свободное развитие, моральное и духовное. Тогда через три-четыре поколения можно ждать результатов.

— Свободное! Свободное от технических усилий, так вы понимаете? Но вот ваш оппонент (кивок в сторону Физика) считает, что у нас нет сотни лет для неторопливых опытов. Как же быть? Что вы предлагаете конкретно?

И тут на помощь Лирику неожиданно пришел Физик, его главный противник.

— Вот именно, это мы и хотим знать,— крикнул он.— Что вы предлагаете конкретно, как председатель. Мы ведем дискуссию не первый день, и вы только возражаете. Возражаете мне, возражаете моему оппоненту, опровергаете, опровергаете. Так нельзя выяснить ничего. Нельзя спорить с туманом. Я настойчиво прошу, скажите, наконец, за что стоите вы лично: за мой проект или за проект моего противника. Определим позиции. Нельзя же спорить с туманом.

— Почему только два решения?— уклончиво возразил Дятел.— К нам поступают целые пачки предложений. Я как раз хотел ознакомить вас с некоторыми. Вот, например, нам пишут:

«Мы предлагаем...»

(«Мы» — это не просто вежливая формула. В среде звездожителей принято мыслить коллективно. Незрелых идей не стесняются, больше опасаются, как бы мысль не пропала зря. И не носят с собственностью на открытия, понимают, что культура создается общими усилиями. Кто-то высказал гипотезу, обсудили, поправили, поддержали, переиначили. И не разберешь, кому, какая запятая принадлежит; шлют общее письмо).

Итак, предложения:

Некая группа предлагала сконцентрировать усилия ученых на исследовании зафона, найти там слой, где можно было бы перемещаться еще на пять порядков быстрее. Тогда любая звезда любой галактики стала бы доступной. Выбирай самые удобные.

Другая группа предлагала разгадывать тайну Большого Взрыва, в котором возникла наша Вселенная примерно пятнадцать миллиардов лет назад. Подражая ему, малыми взрывами можно было бы творить планеты и солнца где угодно.

Третья группа вообще хотела отказаться от житья на планетах и звала звездожителей переселяться на оболочку Ядра. Эти считали, что оболочки можно делать в вакууме искусственно. Создал плоскость, подвесил солнце и живи.

Четвертая — шла еще дальше. Хотела реконструировать не космос, а сапиенсов: перестроить тела так, чтобы они состояли

не из атомов, а из вакуума. Тогда можно было бы жить в пустом пространстве и питаться солнечным светом.

Пятые призывали уменьшиться, стать сверхмикроскопическими и поселиться в атомах.

Шестые, седьмые... восьмые...

Девятнадцатое предложение мне запомнилось: создать планеты с ускоренным течением времени, где проходили бы часы и сутки за нашу секунду, откомандировать туда ученых и поручить им представить разумные проекты к завтрашнему дню.

Дятел говорил добрый час, только перечисляя, не разбирая сути. Я еле поспевал записывать, удивляться не успевал. Лирик молчал, кажется он был огорошен, подавлен цифрами и терминами. Но Физик стоял на своем:

— И все-таки вы не ответили,— настаивал он.— Было два предложения, стало двадцать два. А за какое стоите вы лично? Что мы обсуждать будем? Я жду ответа.

— Позвольте я отвечу примером,— сказал Дятел кротко (ох, и до чего же ироничная физиономия в анаподе!).— На моей родной планете очень ценят примеры. Даже в школах преподают литературу — искусство рассуждения на примерах. Впрочем, кажется вы не уважаете искусство. Литература, конечно, не точна статистически, но она сильна наглядностью.

Так вот, о примере. Вчера был день отдыха, и я провел его в Парке Старинных Забав — он только что открылся. Я плыл по реке на колесном пароходе, неторопливое такое, ленивое сооружение, шлеп-шлеп плицами по воде. Тишина, свежесть, берега один другого живописнее, затончики, пляжи, камыши. И просто на воду смотреть приятно, судно испарывает гладь, струи бегут под углом, нервы отдыхают. Конечно, это я отдыхал, а рулевой в рубке работал тяжело. Река петляет, а судно — пуще того: то к правому берегу, то к левому, то в проливчик, то под крутояр. Зачем бы? Держись по середине, и вся недолга. Крутят. К чему?

Вы пожимаете плечами. Считаете, что я задал детский вопрос, несолидный? Конечно, детский. Нет простого правила на все плесы. Судно плывет там, где проходит фарватер. Это общеизвестно.

Но беда в том, уважаемые ученые, что крупные специалисты, я не раз сталкивался с этим, знающие свое дело до тонкости, склонны упускать из виду основы, детские истины, слишком простые, слишком примитивные для знатока.

И в результате я слышу в этом зале детский спор (голоз Дятла уже гремел) о том, что важнее — огонь или вода, ум или сердце, техника или жизнь? Да обе важнее. Техника без живого сердца бесчеловечна, жестока и смертельно опасна. Сапиенс без

техники беспомощен, голоден и зол, как показала история Астреллы.

Или Галактическое Ядро, или воспитание благородства?—так ставите вопрос вы оба. Или—или! Это было бы очень просто. Тогда проголосовали бы и разошлись. Но жизнь не терпит абсолютов—ноль процентов или сто процентов. И пополам—не всегда идеальное решение. Оптимальную пропорцию надо найти—для этого мы заседаем тут.

Почему я возражал обоим? Потому что вы оба забыли про фарватер. Вы твердили: каждый держись у моего берега, и все будет в порядке. А я вижу мели и у вашего берега, физического, и у вашего, лирического. Вижу мели, и не чувствую желания учитывать их. Вижу, что река петляет, но слышу одно: «Держи прямо!» «Или—или?»—настаиваете вы. Не «Или—или», а «Все для всех»—принцип Звездного Шара. Неужели же все всем на все времена вы обеспечите простой подсказкой: держись южного берега или держись северного!

За что я стою?—спрашиваете вы.—Я стою за то, чтобы не стоять на месте. За то, чтобы плыть вперед. Куда? Об этом мы и спорим. Я за то, чтобы спорить дальше: сегодня, завтра и вечно. К счастью, весь фарватер не предскажешь на тысячу лет вперед. Река петляет, за каждым поворотом ждут неожиданности.

И это хорошо, что ждут неожиданности. Так интереснее жить.

Глава IX. ЗЕНИТ — ЗЕМЛЯ

Как, уже?

Совсем не собирался я отбывать, иные были планы. Я захлебнулся в потоке информации, везде хотел присутствовать, узнать, поглядеть. В Галайдро хотелось слетать хотя бы разок и в атомное ядро спуститься самолично. И на психополигон, и на темпополигон. Как успеть? Не разорвешься.

Впрочем, для сапиенсов и это не фантастика. Разорваться, правда, нельзя, но можно удвоиться, утроиться, учетвериться. Вчетвером мы (четверо «я») увидим вчетверо больше.

— А к жене вы тоже вернетесь вчетвером?—спросил Граве.

Я замялся. Не продумал такого затруднения. Не страшно, если в Звездном Шаре будет четыре одинаковых корреспондента, все с длинным носом и покатым лбом. Но неуютно получится на Земле. У всех одинаковые воспоминания, все четверо будут считать себя авторами моих книг, мужьями моей жены, отцами сына, претензии на мою квартиру предъявлять.

— Мы бросим жребий, кому возвращаться,— сказал я бодро.— Один вернется с отчетом, прочие останутся здесь, материалы будут накапливать.

И полночи после этого я разрабатывал планы четырех жизней. Учтвериться надо немедленно, и тут же разъехаться. Как распределить функции? По секторам Звездного Шара или по наукам: одному физические, другому биологические науки, третьему социальные, последнему — техника. Года через три все собираются, складывают информацию и тогда один (по жребию?) отправляется на Землю. Потом лет через пять следующий.

Половину ночи писал планы. А поутру, только глаза разлепил, опять вижу Граве.

— Вставай, Человек, скорее. С тобой хочет говорить председатель Диспута.

— То есть, Дятел? Где он? Куда надо лететь?

— Никуда. Тут — он на астровокзале.

Вот преимущество привокзального жилья. Все тут пересаживаются. Идеальная позиция для корреспондента.

Пока Граве вел меня по никелированным коридорам, я лихо-радожно собирал мысли. Такой редкий случай, а вопросник не заготовлен. Ладно, положусь на вдохновение.

Перед дверью нацепил анапод. Интервью надо вести на равных, как с человеком. Не отвлекаться на рассматривание. Потом, уходя, сдвину анапод, погляжу, каков он на самом деле, этот звездный Дятел.

И чуть не брякнул входя: «Здравствуйте, Артемий Семенович».

Очень похож был (в анапode). Как вылитый, мой учитель. Потом уж боковым зрением я заметил толстостенный бак с манометрами. Из глубинных существ был тот Дятел. Жил в газе под высоким давлением.

— Как вам понравилось у нас?— спросил он.

Я ответил в том смысле, что мои сложные впечатления не укладываются в линейную схему «нравится — не нравится».

— Я не тороплюсь. Рассказывайте подробнее.

Так получилось, что он меня интервьюировал, не я его.

— Ну и каков вывод?— спросил он под конец.— Хотели бы вы жить в нашем сообществе? Не вы лично, а ваша планета?

И склонив голову, посмотрел на меня хитровато. Я понял, что задан главный вопрос.

— Я не уполномочен отвечать за всю планету,— сказал я.— Я корреспондент, а не посол. Мое дело посмотреть и описать. А читатели пусть решают.

— И когда вы склонны отбыть к читателям?

Я сказал, что считаю себя студентом-первокурсником. И изложил программу учета.

— Едва ли это целесообразно, — сказал Дятел. — В Шаре миллион жилых планет. Ни четыре человека, ни четыре тысячи не сумеют изучить их досконально даже за всю жизнь. К тому же у копий одинаковая эрудиция, неизбежен однобокий подход. Для всестороннего изучения нужны специалисты с разным образованием. Вас, литератора, мы пригласили для общего впечатления. И по-моему, оно уже сложилось.

Он помолчал и добавил жестко:

— Назначайте дату отбытия.

— Как, уже?

Я оторопел. Очень уж неожиданно получилось. Составлял программу, настроился на долгие годы разлуки. А впрочем, не вечно же жить в музее. Домой, так домой. И я уже представил себе как обомлеет жена, услышал восторженный вопль сына:

— Папа, что ты привез такого?

Что привезти? Вот это важно. Не упустить бы от волнения.

— Я готов хоть сейчас. Попрошу приготовить мне «Свод».

Я давно уже подумывал, чтобы захватить этот «Свод». «Свод Знаний Шара», нечто среднее между комплектом учебников и энциклопедией. Портативные микрокнижечки — сто один том удобным шрифтом. Там все систематизировано: факты, теории, открытия, формулы, конструкции. Так и было задумано у меня: после первых восторгов встречи, сяду я за свой стол с теплым плексигласом, водружу машинку и, заправив страничку, начну переводить строка за строкой.

Первую страницу первого тома я помню. Уже прицеливался. Она начинается словами:

«Том первый посвящен общему обзору мира. В нем описывается все существующее — достоверные факты.

Факты добыты чувствами, а также чувствительными приборами. Оценены разумом, а также рассуждающими машинами.

Выводы разума и машин излагаются словами, графиками, формулами и прочими системами знаков.

Следует учитывать, что чувства, разум, машины и системы знаков вносят неточности...»

И первая глава посвящена теории ошибок.

Впрочем, быть может, практичнее начать со второго тома — «Бескачественные количества». Проще сказать, это математика. Пожалуй, я пропущу первые разделы, излагающие арифметику, алгебру и разделы высшей математики, известные на Земле. Это представляет интерес для педагогов — система изложения у них

и у нас. Приступлю сразу ко второй части. Там уж каждая формула будет откровением. С утра перепечатаю страничку и сразу — в Академию Наук. Вслух прочтем, специалисты заспорят: как понимать, как истолковать. А я скажу:

— Помнится, когда я был в Звездном Шаре...

Блаженная перспектива!

Дятел переложил голову с правого плеча на левое, поглядел на меня одним глазом.

— Вы считаете это целесообразным?— спросил он.— У вас так принято? В школах дают решебник вместо задачника?

И Граве предал меня тут же:

— Вспомни, Человек, свои занятия по астродипломатии. Сам же ты осуждал себя на экзамене, говорил: «Я ошибся, дал этим огнеупорным слишком легкий хлеб, отучил их думать. В «Своде» решения всех земных задач на тысячу лет вперед. Ты не отучишь думать своих земляков?

— Нет, мы не дадим вам «Свода»,— резюмировал Дятел.

Вот тебе и блаженная перспектива!

— А ему так хотелось быть пророком в своем отечестве,— вставил ехидный Гилик.

— Тогда дайте хотя бы... (что бы попросить наглядного? Гилика что-ли прихватить, моего карманного эрудита, забыть нечаянно в кармане. Пусть заплатит за свое ехидство).

Но Дятел как бы услышал мои мысли. Может, и в самом деле услышал. Сапиенсы это умеют.

— Нет, мы не дадим вам карманного эрудита. Вообще никаких сувениров. Наденете свое земное платье...

— Но мне же не поверят!— почти кричу я.

— А зачем нужно, чтобы вам верили?

Опять вмешивается Граве:

— Еще раз вспомни, Человек, свой экзамен по астродипломатии. Ты сам говорил: «Этим огнеупорным рано вступать в звездное содружество. Они ленятся рассуждать, доверяются чужому разуму, ищут пророков и следуют за ними слепо». Мы действительно не хотим превращать тебя в пророка. Нам, звездожилителям, нужны товарищи, а не приверженцы. Мы нарочно приглашали в Шар не ученого, не политика, а литератора — глаза и язык, профессионального рассказчика. И нарочно выбирали фантаста, профессионального выдумщика, чтобы раз и навсегда снять вопрос: было или не было? Пусть читатели не верят, пусть даже не обсуждают — было ли? Нравится или не нравится?— вот что важно. Рвутся ли они в такое сообщество? Согласны ли наши заботы делить: не только достижения, но и заботы. Да, у нас знания, открытия,

омоложение, оживление. Но за все за это мы платим: носимся по планетам, переделываем обледеневшие утесы, ныряем в жгучее пламя, уламываем огнеупорных упрямцев, диспуты ведем вселенские. Хотите вы составить нам компанию? Или предпочитаете строить свою цивилизацию самостоятельно, обособленно? Мы не вмешиваемся, выбирайте сами. А ваше писательское дело рассказать все без утайки, даже о заблуждениях нашего прошлого — о тупиковом варианте Астреллы, даже о твоих собственных затруднениях в Огнеупории. Пусть жители Земли ознакомятся, пусть обсуждают, поспорят. Споры возбудить — вот твоя задача.

Вот и весь мой разговор со звездным Дятлом. Пришел расспрашивать, получил от ворот поворот. — «Наденете земную одежду, — сказал он, — мы ее сохранили. А все лишнее при перемещении устранился автоматически. Записки свои перечитайте, чтобы запомнить как следует».

— Может, и память сотрете? — спросил я обиженно.

— Теперь тебе надо готовиться в путь, — повторил и Граве в коридоре. — Запоминай хорошенько.

— А что запоминать? — взорвался я. — Меня звали сюда не запоминать, а вынести впечатление. Впечатление сложилось: черствый вы народ, господа звездожители. Пригласили в гости и сами же гоните. Ну и пожалуйста. Часу лишнего не пробуду. Отправляйте сейчас же!

— Сейчас же? Ты говоришь обдуманно?

— Вполне. Нечего мне делать у таких хозяев.

И тут оказалось, что они готовы к отправке. В моей комнате ждет меня костюм с голубой ниткой и драповое пальто, еще влажное от ленинградской сырости. Переодевшись, я демонстративно вывернул карманы. Просто так, душу отводил. Все равно, при перезаписи был бы исключен любой сувенир, даже если бы я проглотил его.

Знакомые, сто раз исхоженные коридоры ведут меня к межзвездному перрону. Направо, налево, еще раз налево и опять направо. Вот и платформа с рядами дверей, похожая на переговорную междугороднего телефона. Столько раз отправлялся отсюда на чужие планеты.

— Прощай, Человек, — говорит Граве. — Привык я к тебе, скучать буду. И волноваться. Ведь у вас каждая опасность опасна. Как ты уцелеешь там на Земле без страховочной записи? (Эх, не догадался я сказать: «Так храните запись здесь, в Звездном Шаре»).

— Будь последовательнее, Человек, — важно советует Гилик, протягивая металлическую лапку.

— Прощай,— повторяет Граве. (Слова говорит сочувственные, но я смотрю на него без анапода, не улавливаю подлинные чувства без мимики).— Прощай! А может, и встретимся. Ведь я пока что куратор Земли, могу снова получить командировку.

Сдвигаются двери кабины, и исчезают, уходят из моей жизни пятнистый скелет и полированный чертенок на его плече с эрудицией в хвостике.

Зажигается световое табло: «Набирайте шифр планеты назначения. Будьте внимательны, не ошибайтесь в цифрах!»

Набрал. Повторил... Вздохнул...

И нажал клавишу.

Как и обычно, в крошечной тьме тебя хватают за руки и за ноги, начинают выкручивать. Выворачивают суставы, шею выламывают. Терплю. Столько раз вытерпел, потерплю в последний раз. Вот уже назад крутит. Еще немножечко...

Ошеломленный, потерявший дыхание от боли, с вытаращенными глазами сижу... на мокром камне в пустынном осеннем парке. Сумерки. Ветер несет облака, разорванные на клочья, горстями сыплет брызги в лицо. Уныло гудят, качаясь, голые стволы осин. Почерневшие листья плавают в пруду. Затоптана в грязь мокрая мочала сгнившей травы. Земная осень.

Словно и не было приглашения в зенит.

Было ли?

Было ли?

С годами я и сам начинаю сомневаться. Вот я пишу и пишу, который уж год пишу отчет, переводя в слова воспоминания, и образы выцветают, превращаясь в строчки и странички. Блекнут картины, становятся неуверенными, недостоверными. Об одном и том же нельзя рассказывать всякий раз по-новому. Рассказано, сформулировано, и экономная память держит только слова, буквы, одноцветные, мною написанные, неубедительные.

Да я и не стараюсь доказывать, что все здесь истинная правда до последнего слова.

А если все-таки было?

Тогда, по-видимому, возможно продолжение. Однажды в чьей-либо квартире зазвонит телефон — в наш век неожиданное часто входит в жизнь с телефонным звонком. Вы снимете трубку...

Трр!

Звонят!

К о н е ц

В. Фирсов

АНГЕЛЫ НЕБА

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Мало кто знает, что осенью позапрошлого года в одной из зарубежных газет было описано невероятное происшествие, имевшее самое непосредственное отношение к изложенной здесь истории. Случай этот показался всем настолько неправдоподобным, что ни одна падкая до сенсаций европейская газета не решилась перепечатать заметку, несмотря на то, что составленный капитаном «Анны-Марии» акт был подписан пятью членами экипажа и двадцатью пассажирами, в том числе преподобным О'Конноли.

Дело было так. Ранним утром седьмого сентября «Анна-Мария» приближалась к Синопу. Почти все пассажиры гуляли по палубе, любуясь восходом солнца, который в это утро был особенно красив. До берега оставалось несколько миль. В это время раздался голос матроса: «Справа по носу предмет!» Посмотрев в указанном направлении, находившиеся на палубе увидели розовую точку, которая двигалась по воздуху навстречу судну невысоко над водой. Когда она приблизилась, все увидели, что это была свинья.

Свидетели этого необыкновенного случая рассказывали потом, что они были настолько поражены, что буквально замерли, разинув рты. Только преподобный О'Конноли нашел в себе силы перекреститься, отчего видение, однако, не исчезло.

Свинья скользила по воздуху лежа на боку и помахивая хвостом. Вскоре она приблизилась, и все услышали ее довольное похрюкивание. В полной тишине свинья проплыла на высоте около трех метров над головами людей, ударилась о мачту и с визгом свалилась на палубу...

Несколько минут смятения, последовавшие за таким экстравагантным появлением на борту парохода нового пассажира, чем-то напоминали эпизод из старого комедийного фильма, персонажи которого двигаются на современных киноэкранах с удвоенной скоростью. Тем не менее преподобный О'Конноли проникся твердым убеждением, что встреча с летающей свиньей — результат прямого вмешательства нечистой силы.

Происшествие зафиксировали в судовом журнале. По прибытии в порт свинью официально передали властям, однако, выслушав рассказ о ее появлении, офицер таможенной службы немедленно позвонил ближайшему психиатру. Заметка об этом происшествии, появившаяся несколько дней спустя, называлась: «Интересный случай коллективной галлюцинации». Все попытки капитана доказать, что свинья существует реально, успехом не увенчались, тем более, что злополучное животное куда-то бесследно исчезло из сарая таможни. Несчастный капитан был уволен со службы, и дальше следы его потерялись.

Примерно в это же время в полицию поступило заявление от немца-колониста Курта Майнке, который жаловался на пропажу двух свиней. Приметы одной из них близко совпадали с приметами виновницы описанного выше происшествия. Однако заявление было оставлено без внимания.

Как непосредственный участник и даже в какой-то мере виновник этого случая, я хочу рассказать о том, как в действительности было дело, и кстати восстановить репутацию преподобного О'Конноли, заподозренного в лжесвидетельстве и имевшего из-за этого крупные неприятности по службе.

РЫЖАЯ МАШКА

Я приехал в Коктебель рано утром. Такси затормозило возле автобусной станции, и тотчас же машину со всех сторон облепили загорелые люди.

— Вы свободны?— спрашивали нас одновременно во все четыре окна. Я расплатился с шофером и вышел. После веселой перебранки в освободившуюся машину влезли трое рослых парней с модными сумками, из которых торчали ласты и дыхательные трубки, и симпатичная девушка, прижимавшая к груди авоську с ярко-желтыми дынями. Я подмигнул девушке, она улыбнулась и помахала мне рукой. Такси сделало лихой разворот и умчалось в сторону Феодосии, волоча за собой столб пыли. Я поднял чемодан и побрел по улице.

В Коктебель меня привели рассказы друзей об изумительной цветной гальке Пуццолановой бухты, живописных стенах Карадага, неповторимых Золотых Воротах. Я столько раз слушал главу о Карадаге из повести Паустовского «Черное море», что мог цитировать ее наизусть. Я познакомился с несколькими увесистыми коллекциями сердоликов и продырявленных морем камней, назы-

ваемых в просторечии «куриный бог»... Короче говоря, очередной отпуск я решил провести именно здесь.

Озираясь по сторонам, я тащился по узкой улице, усыпанной битым камнем. Надо было найти пристанище. Шофер такси уже рассказал мне, что в пансионат обращаться бесполезно — туда пускают только автолюбителей, да и тем приходится ждать места по неделе. «Поищите у хозяек, — посоветовал он. — Обязательно что-нибудь найдется».

Но найти пока что не удавалось. Куда бы я ни обращался, все было уже занято. Правда, в одном доме через три дня должна была освободиться комната, и хозяйка предложила пожить пока в чулане. Чулан меня не привлек, и я отправился дальше.

Еще через час, измученный беспощадным солнцем и напрасными поисками, я присел на чемодан посреди улицы и вытащил платок, чтобы вытереть взмокший лоб. В это время над моей головой раздалось хриплое мяуканье, и что-то свалилось мне на голову.

Это была тощая рыжая кошка. Она сбила с меня шляпу, разодрала когтями щеку, шлепнулась в пыль у моих ног и тотчас же с воплем умчалась.

Я поднял голову. К моему удивлению, надо мной не оказалось ничего, откуда могла свалиться рыжая бестия — ни веток дерева, ни шеста, ни даже проводов. Я повертел головой, стараясь увидеть остряка-самоучку, швырнувшего в меня кошку. Однако за низкими заборчиками никого не было видно.

Именно в это время меня окликнул Гошка.

Я не видел его уже лет пять — с того момента, как мы получили дипломы. Два-три письма, которыми мы обменялись вначале, позволили мне понять, что он дорвался наконец-таки до своей любимой волновой энергии и намерен работать над диссертацией. Но потом он куда-то переехал и перестал писать, очевидно, потеряв по рассеянности мой адрес.

И вот он собственной персоной машет мне из окошка неказистого двухэтажного домика, стоявшего на откосе метрах в тридцати от меня.

После первых объятий и дружеских тумачков Гошка втащил меня в комнату и усадил на стул.

— Рассказывай, — сказал он и стал рыться в ящиках комода.

— О чем?

— О чем хочешь. О жизни, работе, обо всем. Куда же она дела йод? — И он пояснил: — Ты говори, а я пока окажу тебе первую помощь. Ишь, как Машка тебя разукрасила!

— Так это ты швыряешься кошками?— я подозрительно покопился в окно. Кинуть кошку без катапульты на такое расстояние было явно невозможно.— Тренируешься к Олимпийским играм?

— Об этом потом. А сейчас терпи — немного пощиплет. Кстати, ты не видел, куда сбежала Машка? Влетит мне от Марии Ивановны!

И он начал мазать мне щеку валерьянкой.

Я не удивился этому, потому что очень хорошо знал Гошку.

ГОШКА

Своей необычной рассеянностью Гошка прославился еще в институте. Он путал все, что только можно было напутать, и постоянно забывал свои вещи в самых неожиданных местах. Злые языки утверждали, что он ходит в рубашке наизнанку не меньше трех дней в неделю, а одновременно оба носка не носил ни разу в жизни. В столовой он мог уйти, забыв расплатиться или, наоборот, не взяв сдачу с десяти. Впрочем, последнее с ним случалось не часто, потому что червонец — редкий гость в кармане у студента. В общежитии мы всегда сидели без радио, потому что он включал репродукторы в электрическую сеть. Несколько раз он забывал выключить электрический уют, и если наше общежитие все-таки не сгорело, это надо объяснить только чрезвычайным везением да сверхбдительностью коменданта.

Как это ни странно, Гошка никогда не терял своих записей, а все зачеты и экзамены сдавал только на пятерки. Особенно знаменитым он стал после следующего эпизода. Однажды, еще на первом курсе, наши шутники подсунули ему перед самыми экзаменами учебник сопромата, и Гошка два дня старательно учил его. К всеобщему удивлению, обнаружив свой промах, он не стал браниться, а взял у декана направление и досрочно сдал сопромат на пятерку.

На втором курсе он увлекся симпатичной брюнеткой по имени Лиля. Однако бурный роман вскоре неожиданно прервался. По нашему совету Гошка решил подарить Лиле в день рождения входившие тогда в моду чулки без шва. В магазине он задумался и на вопрос продавщицы, какой размер ему нужен, безмятежно ответил: сорок третий. Развернув подарок, ревнивая Лиля возманила бог знает что и навсегда порвала со своим поклонником.

Несмотря на рассеянность Григория, его конспекты всегда были в идеальном порядке, и ими пользовался весь курс. Его так

и звали по документам — Григорий Петрович Аверин. Гошкой кто-то прозвал его в детстве, и это имя очень подходило ему. Григорием же его величали только в особо торжественных случаях. В Коктебеле он жил с весны, занимая две пустовавшие верхние комнаты у своей тетки, которая даже на лето не желала пускать чужих. Впрочем, родственные отношения не мешали ей взимать с него плату, правда, не чрезмерную.

— Решено — ты остаешься у меня, — заявил Гошка, когда поиски Йода, наконец, увенчались успехом. — Места хватит, да и твоя помощь пригодится. Тетку я уломаю.

Я вытащил из чемодана плавки и потребовал вести меня к морю. Но даже на пляже происшествие с рыжей Машкой не выходило у меня из головы.

— Чем же ты здесь занимаешься? — спросил я, когда мы после купанья нелегально пристроились в уголке семейного пляжа Дома литераторов.

— У меня отпуск по болезни. На год. Врачи прописали мне солнце и море. Но ты не поверишь — я, наконец, добился успеха. Ты помнишь мою дипломную работу? Направленное силовое поле, взаимодействующее...

— Ты мне обещал рассказать про кошку, — перебил я. Было жарко, и вести ученые разговоры не хотелось.

— Вот-вот, об этом и речь. — Гошка сел и стал чертить пальцем на песке какие-то спирали. — Ты никогда не задумывался над тем, что левитация — не выдумка?

— Что ты хочешь сказать? — не понял я. — Ты учишь кошек летать?

— Вот именно, — отпарировал он.

Южное солнце светило беспощадно. То ли от жары, то ли от усталости самые необыкновенные вещи воспринимались как само собой разумеющиеся. Если бы Гошка сейчас пошел по морю, как Иисус Христос по водам, я ничуть не удивился бы.

— И каков же твой метод? — лениво поинтересовался я. — Раскручиваешь за хвост, а потом отпускаешь?

— Ты напрасно смеешься. Если бы у нас не скакало напряжение в сети, Машка улетела бы на Карадаг, а ты до сих пор бегал в поисках комнаты.

— Ничего не понимаю, — сознался я. — Может быть, ты объяснишь мне все?

— Идем в лабораторию. Я покажу тебе аппарат. — Гошка вскочил и стал надевать мои брюки, прыгая на одной ноге. — И постараюсь поймать по дороге кошку. Только не очень большую.

Я отобрал у него брюки, размышляя о причинах его пристрастия к тощим кошкам, и мы с независимым видом вышли с пляжа мимо сонной дежурной, окинувшей нас подозрительным взглядом.

ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторией Гошка называл маленькую комнатку на втором этаже с великолепным видом на море и горы. На самодельном столе у окна возвышалось странное сооружение — что-то среднее между высокочастотным генератором и гиперболоидом инженера Гарина. В сторону окна наподобие орудийного дула смотрела труба из тонкой металлической сетки, диаметром сантиметров двадцать. Поверх трубы вилась блестящая спираль. С потолка свисали разноцветные провода.

Гошка подошел к аппарату, немного повернул его, целясь куда-то проволочным дулом, затем включил рубильник.

Я с интересом глядел на эти манипуляции, поглаживая котенка, которого мы выманили из соседнего двора. Гошка проверил что-то в аппарате, повернул реостат и открыл сверху крышку.

— Давай котенка, — сказал он и сунул ничего не подозревающее существо внутрь. Тот замыкал, но Гошка ловко захлопнул крышку.

— Теперь смотри! — и он нажал на кнопку.

И я увидел, как из дула аппарата выскользнул котенок и довольно быстро поплыл по воздуху, нелепо размахивая лапами. Через минуту я потерял его из вида.

Я был поражен.

— Но это же чудо! — закричал я. — Требую объяснений!

— Сразу ты не поймешь, — ответил Гошка. — Это слишком специальная область, но я объясню тебе главное. Луч аппарата, взаимодействуя с гравитационным полем Земли, как бы свертывает его в трубку, образуя своеобразный невидимый туннель, в котором тяготение не действует. Я сидел над расчетами несколько лет, прежде чем убедился в этом.

— Но почему котенок улетел? Что его двигало вперед?

— Вот этого-то я и сам пока не знаю. Первые опыты я делал с разными предметами — деревянными брусками, бутылками, куриными яйцами — тетка заставляет каждый день съедать полдюжины, а я их терпеть не могу. Если луч горизонтален, все предметы быстро останавливались из-за сопротивления воздуха. По наклонному лучу они скользили вниз довольно легко. Но однажды я засунул в аппарат Машку. К моему удивлению, она улетела так

далеко, что я потерял ее из виду. Она вернулась лишь на второй день, а тетка устроила мне грандиозный скандал. Я делал опыты с лягушками, мышами, купил даже крольчонка — все они улетают. Очевидно, при опытах с живыми существами возникает какой-то неизвестный эффект. Совсем как у белаяевского Ариэля. Он, если ты помнишь, двигался усилием воли. Сейчас кое-что уже проясняется. Будь у меня под рукой вычислительная машина, я закончил бы расчеты за пару месяцев.

— Значит, человек тоже может полететь? — с замиранием сердца спросил я. — Можнѣ попробовать?

— Ну что ты, — усмехнулся Гошка. — Больше двух килограммов аппарат не осилит. И то пробки все время перегорают. Знаешь, какая здесь проводка! А чтобы отправить человека, понадобится киловатт сто, не меньше, — я прикидывал.

Увлеченные разговором, мы не заметили, что дверь комнаты отворилась.

— Григорий! — раздался за нашими спинами ледяной голос хозяйки. — По-моему, ты не раз уже обещал мне не мучить бедное животное... — Тут она заметила меня и замолчала.

— Это Аркадий Савельев, мой друг детства, — торопливо представил меня Гошка, явно обрадовавшись возможности избежать обсуждения Машкиной судьбы. — Он ненадолго остановится у нас.

— Зубкова, — процедила она, оглядев меня с головы до ног рыбьими глазами. На вид ей было лет пятьдесят. — Обедать будете?

Я благодарно шаркнул ножкой, стремясь умиловить суровую владелицу дома. Бегать по жаре в поисках пристанища мне очень не хотелось, особенно после знакомства с чудесным аппаратом.

— Ты не думай, что она такая, — зашептал Гошка, едва хозяйка вышла. — Она добрейший человек, только очень одинокий. У нее, кроме Машки, никого нет. Уверен, что ты подружишься с ней. Она влюблена в здешние места. Я покажу тебе ее альбом — там стихи Волошина, написанные им собственноручно...

— Вы скоро? — раздался снизу скрипучий голос.

— Пошли! — сказал Гошка. — А то еще оставит без обеда. Ты не видел, куда делся этот чертов ключ?

— Зачем ты запираешь комнату? — спросил я, выуживая ключ из ящика с радиодетальями, куда ненароком засунул его Гошка.

— Тетка требует, — ответил Григорий. — Она как-то принялась без меня стирать здесь пыль и провела мокрой тряпкой по клеммам силового трансформатора. Я как раз забыл его выключить.

Правда, там было всего вольт шестьсот...— Он запер замок и принялся заталкивать ключ в щель под дверь. Я отобрал у него ключ и положил его в карман. Снизу вкусно пахло жареным.

ОПЫТЫ

Григорий оказался прав. С теткой я подружился быстро. Несмотря на рыбы глаза и чопорный вид, в душе она была неплохая женщина. Чего я никак не мог в ней понять — это ее беззаветной любви к животным. Она ненавидела медиков за их «издевательства над беспомощными созданиями», а охотников и рыбаков за кровожадность. Впрочем, это не мешало ей исправно покупать на обед и дичь, и рыбу, а при малейшем недомогании обращаться к врачу. Но страсть ее к животным доходила до безрассудства. Будь ее воля, Лайка и Белка со Стрелкой никогда не поднялись бы в космос и остались никому неизвестными собаками. Рыжая драная Машка была у нее чем-то вроде домашнего божка. К счастью, любовь к ней носила моногамный характер, и дом не превратился в филиал уголка Дурова. Григория присутствие Машки вполне устраивало, потому что избавляло его от необходимости охотиться за чужими кошками, которые были все подряд злы и недоверчивы. Поэтому он без зазрения совести при каждом удобном случае запихивал Машку в аппарат, считая, что высокие научные цели оправдывают нарушение данного им слова считать Машку «персоной грата». Тетка о его проделках догадывалась, но уличить не могла, так как при ней он избегал экспериментировать.

— Никак не пойму, чем он там занимается,— жаловалась она мне несколько дней спустя, накладывая полную тарелку жареной рыбы.— Иной раз ночь не спит, все работает. Если не накормишь, так и останется сутки голодным.

— Он, Мария Ивановна, радиопередатчик делает,— выручал я друга.

— А зачем же кошек туда таскать?— не унималась тетка.— Я все-таки не слепая.

— Вы знаете, что такое борьба с помехами?— с самым серьезным видом заявлял Гошка.— Избавиться от помех — значит добиться устойчивой связи не только по всей планете, но и с межпланетными кораблями.— Он лез под стол и вытаскивал рыжую Машку.— Еще со времен Маркони известно, что кошки — лучший генератор помех. Если кошку гладить, из ее шерсти вылетают электрические искры. Вот этим мы и занимаемся — Аркадий гладит кошку, а я тем временем отлаживаю аппаратуру,— врал он напропалую.

— Совсем меня за дуру считаете,— обижалась тетка.— Если у вас что секретное, так и скажите, чем голову мне морочить.

Мы уверяли ее, что ничего секретного не делаем, потому что какая может быть секретность без охраны, пропусков и колючей проволоки. Кажется, это ее убеждало. Мы знали, что стоит лишь намекнуть, что здесь строится что-то важное, как об этом завтра знал бы весь поселок.

Дело шло успешно. Мой приезд оказался очень кстати. Григорий только что начал сборку нового, более мощного аппарата, и мне пришлось менять в доме обветшалую электропроводку. Одновременно мы продолжали опыты на первом аппарате. Больше дюжины кошек совершили воздушное путешествие на Карадаг. Мы производили запуски в разное время суток, под разными углами к горизонту. Каждую кошку мы тайком взвешивали на хозяйкиных кухонных весах, чтобы измерить зависимость между весом полезного груза и расходом энергии. Еще пять полетов втайне проделала Машка. Затем мы взяли такси и отвезли ее в Феодосию к ветеринару, придумав ей какую-то нервную болезнь. Ветеринар долго возился с ней и сказал, что кошка вполне здорова, если не считать многочисленных царапин. Наш гуманизм настолько потряс Марию Ивановну, что она чуть было не отказалась брать с меня плату за питание, однако в последний момент передумала.

Вскоре нами были сделаны два открытия. Однажды мы привязали котенку к хвосту пустую жестянку. К нашему удивлению, неодушевленный предмет в паре с одушевленным прекрасно летал по лучевому туннелю под любыми углами к горизонту. Нашему восторгу не было предела. Значит, транспортировка грузов по лучу все-таки возможна! Второе открытие было не менее важным. По всегдашней рассеянности Гошка перепутал полярность выводов антенного контура, и очередной котенок никак не хотел вылетать из аппарата. Я вытолкнул его из дула палкой, но он тотчас скользнул обратно. Оказалось, что по лучу можно двигаться не только из аппарата, но и к нему, надо только переключить концы антенны. Мы сразу изготовили переключатель. Однако первый опыт не удался, так как наш подопытный сразу же вывалился из лучевого туннеля, едва Гошка щелкнул тумблером. Пришлось сделать быстроедействующий электронный переключатель, и теперь кошки благополучно путешествовали по воздуху туда и обратно.

Как это ни странно, чудовищная рассеянность Гошки почти не мешала работе. Его расчеты были всегда точны, схемы безупречны, и только при монтаже он время от времени что-нибудь путал. Несмотря на это, собранная им аппаратура неплохо работала. После двух недель работы с Гошкой я понял, почему великие

люди бывают рассеянными: они все свои помыслы концентрируют на одной главной задаче, не оставляя ничего для посторонних дел. Так опытный спринтер выкладывает на дистанции все силы без остатка и падает за финишной чертой в изнеможении, к удивлению соперника, чувствующего себя довольно бодро, хотя отстал на какие-то сантиметры. И эта непрестанная круглосуточная сосредоточенность приводит в конце концов к успеху.

Быть может, я излишне подробно останавливаюсь здесь на рассеянности моего друга. Но я делаю так потому, что обещал восстановить репутацию преподобного О'Конноли, пострадавшую в конце концов только из-за того, что Григорий Аверин по рассеянности нажал не на ту кнопку.

ВОСЬМОЕ СЕНТЯБРЯ

Дней через двадцать большой аппарат был готов. Мы провозились с ним до самого рассвета. Наконец, изловленный нами еще вечером чей-то ленивый толстый кот улетел на Карадаг. И тогда я взбунтовался.

— Хватит! Я торчу в Коктебеле чуть не месяц, а дальше пляжа никуда не ходил. Надо мной будет смеяться весь институт. Сегодня же идем в Сердоликовую бухту. Ребята уже собираются...

— Но я не могу,— слабо сопротивлялся Гошка.— Я потерял где-то плавки...

— Знаю. Возьмешь мои запасные. А сейчас пошли. Выключай аппарат.

Я подошел к столу и демонстративно отвернул дуло аппарата в сторону открытого моря. В тот миг я совершенно не подозревал о преподобном О'Конноли, который в этот момент поднимался на палубу «Анны-Марии», чтобы полюбоваться рассветом.

Со вздохом обиды Гошка нажал на кнопку и вышел вслед за мной. Мы заперли дверь, не заметив, что аппарат остался включенным, потому что рассеянный изобретатель вместо того, чтобы обесточить установку, переключил концы антенного контура. Но я догадался об этом уже после пожара, когда стоял в окружении пограничников среди обгорелых стен.

Про Сердоликовую бухту я упомянул не случайно. Вскоре после приезда я снова увидел ту девушку, которая укатила в обнимку с дынями в моем такси. «Какая фемина»,— невежливо буркнул начитанный Гошка, когда через пару дней я познакомил его с Таней. Насколько я мог заметить, он тут же забыл о ее существовании.

Идею похода предложила именно Таня. Понятно, что отказаться я не мог.

Сонные и небритые явились мы на место сбора — как раз вовремя, чтобы успеть полюбоваться восходом. Вся компания была уже на месте. Солнце и море быстро смыли с нас усталость. Но, конечно, даже самое несложное путешествие, в котором принимал участие Гошка, добром кончится не могло. На обратном пути он о чем-то задумался на узком карнизе, и его тотчас же сшибла волна. Мы сразу выудили его. Он был исцарапан, совсем как Машка после десяти полетов на Карадаг. Хуже было с ногой. Она распухла в колене, и идти он не мог. К счастью, самое трудное было уже позади. Мы несли его по очереди, а он смеялся и повторял «битый небитого везет», хотя был бледен как мел.

Когда не везет, так уж во всем. В больнице Гошкины ссадины густо смазали йодом, однако сказали, что рентген не работает, и больного надо везти в Феодосию, только неизвестно на чем, потому что дежурная машина не то сломалась, не то куда-то уехала. На наше счастье подвернулся какой-то частник на «Волге», ехавший на Золотой пляж. Он мигом домчал нас в город, и мы сдали Гошку в больницу. Но на следующее утро его выписали, потому что кость оказалась цела, а с растяжением в больницу не кладут. Мы с Таней быстро организовали такси и с помпой привезли страдальца домой.

Было восьмое сентября. Прошло больше суток с момента странного происшествия с «Анной-Марией», о котором мы тогда еще не подозревали. К вечеру погода испортилась. Подул сильный ветер, набежали тучи, затем заморосил дождь — довольно редкий гость в этих местах. Мы сидели за столом в комнате Марии Ивановны, пили чай и обсуждали Гошкино невезение, не подозревая, что главные неприятности еще впереди.

В Феодосии, когда я ездил за Гошкой, мне подвернулась бутылка хорошего вина, и сейчас мы отдали ей должное. Мария Ивановна оказалась тонким знатоком вин — талант, довольно редкий у женщин, — и сейчас, согретая чаем и ароматным напитком, оттаяла окончательно.

— По-моему, только человек, совершенно равнодушный к красоте жизни, может не любить наши места, — говорила она, и я с удивлением заметил, что ее блеклые глаза засветились подлинным чувством. — Здешняя природа могуча и величественна. Она — как свет радости, проникающий в самую душу. Бесконечность моря и гордая суровость гор — это удивительное слияние двух противоположных начал, слияние неповторимое и поэтому особенно волнующее...

Она задумалась и несколько мгновений молчала, уйдя мыслями далеко-далеко.

— И люди здесь бывали такие же неповторимые,— почти шептала она, и мы опустили глаза, словно увидев ненароком что-то, не предназначенное для посторонних взглядов.— Большие люди...

Голос ее дрогнул.

— Вот вы, молодые физики, изобретатели, вы живете ясно. Для вас все в жизни просто. Но ведь это не так!— сказала она с болью, и мы с удивлением взглянули на нее. На мгновение нам показалось, что перед нами сидит какая-то незнакомая женщина. Я видел, что Гошка тоже поражен неожиданным превращением. Возможно она выпила немного больше, чем следует. Глаза ее горели. Не глядя на нас, она стала читать стихи.

— Ввысь, в червленый
Солнца диск —
Миллионы
Алых брызг!
Гребней взвивы,
Струй отливы,
Коней гривы,
Пены взвизг!

Ее голос звучал с мрачной торжественностью, настолько диссонировавшей с брызжащей радостью стиха, что у меня мороз пробежал по коже.

Я открыл было рот, желая что-то спросить, но Гошка вовремя наступил мне на ногу. Мария Ивановна, подняв лицо, смотрела куда-то поверх моей головы. Я обернулся и увидел мужской портрет, на который прежде не обращал внимания.

Я задумчиво вертел в пальцах рюмку и рассматривал лицо неизвестного мужчины, давно ушедшего из жизни, но оставившего в ней яркий луч, неожиданно озаривший и нас.

И именно в это время...

Все произошло почти одновременно. Наверху раздался звон вылетевшего стекла, грохот падающих предметов и дикий, леденящий душу визг. Одновременно погас свет, и нас окружила темнота.

Ошеломленные, мы вскочили. Что-то грохотало и трещало над нами. Мария Ивановна закричала. Я бросился по лестнице наверх. Ужасный, пронзительный вопль рвался мне навстречу из-за двери лаборатории.

Не помня себя, я рванул дверь так, что замок отлетел. В ту же секунду что-то ударило меня по ногам. Я покатился по темной лестнице рядом с чем-то огромным, живым, и это живое вопило,

вопило, вопило! Страх придал мне силы, и я попытался схватить неизвестное существо, но оно метнулось через комнату и исчезло в распахнувшейся от сквозняка двери.

Мария Ивановна лежала в обмороке. Гошка прыгал ко мне на одной ноге со свечкой в руке.

— Что это?— пролепетал я.

— По-моему, свинья,— ответил он растерянно.— Скорее наверх!

В лаборатории пахло горячей резиной. Разбитый аппарат валялся на полу среди осколков оконных стекол. Но это было не самое страшное. Хуже было другое. Замкнулись какие-то провода, и веселые огоньки бежали по обоям и занавескам, окутывая комнату едким дымом.

Героическими усилиями нам удалось сбить огонь.

АНГЕЛЫ НЕБА

Мы с женой приехали в аэропорт минут за тридцать до времени, указанного в приглашении. В холле второго этажа, возле стеклянной стены, сквозь которую виднелось летное поле, две телекамеры нацелились на небольшую группу сотрудников Института волновой энергии, окруженную толпой корреспондентов. Отвлеченный сверканием фотовспышек, я не сразу заметил, что на вопросы журналистов отвечал мой научный руководитель — доктор технических наук Григорий Петрович Аверин.

— Конечно, я понимаю, что только в самых общих чертах смог объяснить вам принцип действия аппарата,— говорил он.— Поэтому разрешите показать вам аппарат в работе. Установка, которую вы увидите, уже подготовлена к серийному выпуску. Можно смело утверждать, что мы стоим на пороге очередной технической революции — на этот раз в транспорте...

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся и увидел Марию Ивановну.

— Здравствуйте, Аркадий,— сказала она протягивая нам руки.— Здравствуйте, Танечка. А я только с самолета. Вас уже можно поздравить?

Она обняла мою жену, и они трижды поцеловались.

— Мы расписались неделю назад,— сказала Таня.— Вы приехали как раз к свадьбе.

— Мы отложили ее до испытания,— пояснил я.— Вы же знаете своего племянника,— он бы попросту позабыл приехать на свадьбу.

— Летом жду вас к себе,— сказала Мария Ивановна.— Дом

я давно отремонтировала, так что в любое время верхние комнаты ваши. Можете поджигать снова.

Мы рассмеялись. Тогда, во время пожара, пограничники решили сперва, что мы сами подожгли дом, замечая следы. Их приборы засекли злополучную свинью еще над морем и проследили ее путь до самого конца. Нам стоило большого труда убедить начальника заставы, что таинственным образом прилетевший к нам «неизвестный предмет» — всего-навсего непонятно откуда взявшаяся свинья, случайно попавшая в луч аппарата, который Гошка по рассеянности не выключил. Но нас поразило другое. Карта ясно показывала, что свинья прилетела к нам со стороны открытого моря. До этого мы совершенно не подозревали, что луч может искривляться в гравитационном поле планеты. В каждом из нас со школьной скамьи было заложено представление, что луч — это луч, и кривым он быть не может. Поэтому мысль о том, что свинья прилетела с той стороны моря, показалась нам настолько нелепой, что мы стали бурно настаивать на недостоверности карты, и этим поначалу только усугубили свое и без того двусмысленное положение.

К чести пограничников, они разобрались во всем гораздо раньше, чем мы сами. Они же вскоре показали нам заметку, о которой я упоминал в начале этого рассказа.

Увлеченные разговором, мы не заметили, что все приглашенные уже перешли на смотровой балкон, а около нас остановилась группа иностранных туристов, окружившая работника аэропорта.

— Уважаемые дамы и господа! — сказал он по-английски. — Мы приносим вам самые глубокие извинения за незначительную задержку вашего рейса. Но разрешите надеяться, что зрелище, которое вы сейчас увидите, полностью вознаградит вас за потерю времени.

Я подал Марии Ивановне руку, и мы вышли на балкон. За нами шумной толпой хлынули интуристы, торопливо вынимая кинокамеры. Я протиснулся ближе к Григорию.

— Смотри! — сказал он, показывая вниз.

В двухстах метрах от нас на поле стояло сооружение, в котором я с трудом угадал знакомые контуры. К нему подъезжала открытая автомашина. На экране стоявшего рядом телевизора было видно, как из автомобиля вышел человек в космическом скафандре и вошел внутрь аппарата.

— До старта остались считанные секунды, — говорил невидимый диктор. — Сейчас все мы увидим величественное, небывалое зрелище — проникновение человека в космическое пространство

без помощи ракеты, межпланетного корабля или любого другого транспорта... Через тридцать минут здесь, над нашими головами, на высоте ста пятидесяти километров произойдет встреча орбитальной космической станции и свободно летящего космонавта...

На несколько секунд стало совершенно тихо. Купол аппарата повернулся, нацеливаясь дулом в зенит.

— Летит!— вдруг вскрикнул кто-то. И мы увидели, как из аппарата выскользнула серебристая фигурка в скафандре и легко понеслась ввышину.

Вдох восхищения пронесся над замершей толпой. Забыв про свои кинокамеры, все смотрели в голубую бездонную пропасть неба, куда стремительно улетала сверкающая точка—вверх, вверх, навстречу солнцу, купаясь в его лучах, простирая в нему руки, мчался человек, вознесенный к небосводу силой своего разума, и радиоволны доносили к нам его ликующий, звенящий от восторга голос. Человек пронизывал собой вышину, он был как ракета, он был как бог, он плыл в небесах, он летел, он парил... Вот его уже не стало видно простым глазом, но мощные телеобъективы не теряли его, и вот уже появилась на экранах кабина космической станции с открытым входным люком.

Над самым моим ухом кто-то протяжно вздохнул. Я обернулся. Это был один из иностранцев, невысокий полный господин благообразного вида.

— Никогда не думал,— произнес он почти без акцента, заметив мой взгляд,— что когда-нибудь мне придется увидеть летящего по небу ангела...

Я вежливо улыбнулся.

— Не знаю, поверите вы мне или нет,— нерешительно продолжал незнакомец,— но однажды я видел нечто подобное. Но меня попросту сочли лжецом.

— Неужели?— спросил я, еще не догадываясь, с кем меня свела судьба.

— Теперь я и сам в это почти не верю,— грустно сказал он, протягивая мне визитную карточку.— Ведь я видел не человека, не ангела, а всего-навсего свинью.

Я быстро взглянул на визитную карточку.

— Не расстраивайтесь, господин пастор,— сказал я как можно теплее.— Я вполне готов вам поверить.

В. Комаров

РЕШЕНИЕ

Весь день, несмотря на совершенно ясное небо, штормило. Огромный лайнер неторопливо, словно нехотя, переваливался с боку на бок. Из окна салона казалось, что линия горизонта то опускается, проваливаясь куда-то вниз, в глубину, то взлетает вверх — и тогда возникало ощущение, что океан вот-вот опрокинется на нас.

К вечеру волнение улеглось, но корабль, словно по привычке, все еще продолжал однообразно раскачиваться. Весь день я просидел над статьей, которую должен был на следующее утро отправить в редакцию из ближайшего порта.

Работа не ладилась. Быть может, мешала тропическая духота — я всегда переносил ее с трудом, — да и монотонная качка порядком утомляла.

Часам к десяти я почувствовал, что мысли окончательно утратили необходимую ясность. Захотелось глотнуть свежего воздуха. Я захлопнул папку и отправился на палубу.

Было тихо и душно. Пожалуй, здесь дышалось еще тяжелее, чем в салоне с его кондиционированным воздухом.

Я спустился на нижнюю палубу, поближе к воде, и прислонился к поручням. Вода за бортом была совсем темной — казалось, океан наполнился нефтью. Совершенно черное, усыпанное звездами небо сливалось с иссиня-черным морем.

В такие минуты забываешь обо всем. Мысли уже не сосредотачиваются на чем-то определенном, а скользят какими-то неизъяснимыми путями, выхватывая из памяти неясные образы, что-то далекое, полузабытое. Из этого гипнотического состояния меня неожиданно вывел взволнованный мужской голос:

— Извините, пожалуйста. Вы сейчас ничего не слышали?

Я машинально прислушался, даже не поинтересовавшись, кто задал вопрос. Мало ли какие звуки могут заинтересовать человека на корабле, в открытом море. Однако ничего, кроме всплесков забортной воды и равномерного шума работавших машин, я не услышал.

— Нет, ничего... Ничего такого...

Возможно, на том и закончился бы наш случайный ночной разговор, но как раз в этот момент засветилось окно одной из

кают, выходившее на нижнюю палубу. Луч света упал на лицо стоявшего рядом со мной человека.

Глаза... Его глаза — они поразили меня. Эти глаза смотрели со странной смесью тревожного ожидания, надежды и, пожалуй, страха. Да, страха. Вряд ли обычный звук мог вызвать подобное сплетение чувств. Как всегда, когда мы соприкасаемся с чем-то непонятным, мне стало немного не по себе. И я спросил:

— А что слышали вы?

Напряженный взгляд незнакомца сразу погас, словно кто-то выключил ток. Выражение тревожного ожидания сменилось усталостью. Он пробормотал что-то похожее на извинение, отвернулся к борту и, облокотившись на перила, стал смотреть на бегущую внизу воду.

Но теперь уже было задето мое любопытство, а профессиональная интуиция подсказала, что случай столкнул меня с чем-то необычным.

— Может быть, я могу вам помочь?— спросил я как можно более мягко.

Незнакомец, не поворачивая головы, предупреждающе поднял руку и произнес громким шепотом:

— Тише. Прошу вас, ради бога, тише...

Это в самом деле становилось любопытным!

Несколько минут мы оба стояли молча. Потом он сделал нетерпеливое движение рукой и обернулся ко мне.

— Вы, должно быть, подумали, что я...— он виновато улыбнулся.— Ну, одним словом...

— Признаться, да,— сказал я, решив, что в подобном случае лучше всего полная откровенность.

— Ну, что ж,— пробормотал незнакомец,— вполне естественно. Я и сам сначала подумал что-то в этом роде... Когда это случилось в первый раз...

Он снова умолк, видимо, погрузившись в свои мысли.

— Должно быть, слуховые галлюцинации?— предположил я, стараясь облегчить своему странному ночному собеседнику дальнейшие объяснения.— Вам слышатся какие-то звуки?

Незнакомец выпрямился и молча забарабанил пальцами по перилам. Потом вдруг спросил:

— Вам приходилось когда-либо видеть авиационную катастрофу?

— К счастью, нет.

— Представьте себе: над морем летит самолет. И вдруг — пожар, горит двигатель. Машина охвачена пламенем. Она быстро

теряет высоту. И пассажиры знают, что спасения нет... А самолет...— он резко оборвал свой рассказ и отвернулся.

— Где же это случилось?— спросил я осторожно.

— Здесь.

— Здесь?

— Да... Где-то в этих местах.

— И вы сами...— начал было я, но мой ночной собеседник снова согнулся над перилами и сказал устало:

— Это требует более подробных объяснений. Сейчас уже ночь...— Он почему-то посмотрел на небо.

Но я чувствовал, что ему необходимо с кем-нибудь поделиться. Именно сейчас. И поспешил сказать, что привык ложиться поздно.

— Ну, что же,— как-то неопределенно отозвался незнакомец, видимо, все еще не решив окончательно, стоит ли начинать разговор.

Я терпеливо ждал, не желая быть назойливым... Должно быть, прошло не меньше четверти часа. Наконец незнакомец выпрямился и придвинулся ко мне.

— Извините, кто вы по профессии?— спросил он.

— По профессии я журналист, а по специальности...

— Впрочем, это не имеет значения. Просто я хочу рассказать эту необычную историю человеку, который мог бы отнестись к ней критически и без предвзятости.

— Постараюсь...

Незнакомец с силой потер рукой лоб, словно желая сосредоточиться, и медленно произнес:

— Конечно, все это вам должно показаться, по меньшей мере, странным... Меня зовут Липатов, Сергей Липатов... Я кибернетик. Не стану утомлять вас подробностями своей биографии, а перейду сразу к сути. Несколько лет назад я вместе со своим постоянным сотрудником Юрием Кузнецовым занялся одной интересной проблемой, связанной с саморегулирующимися машинами. Не буду объяснять, что это за проблема, для моего рассказа это не имеет значения. Скажу только, что успешное решение задачи, которую мы перед собой поставили, открыло бы принципиально новые возможности в кибернетической технике. Сперва работа шла быстро. Если вы знакомы с наукой, с учеными, то, вероятно, знаете, что иногда одна только удачная постановка вопроса открывает прямую дорогу, по которой мчишься, словно на скоростной автомашине. Но только до определенного момента. Рано или поздно наталкиваешься на какое-нибудь препятствие. Иногда непреодолимое. Мы также не избежали подобной участи. И заминка про-

изошла тогда, когда мы думали, что находимся уже в самом конце пути. Очень скоро мы поняли, что «орешек» просто не раскусить. Знаете, часто бывает так: занимаешься какой-нибудь задачей и кажется, что нужно ответить всего на один единственный вопрос. А чуть копнешь глубже — возникают десятки, сотни новых вопросов, всевозможные ответвления, побочные проблемы.

Сперва Липатов говорил как-то напряженно. То и дело он останавливался, к чему-то прислушивался, казалось, уходил в себя, а потом с трудом подбирал выражения, словно заставляя себя произносить каждое слово. Но постепенно речь его сделалась более непринужденной.

— В общем, потребовался целый год, чтобы мы расчистили весь этот лес. Теперь проблема возвышалась перед нами освобожденная от всяких наслоений. И оставалось ответить действительно на один только вопрос. Но что это был за вопрос! Даже подходов не было видно. Сколько дней и ночей нам это стоило — сейчас трудно сказать. Гипотезы, предположения, варианты — их были тысячи, не меньше. Но ни с места. Ни одного хотя бы маленького просвета...

Он на минуту смолк, словно заново переживая прошлые волнения, а затем продолжал:

— Теперь я должен познакомить вас с Кузнецовым. Это был необыкновенно талантливый человек. Обладал удивительной способностью схватывать общее в явлениях, казалось бы, совершенно разнородных. К сожалению, он чересчур разбрасывался. У него было слишком много увлечений. Фотография, футбол, подводная охота, альпинизм — да всего не перечесать. И каждому из этих занятий он отдавал всю душу. Впрочем, и работать он умел, умел сосредоточивать силы на решении конкретной задачи. В такие минуты он целиком погружался в размышления — ничто не могло его отвлечь, все окружающее переставало для него существовать. И все же, на мой взгляд, круг его интересов был слишком широк. Слишком... Правда, на этот счет у него была даже особая теория — он, знаете ли, любил подо все подводить теоретическую базу. А когда я пытался ему что-то доказывать, он только улыбался. В общем, Юра придумал целую теорию. Утверждал, что сложную проблему надо «заложить» в подсознание, словно задание в электронную машину. И рано или поздно оно сработает, выдаст результат. Разумеется, если человек обладает соответствующими знаниями и способностями и если он предварительно достаточно долго работал и думал над этим вопросом. Вот с той-то поры и начались Юрины увлечения. Чуть только не вытанцовывается у нас какая-нибудь задача — Юра появляется в лаборатории

с рюкзаком, через плечо кинокамера, на ногах лыжные ботинки и заявляет: «Ну, вот что, старик, надо мне проветриться. Ну, ну, не дуйся,—видит, что я недоволен,—скажи, что я взял отпуск за свой счет...» Вам, вероятно, все это неинтересно?—неожиданно прервал рассказ Липатов.

— Очень интересно,—поспешил сказать я. Мне и в самом деле было интересно.

— Впрочем, если и неинтересно,—ворчливо произнес Липатов,—все равно придется выслушать до конца, раз уж вы вообще согласились меня слушать. А это имеет прямое отношение к делу... Так вот через несколько дней Юрка возвращается осунувшийся, похудевший, но с бодрой улыбкой и, представьте себе, с решением задачи. Скажу вам откровенно, я не одобрял этих его экспедиций за «счастливой случайностью». У меня на этот счет тоже есть своя теория. Возьмите, к примеру, музыканта: пианиста или скрипача. Каждый день он берет свою скрипку или садится за рояль и играет положенные пять-шесть часов. Изо дня в день! Без пропуска! А если отвлечется, оставит на время свои упражнения — прощай мастерство! Я читал, один знаменитый пианист говорил: «Если я всего лишь день не играю — последствия чувствую только я; если я не упражняюсь два дня — это замечают мои коллеги, три дня — зрители». То же самое в науке. Если ты занят какой-то проблемой — должен работать над ней неотрывно, ни на что не отвлекаясь. Нельзя рассчитывать на случайные озарения. Надо двигаться последовательно, шаг за шагом, и успех придет. Даже капля долбит камень...

Признаться, мне, как журналисту, не очень-то импонировали ученые, которые шли к цели так, как Липатов. Гораздо больше по душе мне были яркие догадки, смелые и неожиданные решения. И я сразу же начал испытывать невольную симпатию к незнакомому мне Юрию Кузнецову.

— Конечно,—сказал я довольно вяло,—конечно, капли воды продолбят камень... через тысячу лет. Но ведь тот же результат можно получить за несколько секунд. С помощью лазара, например.

— Разумеется, у каждого свой метод,—отозвался Липатов и почему-то вздохнул.—Каждый работает по-своему.

Он внимательно посмотрел на меня и, словно угадав мои мысли, сказал, покачивая головой:

— Вы, может быть, подумали, что я завидовал Юрию. Нет, нет. Это совсем не так. Но я не могу спокойно вспоминать об этих его увлечениях. Ведь в конечном счете, они-то его и погубили.

Наступило молчание. Липатов сгорбился над перилами. Я видел, как его рука нервно сжимала поручень...

— Так вот,— сказал он наконец, справившись с волнением.— Нам осталось разрешить самый главный вопрос. Но он не поддавался. Не помогли даже Юрины экспедиции. Однажды вечером — хорошо помню, это был конец сентября, целый день лил дождь — Юрка явился ко мне и, едва переступив порог, заявил:

— Знаю старик, сейчас ты будешь метать в меня громы и молнии, но я улетаю в Антарктиду. На полгода.

Он всегда вываливал на вас новость без всяких предисловий. Я был ошеломлен — прервать нашу работу на целых шесть месяцев — и только тихо спросил:

— Когда?

— Завтра, в семь утра,— беспечно сказал Юра.— Ну, ну, не переживай: наша задача от нас с тобой никуда не денется. Лучше угости меня кофе — я изрядно продрог.

— Но зачем тебе понадобилась Антарктида? И что ты будешь там делать?— не удержался я.

— Антарктида давно меня интересует,— ответил Юра, развалившись на диване.— А им как раз нужен специалист для наладки новой аппаратуры.

Это была наша последняя встреча. На следующий день Юра действительно улетел. Писем он писать не любил, и я лишь изредка получал от него радиogramмы примерно такого содержания: «Все в порядке»; «Не скучай, старик» и еще в том же духе. Все это время я продолжал нашу работу, но без особого успеха. И вдруг на исходе шестого месяца получаю такую радиogramму: «Высота взята. В понедельник вылетаю». На нашем условном языке это означало, что Юре удалось наконец решить злополучную задачу. Не буду вам рассказывать, как обрадовало меня это известие. Я забыл вам сказать, что Юра не был женат. Но у него была девушка, можно сказать, невеста, Галя, сотрудница нашего же института. И вот во вторник с утра мы вместе с ней отправились в Шереметьево. Юра летел рейсом французской авиакомпании. Самолет прибывал в девять пятнадцать. Однако в девять часов по радио сообщили, что самолет запаздывает до десяти. В десять прибытие отложили до одиннадцати, в одиннадцать — до двенадцати... Галя заволновалась, убежала выяснять — кажется, у нее подруга работала в диспетчерской. Минут через двадцать она появилась бледная, губы трясутся... Одним словом, разбился Юра. Еще в понедельник. Самолет загорелся, упал в океан. Как раз в том самом районе, где мы сейчас находимся. Подобрали только двоих...

Вот так и не успел мой Юра никому сообщить о своем открытии. Можно сказать, унес с собой эту тайну...

Липатов замолчал и, выпрямившись во весь рост, опять стал к чему-то прислушиваться. Молчал и я, не зная, что сказать. Печальная история — чего только не бывает в жизни. Но почему Липатову понадобилось рассказывать обо всем этом мне, случайному собеседнику сейчас, ночью?

И снова он угадал мои мысли:

— Вы, должно быть, подумали — зачем я все это рассказал? Так то была только «присказка», «сказка» впереди. После Юриной гибели работа шла уже как-то не так — мы слишком привыкли трудиться вместе, сообща. Но тема осталась за нашей лабораторией, а вместо Кузнецова мне дали другого сотрудника — способного парня, неплохого математика, но до моего Юры ему было далеко. Да и, признаться, после всего, что произошло, у меня как-то душа не лежала к этой проблеме. Однажды мне предложили съездить на пару месяцев в Гавану, в научную командировку. Я согласился, решил последовать Юриной теории — на время переменить обстановку. К тому же курс корабля — я должен был выехать пароходом — проходил через тот самый район, где произошла катастрофа. Сам не знаю, почему, но меня словно тянуло к этому месту. Не стану описывать моего путешествия: плавание как плавание. Все было обычно до того дня, точнее — до того вечера, когда мы приблизились к тому району, где упал Юрин самолет. Вот тут и произошло... Впрочем, расскажу все по-порядку. В тот день, как и сегодня, штормило. Довольно сильно качало. И после ужина — это было часов около десяти — я вышел на палубу, чтобы немного проветриться. В тот вечер на палубах было довольно пустынно. Пассажиры, утомленные качкой, отдыхали в своих каютах. Я долго смотрел на волнующийся океан, и воображение рисовало мне картину катастрофы. Все так ясно мне представилось, будто авария произошла только что, на моих глазах. Тем временем волнение на море улеглось, и надвинулась какая-то первозданная тишина. Ее не нарушало даже равномерное гудение корабельных двигателей. Этот однообразный гул существовал сам по себе, словно где-то в стороне, и на его фоне каждый звук, каждый всплеск воды выделялся с какой-то особенной четкостью и выпуклостью. Я не случайно рассказываю об этом так подробно... Стемнело... Меня охватило непонятное смутное беспокойство. Я стал напряженно прислушиваться к тишине. И вдруг...

Тут голос Липатова оборвался, он с силой потер лоб и зябко передернул плечами.

Знаете, иногда бывает так: слушаешь рассказчика, а воображение забегает вперед, рисует нечто невероятное, фантастическое. А на деле все оказывается другим, гораздо проще, обычнее. Но это не удивляет: так и должно быть. Ведь невероятного не происходит.

Слушая Липатова, я тоже невольно забегал мыслями вперед, и, когда мой ночной собеседник дошел в своем рассказе до того места, когда он стал напряженно прислушиваться к тишине, у меня мелькнуло странное предположение... Но оно было настолько неправдоподобно, настолько нелепо, что я тут же его отбросил. Однако в то же самое мгновение, не знаю, как это объяснить, но я почувствовал, что Липатов сейчас расскажет именно то, о чем я подумал. Я отлично понимал, что этого не могло случиться, что такое вообще невозможно, и, несмотря ни на что, уже твердо знал, что именно так оно и было. И от этой уверенности у меня неприятно засосало под ложечкой, а по спине поползли холодные мурашки.

— И вдруг,— продолжал между тем Липатов,— вдруг я услышал... Нет, нет, слово не то. Это было очень странное ощущение. В моем сознании возникли слова, нет, скорее мысли... Тут трудно провести грань. Ведь мы вообще мыслим словами, хотя иногда течение мысли их и опережает. Но слова это были или мысли — они складывались в законченные фразы. И все это — независимо от моего желания, от меня. Но самое удивительное состояло в том, что все эти слова, построение фраз, весь, так сказать, склад логики — все это было Юрино. Признаться, я сильно испугался — решил, что начинаю сходить с ума. Перешел к другому борту — странное явление не прекращалось, поднялся на главную палубу — то же самое. Почти бегом я устремился к ресторану, откуда доносились звуки джаза. Резкие мелодии труб сделали свое дело: необычное ощущение постепенно прекратилось. Мной овладела страшная усталость. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. Обычно я не употребляю крепких напитков, но в тот вечер, могу вам признаться, опрокинул в себя целый стакан коньяка... А добравшись до каюты, поспешил лечь в постель и, укрывшись с головой, забылся тяжелым сном. Среди ночи я проснулся, словно от какого-то толчка. Сквозь иллюминатор пробивался серый предутренний свет. Я приподнялся на койке и посмотрел на часы. Было начало пятого по местному времени. Сознание работало с необычайной ясностью. Я отчетливо вспомнил все, что произошло накануне вечером. Теперь, когда нервный шок, вызванный вчерашней неожиданностью, уже прошел, мне вдруг захотелось узнать, что именно сообщил загадочный «внутренний голос». Я стал

припоминать, и к своему удивлению обнаружил, что без труда могу почти все восстановить в памяти. Возможно, это тоже было следствием вчерашнего нервного напряжения. Но каждая мысль отчетливо запечатлелась где-то в подсознании. По мере того как я восстанавливал смысл, меня охватывало необычайное, ни с чем не сравнимое удивление. Представьте, это было решение, точнее — часть решения нашей задачи, над которой мы так долго и безуспешно бились. Решение свежее, оригинальное. Я не верил себе, мне казалось, что все это какой-то странный удивительный сон. Я зажег лампу, схватил карандаш и быстро набросал решение на бумаге. Стал производить необходимые подсчеты...

Закончив, я взглянул в иллюминатор. Солнце уже поднялось высоко над морем. У меня было странное ощущение, что я существую как-то отдельно от всего остального и все, что меня окружает, находится совсем в другом измерении.

Прохладный душ вернул меня в привычный мир. Я подошел к столу и еще раз пробежал глазами вычисления. Все было верно. Не оставалось никаких сомнений в том, что у меня в руках находится важное научное открытие, точнее — его первая половина.

— Но послушайте,— вырвалось у меня,— ведь это же какая-то мистика!

— Сначала и у меня было такое ощущение. Но ведь это всего лишь непосредственная субъективная реакция. Поскольку событие реально произошло, оно должно иметь естественную причину.

— И вам удалось ее найти?— спросил я с интересом.

Липатов пожал плечами.

— Это не так просто...

— Но есть же у вас какие-то предположения? Какая-то гипотеза?

Липатов промолчал.

— А ведь знаете, все что вы рассказали весьма походит на телепатию... На передачу мыслей.

Липатов внимательно посмотрел на меня:

— Вы серьезно?

— Вполне. А разве вам самому не приходило в голову подобное предположение?

— Признаться, нет. Я, разумеется, знаком со всеми разговорами и спорами, которые ведутся по поводу телепатии. Но, честно говоря, отношусь к этому довольно скептически. В лучшем случае, это только гипотеза...

— Гипотеза, потому что мы не знаем механизма. Но есть множество фактов вполне достоверных, для которых трудно найти

иное объяснение. Разве не может существовать какой-то носитель информации, вырабатываемой мозгом?

— Во всяком случае, я не отвергаю такой возможности,— отозвался Липатов.— Готов допустить, что при определенных обстоятельствах можно на расстоянии уловить мысли другого человека. Живого. Но мысли человека, который давно умер? Это, знаете ли, слишком! Попахивает спиритизмом.

— Об этом я не подумал...

И вдруг неожиданная мысль поразила меня:

— Послушайте, а что если он... жив?

— Нет... Его тело прибило к берегу через два дня после катастрофы.

— В таком случае и я отказываюсь что-либо понимать...

— Знаете ли вы, что такое ассоциативное мышление?— вдруг сказал Липатов.— Впрочем, это не совсем то. Я хочу сказать, что каждый человек мыслит индивидуально, по-своему. Если мы с вами начнем решать одну и ту же задачу, каждый будет делать это не так, как другой, пойдет своими путями. Я не физиолог и не психолог, но как кибернетик думаю: это связано с тем, что у каждого человека имеется, так сказать, своя эвристическая программа, свой метод нахождения неизвестного. У каждого действует своя система связей между различными мозговыми клетками, определенная система «переключений»...

— Например, вы и Кузнецов? Вы и ваш друг мыслили по-разному. Это вы хотели сказать?

Липатов кивнул.

— Впрочем, не вижу, какое отношение это имеет к вашей загадке.

— Видите ли, какая штука... Когда два человека, двое ученых долго работают вместе, бок о бок, когда они изо дня в день вместе решают всевозможные задачи, рассуждают, спорят, это не может пройти бесследно. Каждый невольно оказывает влияние на другого. Внешне это может никак не проявляться. Но где-то в подсознании что-то откладывается. И при определенных обстоятельствах может произойти... ну, как бы это лучше выразиться, нечто вроде переключения...

— Вы хотите сказать,— воскликнул я,— что в этот вечер ваш мозг переключился на систему Кузнецова! И благодаря этому вы пришли к решению?

— Примерно так...

— Ну, знаете ли... Пожалуй, это еще более невероятно, чем телепатия.

— Но мы еще многого не знаем о законах мышления,— возразил Липатов.— Впрочем, возможно, вы правы... Но ведь Кузнецов все-таки умер,— добавил он.

Пока Липатов излагал свою версию, меня все время мучила какая-то неясная мысль. Мне казалось, что я не то слышал, не то читал нечто такое, что могло бы разрешить загадку. И вдруг я вспомнил. Это было в одном научно-фантастическом рассказе. Автор утверждал, что все человеческие мысли, излучаясь, образуют вокруг Земли своеобразное, ну, что ли, «поле информации», из которого их можно при определенных условиях извлекать. Я сказал об этом Липатову.

— Помню, помню,— отозвался он.— Как же, читал. И эта идея сначала так меня возмутила, что я хотел даже написать в газету...

— Но не написали?

— Нет, я подумал, что фантаст в отличие от ученого свободнее в своих предположениях.

Мы помолчали.

— Так значит,— спросил я,— телепатию вы решительно отвергаете?

— Когда я встречаюсь с чем-либо непонятным, я стремлюсь избегать предвзятого мнения. Стараюсь быть объективным. Ведь я хочу одного, только одного,— поймите меня,— установить истину. И чтобы вы в этом убедились, я сейчас расскажу вам о двух случаях. Первый из них произошел года за два до Юриной гибели. В тот период мы занимались одной из очередных проблем, составлявших часть нашей общей задачи. Вопрос был довольно трудный, но работа продвигалась успешно, оставалось совершить одно последнее усилие. В тот вечер — это как раз была суббота — мы надолго задержались в лаборатории: чувствовалось, что решение где-то под руками, и не хотелось откладывать до понедельника. Мы только что закончили очередной эксперимент. Не выключая приборов, Юра подсел к столу и, взяв обеими руками волосы — так он всегда поступал, когда ему в голову приходила интересная идея, — стал быстро набрасывать на листке бумаги какие-то формулы. Я спросил его о чем-то, но он только отмахнулся. Чтобы не мешать, я присел к другому столу и занялся обработкой последних результатов. В лаборатории было полутемно: мы не любили по вечерам включать верхний свет — так лучше думалось. Только светились шкалы приборов и тускло мерцали оранжевые кружки неоновых ламп в измерительных схемах. Закончив работу, я поднял голову и взглянул на Юру. Он сидел, отвалившись на спинку кресла, взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а рука с карандашом неподвижно повисла в воздухе. Лицо

отражало напряженную работу мысли. И в это мгновение произошло нечто странное. Метнулись стрелки приборов. Вспыхнула полным накалом неоновая лампа в схеме генератора, установленного на том самом месте, возле которого примостился Юрка. И сейчас же Юра вскочил и, с грохотом отодвинув стул, радостно крикнул: «Есть!» «Что это было?» — спросил я. Но он, оказывается, ничего не заметил. Я включил свет и стал проверять соединения в схеме, а Юра снова подсел к столу и погрузился в расчеты. Схема оказалась в порядке, и я, повернув пакетник, выключил ток из аппаратуры. «Ну, что там у тебя, выкладывай», — сказал я и повернулся к Юре. Нет, никогда не угадаете, что я увидел. Волосы у Юры были черные-черные. Но сейчас я заметил, что над самым Юриным лбом, над переносицей появилось странное белое пятно величиной с пятикопеечную монету. Сперва мне показалось, что он чем-то запачкал волосы. Я подошел к Юре и провел рукой по его волосам. Но пятно не исчезло — это была седина. А ведь еще час назад у Юры не было ни одного седого волоса. «Что это ты?» — удивился Юра. Я молча протянул ему металлический отражатель — мы пользовались им как зеркалом. Юра посмотрел в отражатель, потрогал пальцем седую прядь, удивленно покачал головой и патетически произнес: «...и он поседел за одну ночь...» Потом поставил на место отражатель, хлопнул меня по плечу и весело сказал: «Ничего, старик, седина — это теперь модно. Главное — решение найдено». И принялся объяснять свои формулы...

Второй случай был не менее странным, но тогда я, честно говоря, почти не обратил на него внимания. Произошло это в одно из летних воскресений. Опять мы с Юрой бились над какой-то очередной задачей. Вам, должно быть, надоели эти задачи? Но, что поделаешь, такова жизнь исследователя. Вся она состоит из задач, уже решенных и еще не решенных... На этот раз задача не была еще решена, и мы, разумеется, корпели над ней и в воскресенье. Но в это лето в Москве стояла очень жаркая погода, и в субботу шеф самолично выгнал нас из лаборатории и забрал ключ. С утра я занимался домашними делами, погулял с сынишкой, а потом все же не выдержал — ушел в кабинет, достал чертежи наших схем и стал прикидывать разные варианты. Но тут зазвенел звонок, пришли гости — старый школьный друг с женой. Мы не виделись добрый десяток лет, начались воспоминания, потом сели за стол. Одним словом, задача на время совершенно вылетела у меня из головы. И вдруг — это было уже часов около десяти вечера — мне в голову пришло очень простое и естественное решение. Это случилось совершенно неожиданно и без каких

бы то ни было ассоциаций: разговор в этот момент шел о совершенно посторонних предметах. В таких случаях мы с Юрой сразу же сообщали друг другу — чтобы один из нас зря не мучался. Я извинился перед гостями, подошел к телефону и снял трубку. Гудка не было. Вместо этого в трубке слышались тихие щелчки. Так бывает, когда произошло соединение с другим аппаратом. «Алло?» — сказал я в трубку на всякий случай. И вдруг в ответ услышал Юрин голос: «Это ты, старик?» Оказалось, мы оба звонили друг другу почти одновременно. И Юра сообщил мне свою идею, которая пришла ему в голову несколько минут назад. Она в точности совпадала с моим решением...

— Но ведь это же замечательно, — то, что вы сейчас рассказали, — оживился я. — Это означает, что ваш друг обладал телепатическими способностями. При определенных условиях он, так сказать, излучал информацию, а вы могли ее воспринимать? Доказательство — белое пятно в волосах. Оно возникло под действием излучения.

Липатов покачал головой:

— Вы, журналисты, — скорый на выводы народ. У вас уже целая гипотеза.

— И мне кажется, она ничем не хуже вашей.

— Почему же, весьма любопытная гипотеза. Хотя она и выглядит, прямо скажем, довольно фантастично. К тому же можно ведь предположить и обратное. Вы, должно быть, слышали о любопытных экспериментах, когда к вискам испытуемого прикладывали электроды и пропускали слабый ток и у человека возникали в памяти события давно минувших дней... В тот раз мы долго не выключали аппаратуру, накопился заряд в каком-нибудь конденсаторе, потом произошел разряд, возникло излучение, оно проникло в мозг Юры и каким-то образом активизировало мыслительные процессы.

— Не менее фантастично, но в принципе допустимо, — вынужден был согласиться я.

— А что касается второго случая, то ведь это могло быть и чисто случайным совпадением. Мы занимались одной и той же задачей, старались решить ее примерно с одних и тех же позиций — не удивительно, что мы могли прийти к одинаковым решениям.

— Случайные совпадения, конечно, возможны, — заметил я. — Но вы же сами сказали, что решение возникло в вашем сознании в тот момент, когда вы совершенно о нем не думали. Невольно создается впечатление, что его вам внушили...

— Почему же — работа подсознания. Решения могут созреть незаметно для человека как бы сами собой. Хотя, повторяю, лично я не сторонник такого метода работы:..

Липатов помолчал.

— И вы опять забыли о самом главном,— продолжал он.— Допустим даже, что вы правы и между моим другом и мною действительно существовала некая телепатическая связь. Но после того, как он умер, утонул... Ведь вместе с ним погибла и вся информация, содержащаяся в его мозгу.

— Но чем же тогда объяснить ваше удивительное... Ну, как бы это сказать... прозрение что ли? Вы меня извините, я вовсе не хочу умалить ваших достоинств как ученого. Вероятно, вы и сами пришли бы к решению... Но судя по вашим словам, сама логика так неожиданно полученного решения была свойственна не вам, а вашему другу.

— Да, в этом вы совершенно правы,— сразу же согласился Липатов.— Я действительно привык двигаться последовательно, говоря шахматным языком, ходом пешки; с пятой горизонтали на шестую, с шестой — на седьмую и уж потом — в ферзи... А здесь, можно сказать, был ход конем. Неожиданная идея, оригинальный прием — Юрин почерк.

С каждым словом я все больше и больше проникался уважением к этому, в сущности, незнакомому мне человеку. Это был настоящий ученый, для которого имело значение только одно — доискаться истины. Честолюбие, видимо, было ему совершенно чуждо.

На мгновение я даже забыл о своей версии.

— А может быть, вы напрасно скромничаете?— вырвалось у меня.

— Нет,— покачал головой Липатов.— Это просто трезвая оценка своих возможностей.

— Однако вы противоречите вашей же собственной гипотезе.

— Я обязан трезво взвесить все факты. Но особых противоречий не вижу. Повторяю, когда двое ученых долгое время работают вместе, у них незаметно вырабатывается какой-то общий взгляд на вещи, единообразный подход, сходная методика. Подсознание работало... А тут сыграли роль особые обстоятельства: море, ночь, луна, картина катастрофы, которую я рисовал в своем воображении. Своего рода самогипноз, который и открыл шлюз... К тому же открытия носят в воздухе. Не сегодня — завтра, люди все равно в конце концов пришли бы к тому же самому.

— Ну, хорошо,— не сдавался я.— Вы отвергаете передачу мысли на том основании, что ваш друг умер. У меня возникло одно

предположение. Вам оно, должно быть, покажется невероятным... Видите ли... Я хочу задать вам вопрос. Умирает человек. Что же с его смертью так все и заканчивается?

Липатов посмотрел на меня с недоумением.

— Нет, нет, речь идет не о загробной жизни. Для того, кто умер, после — ничего нет, небытие. Это само собой разумеется. Ну, а для живых? Что-то от ушедшего человека все же остается, продолжает жить. Ну, хотя бы его внешний образ в фотографиях, в кинофильмах, его мысли в статьях и книгах, остается его голос, записанный на пленку, на пластинку. Это то, что мы знаем. Но знаем ли мы все?..

— Что вы хотите сказать?

— А почему не может быть, что сама природа за время нашей жизни фиксирует нечто от каждого из нас? При известных условиях, разумеется. И это нечто может пережить нас с вами. Словом, остается какая-то информация. Ведь сохраняются же многие века отпечатки древних организмов. И в принципе, ее можно «оживить», сделать доступной для восприятия. Так сказать, проиграть пленку или проявить пластинку. Как видите, абсолютно никакой мистики. Ну, что вы на это скажете?

— Не знаю... Сразу видно, что говорит журналист. Вы не обижайтесь, но, признаться, все это, мягко говоря, мало правдоподобно.

— А не кажется ли вам,— продолжал я с жаром,— что мы иногда слишком легко отказываемся от научного исследования и объяснения того или иного явления только потому, что оно представляется нам... невозможным. И тем самым оказываем добрую услугу мистике, религии?

— Так случается... Но, повторяю, для того чтобы объяснить нечто, нужно понять механизм...

— Механизм?.. Ну, что же... Так вот. Я высказываю это в порядке предположения. Говорят, что умирающий успевает в последние минуты вспомнить чуть не всю жизнь. Возможно, бывает и так. Но когда меня тяжело ранили на фронте, я думал, что умираю, и вспомнил только об одном — о задании, которое я не успел выполнить. Эта мысль преследовала меня настойчиво и неотвязно... И потому я допускаю, что когда ваш друг очутился в воде и боролся со смертью, он думал о самом главном, что ему удалось совершить в жизни — о своем решении проблемы. Это, так сказать, пункт номер один. И те последние минуты (а может быть, часы) были минутами крайнего напряжения сил, высшей концентрации нервной энергии, и его мозг усиленно излучал информацию. Это — пункт второй... До этого места, как видите, все вполне до-

пустимо. А вот и пункт третий... Ведь материя обладает свойством отражения. И, между прочим, не только органическая, но даже и неорганическая. По крайней мере, так утверждают философы. Кто знает, быть может, излученная Юрой информация оказалась зафиксированной где-то в природе.

— Но где же?— удивился Липатов.

— Не знаю... Впрочем, есть еще одна возможность. Именно в тот самый момент ваш мозг и мог воспринять эту информацию. Ведь между вами, судя по всему, существовала какая-то «резонансная» связь. И эта информация дремала где-то в тайниках вашего мозга. Дремала до тех пор, пока сильное нервное напряжение не пробудило ее.

— Но если та телепатическая передача, о которой вы говорили, произошла в час гибели Юрки, то я, стало быть, уже в тот первый вечер на корабле располагал полной информацией. Почему же она не «проявилась» сразу во всем объеме?

— Возможно, ваш друг не все успел «передать». К тому же вы сами говорили, что старались заглушить возникшее ощущение.

— Да...— неопределенно протянул Липатов.— А между прочим, все это имеет и чисто практическое значение. Ведь проблема до сих пор решена только наполовину.

Тут мне в голову пришла любопытная мысль.

— Послушайте!— воскликнул я.— Уж не отправились ли вы путешествовать в эти края вторично для того, чтобы тем же способом узнать вторую часть решения?

— Если говорить совершенно честно,— отозвался Липатов,— вы угадали. Есть у меня такая тайная надежда.

— И что же?

— Как раз в тот момент, когда вы подошли, мне показалось, что это начинается опять.

— И вы спросили, не слышал ли я... Но как же так? Ведь если все объясняется... ассоциативным мышлением, то я ничего не должен был слышать.

— Совершенно верно. Именно это я и хотел проверить. Впрочем, скорее я задал свой вопрос просто инстинктивно. Вы, разумеется, ничего не могли слышать.

— Да странную историю вы мне рассказали,— заметил я.— Хотелось бы знать, чем все это закончится.

Липатов не ответил. Лицо его вдруг приобрело отрешенное выражение. Потом он взглянул на меня так, словно только что увидел:

— Извините,— пробормотал он,— мне необходимо сейчас остаться одному... Извините.

И он медленно побрел вдоль палубы, то и дело останавливаясь и словно прислушиваясь к самому себе.

Все утро я провел в каюте, заканчивая статью... А по прибытии в порт часа на два по делам сошел на берег и возвратился к самому отходу. Мне захотелось увидеть Липатова, но его нигде не было. Я справился у пассажирского помощника. Он сообщил мне, что Липатов Сергей Александрович из 34-й каюты неожиданно прервал свое путешествие и высадился на берег.

— Он, кажется, получил какое-то важное известие,— добавил помощник,— и должен был срочно возвратиться в Москву.

Важное известие? Может быть, таинственный внутренний голос все-таки сообщил Липатову вторую, главную часть решения? Мне оставалось только гадать.

Из командировки я вернулся лишь спустя несколько месяцев. За это время дела и события как-то отодвинули тот ночной разговор на второй план. Чем больше времени проходило с того вечера, тем менее реальной казалась мне история, рассказанная Липатовым, чем-то похожая на странный сон.

В Москве в одной из редакций я встретил знакомого журналиста.

— Ты слышал?— спросил он, едва увидев меня.

— Что именно?

— Не слышал? Вся Москва говорит об этом.

— Так объясни, наконец, в чем дело.

— Рад бы, да бегу. Девятый номер «Электронной техники».

Привет!

И он убежал, волоча за собой свой гигантский портфель. Неясное предчувствие заставило меня немедленно отправиться в библиотеку. Нашел на полке журнал, начал листать страницы. Вот оно: «К вопросу о некоторых возможностях электронных машин». И две подписи: Ю. Кузнецов, С. Липатов.

Я пробежал глазами статью — одни формулы. Заглянул в конец, прочитал резюме. Из него следовало, что задача, над которой так долго трудился Липатов со своим другом, была наконец решена полностью. Я снова взглянул на подписи: Кузнецов, Липатов — две фамилии. И первая из них даже не обведена черной рамкой, как принято. Должно быть, не случайно. Липатов хотел, видимо, подчеркнуть, что его друг, как живой, продолжал участвовать в работе до самого конца.

Я тут же отправился в институт, где работал Липатов. Он сразу узнал меня. Протянул руку. Я достал из портфеля номер журнала.

— Уже видели?— произнес он как-то неопределенно.

Я вопросительно посмотрел на него. Он понял мой взгляд, но промолчал. Мне показалось, что ему не хочется возвращаться к тому ночному разговору.

Я стоял в нерешительности. Уйти? Но Липатов, видимо, уже овладел собой.

— Извините. Не хотелось бы мне говорить об этом,— произнес он с той подкупающей прямоотой, на которую я обратил внимание еще во время нашей первой встречи.— Но уж раз сам начал тогда, на пароходе,— расскажу. Хотя, собственно, и рассказывать почти нечего. В ту ночь, когда мы с вами расстались, ко мне пришло, если можно так выразиться, окончательное решение. Вот и все. Остальное вы знаете...

— И что же вы все-таки думаете обо всем этом?

— Ничего определенного... К сожалению, никто до сих пор не может точно сказать, какими путями в нашем мозгу рождаются те или иные идеи, научные открытия. Почему я решил ту или иную задачу именно сегодня, а, скажем, не месяц назад, хотя и тогда я уже знал все то, что мне было известно сегодня? Какие подспудные процессы происходят в нашем сознании, какие шлюзы там открываются, что за плотины рушатся...

Мы расстались.

Да, удивительная история. История, пока оставшаяся без ответа.

Роман Подольный

СОГЛАСЕН БЫТЬ ВТОРЫМ

1.

— Ты меня что, за спекулянта принимаешь?— заросшее седой щетиной лицо, только что бесшабашно веселое, стало мрачным.— Дружинник, что ли? Так нечего очки втирать. Сказал бы сразу, и я сразу показал бы. Сам я, сам картиночки свои рисую. Проверить хочешь? Пошли в мастерскую. Товар продан, чего задерживаться.

— Верю, верю. Я не потому...— Я повернулся и пошел от него, быстро пошел, почти побежал, прижимая локтем к боку белую трубку клеенки.

Дома достал кнопки, повесил раскрашенную клеенку на стену над диваном, сел напротив на стул. Стал смотреть.

— Боже мой, что ты принес, что принес?— послышался за моей спиной возмущенный голос мамы.— Какая пош...— слово осталось незаконченным. На маму подействовало. Она разглядела. Минута молчания. Потом мама спросила:

— Как это может быть красиво?

Сюжет был более чем обычен для базарного коврика. Озеро, над ним замок, на озере лебеди, на берегу красавица.

Но красавица, черт возьми, действительно была красавицей. И замок действительно взметнул к небу гордые башни, покорно повторенные водой озера. А лебеди... Это были лебеди из сказок Андерсена.

Читая настоящие стихи, чувствуешь и себя самого поэтом. Понять открытие — значит разделить радость того, кто его сделал. А деля с человеком радость, ты до него поднимаешься. Как бы он ни был велик. Или это он поднимает тебя? Наверное, потому что без него ты оказываешься бессилён. Но ведь не всегда же, правда?

И я вытащил из-под дивана чемоданчик, в котором уже два года лежали без применения альбомы с великолепнейшей бумагой, запасы красок, сотни тщательно выбранных мамой карандашей. Мир снова заслуживал воплощения на белом листе!

А потом я сидел на берегу речки с альбомом на коленях. Сидел до тех пор, пока не стало слишком темно, чтобы рисовать. Как будто то, что я делал, можно было назвать этим словом...

Я сломал карандаш. Потом запустил альбом в небо над рекою. Неуклюже развернул альбом свои картонные корочки-крылья, рас-

пластал их; казалось, еще секунда, и он птицею рванется вверх... Но крылья поднялись еще выше, встретились друг с другом... Я отвернулся.

В искусстве мне суждено было остаться только гостем. А в жизни? Ну что ж, в конце концов — я студент Всесоюзного государственного института кинематографии, а чтобы попасть в этот институт, надо, говорят, быть талантливым. Я попал. Значит?

Ну что же, так и будем считать, тем более, что кое-кто из профессоров, кажется, держится такого мнения. Кое-кто. А для меня важно, чтобы так думал Василий Васильевич Аннушкин. Великий Художник, точнее говоря, Великий Режиссер.

2

Медленными, торжественными шагами вознес профессор Аннушкин свое громоздкое тело на кафедру.

— Сегодня, дети мои (это обращение мы не простили бы никому другому), сегодня, дети мои, мы будем говорить об ИСКУССТВЕ. (Он произнес это слово так, что все буквы в нем казались заглавными). Не об искусстве Фидия или искусстве палеолита, не об искусстве Возрождения или искусстве передвижников, а об искусстве вообще. Но сначала посмотрим вместе на несколько картин. Филипп Алексеевич, прошу вас, — профессор величественно кивнул в дальний конец аудитории. Там у проектора стоял маленький человек с крошечными рыжими усиками. Дед Филипп! Как я его сразу не заметил? Этот очень вежливый и всегда чуть (а иногда и не чуть) пьяненький старичок был достопримечательностью института. Его фотографии время от времени получали премии на международных выставках. И знатоки искусства и жизни — а кто в нашем институте не относился к ним? — понимающе кивали в коридоре вслед слегка покачивающейся фигуре фотолаборанта Прокофьева:

- Слабый, безвольный человек.
- А ведь мог...
- Да и сейчас иногда...
- Иногда не считается.

В самые последние годы старик, говорят, стал чаще пропускать рюмочку. Но в институт по-настоящему пьяным не приходил. Однако сегодня, пожалуй...

Я сидел рядом с проектором и хорошо видел обострившиеся скулы, напряженный лоб, редкие торчащие усики. Сегодня Филипп Алексеевич был необычным. А необычное легче всего объяснить

самым привычным (увы, чаще всего это объяснение оказывается верным). Пьян?

— «Последний день Помпеи», Филипп Алексеевич,— командовал профессор.— А теперь палеолитическую Венеру... а теперь Рембрандта, то, о чем мы договорились... Что это вы даете картину без правой части и под другим углом? Вы разучились работать с проектором?

— Но так лучше, Василий Васильевич,— вырвалось стоном из груди лаборанта.

— Лучше?— голос профессора упал. Я не мог себе представить ничего, что было бы способно вывести Василия Васильевича из состояния олимпийского спокойствия и несокрушимой уверенности в себе. Но оказалось, что это возможно. Брови взлетели к месту, где два десятка лет назад находился чуб, на просторной груди заколыхался еще более просторный пиджак. Я закрыл глаза, заранее представляя себе залп, который обрушится сейчас на деда Филиппа. Профессор сотрет лаборанта в порошок.

— А знаете, и вправду лучше, пожалуй,— услышал я по-прежнему мирный голос Василь Васильевича.— Но я сомневаюсь, чтобы вы, я или вон Илья Беленький в предпоследнем ряду (я вздрогнул, так неожиданно услышав свое имя),— я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь на свете, даже равновеликий Рембрандту, имел право прикасаться к его полотну. Прочь, профаны! Простите, Филипп Алексеевич, что я употребляю это обидное слово, но все мы здесь рядом с Рембрандтом — профаны. Поставьте теперь «Венеру» Веласкеса и, пожалуйста, не повторяйте этой шутки. Она дурного тона. Впрочем, одну минутку. Я хочу еще раз посмотреть... Да, в этом что-то есть. Ну ладно. Какой диапозитив я просил вас только что поставить?

Лекция пошла обычным чередом. Впрочем, назвать любую лекцию Василь Васильевича обычной — невозможно. И сейчас мы все слушали его заворуженно, все, в том числе «профан», по прозвищу дед Филипп, судя по блаженному выражению его маленького лица. А ведь умение читать лекции — только ничтожная деталь в списке достоинств Василь Васильевича. И у такого человека, я это точно знаю, нет преемника, младшего соавтора, которого Аннушкин признал бы достойным принять от него грандиозное наследие. Семьи у него нет, жена давно умерла, друзей почти нет (у нас на факультете много говорили про Аннушкина). Если бы я смог стать для него хотя бы просто другом, даже не другом, а младшим товарищем! Стать не творцом, так хотя бы нужным творцу.

Вчера в институте услышал разговор профессора с доцентом.

— Курдюмов останется.

— А надолго?

— На его век хватит.

— А Лихачев?

— Навсегда.

— А я?

Тут оба смутились и огляделись. Пришлось отойти. Решают, кто и на сколько останется в истории, кого и сколько будут помнить.

А я?

Я обещал стать великим музыкантом в шесть лет.

Великим шахматистом — в десять.

Потом от меня ждали, что я буду великим поэтом, великим биологом, великим артистом. Кому обещал? Кто ждал? Сначала родители, потом родители и друзья. С пятнадцати до восемнадцати — сам. Потом два года я пытался стать великим математиком и великим художником сразу.

Мама говорит мне, возвратившись с работы:

— Сегодня встретила Юру. Он уже гроссмейстер. А ты его еще десять лет назад бил...

Упрек, который звучит в ее голосе, никак нельзя назвать невысказанным. Она тут же выскажет его и в более определенной форме.

А завтра она встречает Мишу, которого печатает журнал «Юность». Послезавтра — Петю, который в прошлом месяце холодильник выиграл по лотерее.

Все мои друзья — замечательные люди. И только я...

Сейчас мне двадцать два, и я уже ничего не обещаю. Ни другим, ни себе. А я ведь уже привык к тому, что — буду. Остаться. Быть. Умереть, но не уйти. Я карабкался к небу то по одной лестнице, то по другой. И каждый раз упирался головой в потолок. Мама прятала мои рисунки, стихи, записи шахматных партий. Она знала, что это будет через сто лет интересно. И я знал. А теперь знаю, что даже мамы иногда ошибаются.

Насчет остаться — не выйдет. Я бездарен. Как говорит дед Филипп: что сфотографируешь — то и проявляется!

Но можно попасть на фотографию вместе с кем-нибудь другим. Пущина помнят как друга Пушкина. Чайковский увлек за собой в Историю баронессу фон Мекк. Если я и вправду смогу

быть нужным гению... Что же, для бездарности и это — много. Но это — возможно.

Сейчас лекция кончится, я подойду к нему и начну атаку. Я должен уметь загораться чужим светом, раз нет своего, стать статистом или ассистентом, но оказаться рядом, войти в его жизнь, принадлежащую будущему, продолжающуюся в веках... Да, лекция идет к концу, вон дед Филипп собирает диапозитивы. И он, конечно, совершенно трезв, необычно в нем что-то другое. Может быть, глаза? Почему-то раньше я не замечал, что за глаза у старика, голубые нежные глаза под черными ресницами, длинными как у девушки. Впрочем, нет, необычным дед показался не из-за глаз. Чем же еще?

Звонок не дал мне додумать до конца. Как всегда, под его трель договорил Василий Васильевич свою последнюю, как всегда четко продуманную фразу. Пора было действовать.

И я устремился по проходу между столами, чтобы перехватить Великого режиссера у выхода из аудитории.

4

Тема для беседы с ним была у меня уже заготовлена. Она, я был уверен, не могла не заинтересовать любого мыслящего человека.

— Василь Васильевич,— я запыхался, и Великий режиссер вежливо остановился, выжидая, пока я переведу дыхание.— Василь Васильевич, почему в искусстве действует правило «хорошенького понемножку»?

— То есть как это, молодой человек?— благосклонно осведомился Великий режиссер.— Сформулируйте поточнее, пожалуйста.

— Очень просто. Нужны ли человечеству десять одинаковых Рембрандтов? Сотни «Ночных дозоров»?

— Наверное нет, молодой человек, вспомните, что случилось с шишкинскими «Мишками», развешанными в тысячах столовых. Правда, тут надо, конечно, учесть и качество копий.

— А если бы один Рембрандт написал тысячи картин, повторяющих одна другую и одинаково талантливых? Что бы с ними произошло?

— Хороший вопрос! Действительно, тут можно задуматься. Произведение искусства действует на чувства и дает информацию чувствам и уму. Но повторная доза информации — скучна, потому что не нужна.

— А мне кажется, Василь Васильевич, тут есть аналогия вот с чем. Ботинки натирают ногу не оттого, что тесны, а оттого что он двигается относительно ноги. А когда относительного движе-

ния нет — нет и ощущения, боль оно или счастье — все равно. Нам нравится второй раз рассматривать хорошую картину, потому что за время разлуки с нею мы сами успели измениться. Если же повтор навязывается, об удовольствии и речи нет. Повторение у художника — покой у зрителя. Потому-то для искусства воспроизводимость — смерть.

— Интересная формулировка. Я бы даже сказал — интересная до очевидности. Вы ведь на третьем курсе, молодой человек? Ну конечно же, да, на третьем. Давайте-ка я на вас посмотрю... В артисты вы вряд ли годитесь. Ну, да что-нибудь придумаем. Приходите-ка завтра, молодой человек, ко мне, на студию.

...Прошло полгода. Стоял сентябрь.

— Илюша, — мягко сказал Великий режиссер, — поработай, дружок, еще над этим сценарием, реши окончательно, будем мы его ставить или нет.

— Хорошо, Василь Васильевич.

— Я тебе говорил уже, что это обращение слишком длинно для рабочей обстановки. Василий, поверь мне, будет звучать столь же уважительно.

Год начинался для меня великолепно. Я теперь был не просто студентом четвертого курса. Мое имя появилось в титрах первой картины. Пока оно стояло после скромного титула «ассистент режиссера», но я был бóльшим — личным секретарем, ближайшим помощником, тем, кого в XVIII веке называли наперсником. Я не смог стать талантом. Я сумел стать таланту необходимым. Вторым — рядом с Первым.

5

— Как это будет великолепно, — задумчиво сказал шеф. — Бесчисленные языки пламени и, среди них, из них — живое существо. Прекрасно.

— Значит, вы поверили в мою идею? — напряженно ждал ответа человек, сидевший за столом напротив него.

— Поверил? — с величественной иронией Василий Васильевич покачал своей огромной головой. — Причем здесь вера или неверие? Я сниму фильм про вашу идею.

— Но если не верите, то зачем вам этот фильм?

— Его интересно снимать.

— Хорошо же. Я покажу вам фотографии, которые никому не показывал. Пока. Боялся. — Гость лихорадочно расстегивал застёжки портфеля, бормоча: — Я просмотрел тысячи, десятки тысяч снимков. Огонь часто снимают. Костры, печи, каминь, пожары... Есть

и любители фотографировать огонь. У одного оказалась тысяча триста снимков. Сейчас он за меня. И два его снимка со мной. И еще шесть снимков других фотографов — наиболее убедительные.

Я не мог оставаться на своем диване, с книжкой. Бросил ее, подсел к столу.

Фотографии были цветные и черно-белые, хорошие и неудавшиеся. Но на всех них отчетливо выступало среди языков пламени существо, больше всего похожее на ящерицу, узкую и стремительную.

— А сколько фотографий у меня есть еще! — возбужденно говорил гость. — Но эти все-таки самые лучшие, — великодушно сознался он.

Впрочем, оглядев нас, он понял, что даже самые громкие слова могут только испортить впечатление, и откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Я следил за ним краем глаза. Сейчас с широченного лобастого и щекастого лица этого человека слетело недавнее болезненное выражение.

Ему поверили — пусть на секунду, и большего сейчас ему не нужно было.

А фотографии интересные. Правда, у меня был знакомый, который еще в восьмом классе дюжинами изготовлял очень доказательные фото летающих тарелочек. По-видимому, у Василия Васильевича тоже был такой знакомый, потому что Великий режиссер вздохнул, стряхивая с себя обаяние снимков, и чуть грубовато спросил:

— А живую отловить не удалось?

И тут мне стало ясно, что Кирилл Евстафьевич Ланитов, кандидат исторических наук (как он представился при знакомстве), не так-то прост. Потому что он не обиделся на явно неуместный вопрос и не ответил браво: ничего, отловим еще. Нет, он добродушно засмеялся и сказал:

— Вот так все. Просто смешно. Представьте себе, что у Дарвина (я сравниваю не себя с ним, а суть дела), так вот, представьте себе, что у Дарвина потребовали бы предъявить в натуре промежуточное звено. Нет-нет, в науке, к сожалению, так уж гладко все не бывает. Один высказывает идею, другой обосновывает, третий доказывает фактами. Но я уверен, если вы мне поможете, мы найдем саламандру.

Я встал и снял с книжной полки том Алексея Толстого, открыл, прочел:

«Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью... У некоторого человека в аптеке — саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово

такоф как пишут: саламандра — зверь — живет в огне...» Толстой ввел в текст точную выписку из петровского письма. Как вам это нравится?

— Да,— кивнул головой Кирилл Евстафьевич,— я полагаю, что Петру I показывали именно огненную саламандру.

— Но тогда... тогда ее можно найти. Либава — это Лиепая. Надо запросить латвийские музеи.

— Прекрасная идея,— оживился Ланитов.— Я сделаю запрос... Но должен сразу сказать, что если та либавская саламандра окажется обыкновенной лягушкиной родственницей, это меня не собьет. Вот, для примера, верите вы в снежного человека?— обратился он сразу к нам обоим.

— Мое отношение к слову «верить» вы уже знаете,— снисходительно усмехнулся Василий Васильевич.— Там пока нечего снимать, а инсценировки будут малоэффектны.

— Ну почему? Тут можно придумать, что снять, но этот сюжет не для Василь Васильевича,— сказал я.

Видимо, Ланитов ждал других ответов. Но не стал из-за этого отказываться от заготовленной фразы:

— Свидетельства о реальном существовании саламандры не менее убедительны, чем доказательства реальности снежного человека. Бенвенуто Челлини рассказывает...— Ланитов полез в портфель, начал рыться там среди бумажек.

— Не трудитесь, молодой человек,— снисходительно сказал Василий Васильевич,— я знаю на память «Жизнь Бенвенуто Челлини, рассказанную им самим». Вы имеете в виду это место?

И он, прикрыв глаза, стал читать вслух.

«Когда мне было лет около пяти и отец мой однажды сидел в одном нашем подвальчике, в каковом учинили стирку, и остались ярко гореть дубовые дрова... глядя в огонь, он вдруг увидел посреди наиболее жаркого пламени маленького зверька, вроде ящерицы, каковой резвился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это такое, он велел позвать мою сестренку и меня, и показав его нам, малышам, дал мне великую затрещину, от каковой я весьма отчаянно принялся плакать. Он, ласково меня успокоив, сказал мне так: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, что ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это — саламандра».... И он меня поцеловал и дал мне несколько кватрино».

Ланитов явно расстроился, а зря. Подавив человека эрудицией, Василий Васильевич мягчал душой и максимально к нему располагался.

Лишь минуты через две Кирилл Евстафьевич снова вошел во вкус рассказа о своих возлюбленных саламандрах.

— Я утверждаю, что на земле продолжают существовать следы кремнийорганической жизни, возникшей в ту пору, когда рядом с расплавленным шаром Солнца плавал расплавленный шар Земли. С остыванием планеты погибла эта форма живого. Некоторые ученые видят в обыкновенной глине ее кладбище. Так каменный уголь — кладбище древних папоротников. Но во всяком случае, один вид древнейших существ сумел приспособиться к новым условиям на охладевшей планете. Здесь ведь продолжали существовать горячие точки — вулканы, а с появлением растительности стали случаться пожары. Но подлинным подарком вымирающему животному стали костры наших предков. Вечный, неумирающий огонь с ровной температурой был спасением для крошечного животного. Оно снова завоевало всю планету — вместе с нашими предками. Оно, быть может, играло с детьми неандертальцев, дразнило их, высывая из пламени хвост и мордочку. В течение многих тысяч лет, пока огонь передавался от одного очага к другому, саламандра процветала. Ведь еще в конце XIX века в Белоруссии, скажем, одну печку разжигали жаром из другой, и с новым огнем в старый пепел переходили семена кремнийорганической жизни.

Но люди изобрели кремь с огнивом, а там и спички, а откуда взяться семенам жизни в спичечной головке? И сейчас пишут, как о мифических, о существах, которых описывали Аристотель и Плиний, в которых не сомневались десятки крупнейших ученых прошлого. А между тем, еще есть места, благоприятные для жизни дочерей огня, есть народы, поддерживающие вечный огонь, зажженный в ту пору, когда саламандры водились повсеместно...

Он передохнул и, наверное, продолжил бы свою речь, но теперь уже я не мог удержаться от своей:

— По-моему, — сказал я, — саламандры действительно существуют. Безусловно, они и вправду представляют собой кремнийорганическую форму жизни. Но, сверх того, они еще и явно разумны. Я не сделал еще окончательного выбора между двумя гипотезами: о разумной расе времен огненной Земли и о пришельцах с раскаленной планеты в системе Тау Кита. Но та и другая гипотезы выглядят очень соблазнительно...

— Зря насмехаетесь, юноша, — Кирилл Евстафьевич стукнул кулаком по столу, — такие гипотезы уже выдвигались, и вполне серьезно. Не вы первый! Но я считаю, что научные данные не дают для них достаточно оснований. Нет, не дают. А уж для шуточек и подавно.

— Вы правы, Кирилл Евстафьевич, очень правы. А тебе придется извиниться, Илья. Веру нельзя оскорблять.

(М-да. Вот после таких-то фраз и надо бы извиняться. Конечно, перед тем, кого защищаешь).

— Ну что же, прошу прощения.

— То-то. Я бы на твоём месте поучился бы у Кирилла Евстафьевича, как сделать свою жизнь интересной. То был рядовой кандидат исторических наук... что было темой вашей диссертации?

— Я занимался историей крестьянского движения в Норвегии в XVII—XVIII веках.

— Ага! Ну вот, кому, кроме дела, это нужно. А саламандра? Всем. Чудаков любят. И не поверят, а заинтересуются. И вообще, кто будет против? Одни скептики. А они у нас уважением не пользуются.

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич, что я чудак?— обиделся гость.— Пусть так. Но помните, что сказал Горький? Чудаки украшают жизнь.

— Так-то оно так...

— И только так,— решительно сказал Ланитов.

— Ладно,— шеф пожал плечами, словно жалея о том, что немного погорячился,— я повторяю, мне интересно поработать с вами. Я считаю, что время от времени каждый режиссер, будь он трижды расхудожественным, обязан обращаться к документальному жанру.

— Где вы здесь видите документы?— фыркнул я.

— А вот это, Ильюшенька, вот это!— шеф приподнял кончиками пальцев тоненькую стопку фотографий.— Можно еще снять прекрасные кадры обсуждений и дискуссий, схемы ловушек — ведь надо же будет ловить саламандр, ну и так далее. И, кстати, сходи-ка ты, брат, к деду Филиппу, у него тоже могут быть фотографии пламени.

— Я не хочу иметь к этому фильму никакого отношения.

— Жаль. Я привык с тобой работать. И потом, дед Филипп сам по себе очень интересный человек. Сходи, не пожалеешь. Ну, для меня, Ильюшенька, ладно?

7

Старый московский дворик, дверь, нижний край которой приходился как раз на уровне земли. Кажется, здесь. Звонок.

Адрес был верным: такие голубые глаза под черными ресницами, как у открывшей мне дверь девушки, могли повториться

только у человека той же семьи. Шеф был прав: я не мог пожалеть, что пошел к деду Филиппу.

— Добрый день. И долго вы будете стоять молча?

— Я... к деду Филиппу.

Ничего более глупого я сказать не мог. Глаза девушки потемнели, лоб напрягся.

— Здесь живет мой дедушка Филипп Алексеевич Прокофьев. Я не знала, что у него есть еще внуки.

— Я не внук... Я из института. Извините, я не хотел...

— Извиняю, но надеюсь, это больше не повторится. Говоря откровенно, не могу себе представить и не хотела бы иметь вас братом. Даже двоюродным. Ладно, с этим все. Пойдемте.

Через крошечную прихожую и маленькую кухню мы проникли в небольшую комнату. Там было темновато после улицы, и я не сразу разглядел лица двух людей, сидевших за столом. Но то, что стояло на столе, буквально бросалось в глаза. Две бутылки фирменного коньяка, большая банка черной икры, лососина. Ничего себе живут тихие дряхлые лаборанты! А потом я разглядел лицо собутыльника деда Филиппа... виноват, Филиппа Алексеевича, и удивился еще больше.

Потому что узнал Тимофея Ильича Петрухина, частого гостя моего шефа — естественно ведь Великому художнику бывать у Великого режиссера.

Сейчас Петрухин был удивительно похож на свой автопортрет — кстати, самую любимую мною из его картин. Помню, как на его выставке я раз шесть возвращался к «автопортрету», снова и снова вглядываясь во вздутые яростью губы и усталый подбородок, в безжалостную сеть морщинок.

Я не только смотрел. Я спрашивал себя, как осмелился художник так передать самого себя, так бесстрашно отдать на суд всем желающим свои ошибки и даже пороки. С картины смотрел человек, бывавший в своей жизни и лицемером, и трусом. И в то же время сам факт, что такой автопортрет был написан и выставлен, служил лучшим оправданием для человека, осужденного самим собой, был свидетельством его откровенности и мужества.

— Ба, знакомые все лица,— засмеялся художник, грузно поднялся с кресла, цепко ухватил меня за рукав и заставил опуститься на свободный стул,— сиди, сиди, в ногах, как известно, правды нет. Сейчас выпьем, и расскажешь, зачем ты пришел к моему другу.

— Пей, парень. Лови момент, как говорят фотографы,— присоединился к нему хозяин.

— Он-то пусть выпьет, а вам обоим, может быть, хватит?— девушка сурово смотрела на Петрухина.

— Смешно. Да мы с моим другом Филей... Правильно я говорю, Филя? Еще и не столько...

Но девушка больше не слушала его. Она быстро подошла к деду, расстегнула на нем ворот рубашки, заставила встать со стула, провела к дивану, уложила.

— Не сердись, Танюша, это сейчас пройдет,— детски оправдывался старик.

— Я не хотел, Танечка, не хотел,— растерялся Петрухин, на его лице появилось жалкое выражение. Таким я его еще не видел. Впрочем, тот, кто знал знаменитый «автопортрет», мог ожидать, что лицо Петрухина бывает и таким.

Секунда — и художника не было в комнате, потом за ним хлопнула дверь из кухни в прихожую, потом заскрипела входная дверь. Я нерешительно двинулся вслед за ним, слыша сзади:

— Подождите, товарищ, не уходите, мне скоро будет лучше.

— Зачем мой дед нужен вам?— резко спросила Таня.

— Меня прислал... просил зайти к вам Василий Васильевич.

— Ах, этот. И что ему — и вам — нужно?

Заикаясь, я объяснил, что вот, у Филиппа Алексеевича, есть, говорят, большая коллекция фотографий... где снят огонь...

Не дослушав, она быстро подошла к шкафу, вынула несколько папок.

— Ищите.

И начала хлопотать возле деда: намочила водой из графина полотенце, обмотала вокруг головы, высоко подняла ему ноги, подложив под них подушки...

Я только делал вид, что копаюсь в фотографиях. На самом деле смотрел на нее. Пока... Пока среди бесчисленных фото (где и в самом деле были снимки пламени) не разглядел стопку самодельных цветных фоторепродукций с известных картин. Только репродукций ли? Все картины выглядели непривычно. Иногда фотограф снимал только часть картины, но при этом его явно увлекало не само по себе желание дать фрагмент, кусочек. Он хотел, видимо, посмотреть, что получилось бы, если бы художник решил написать только это.

Иногда фотограф изменял цветовой фон, а иногда — и всю тональность изображения... И было в этих странных снимках нечто, исключавшее даже мысль о том, что перед тобой просто фокусничество...

— Вас, кажется, интересовал огонь? Пламя, костры, домны, факелы?— девушка стояла рядом со мной.— Что молчите? Стес-

няетесь? Хоть бы представились, что ли, а то врываетесь в незна-
номый дом, копаетесь в чужих архивах, все переворачиваете вверх
дном, кого потом ругать?

Уф, кажется, она все-таки шутит.

— Илья я... Беленький.

— Ну если у вас беленькие такие, то хотела бы я посмотреть
на ваших черненьких. Да ладно, ладно, не бойтесь вы меня так,
я в глубине души добрая.

На диване зашевелился Филипп Алексеевич.

— Да не трави ты его, Танюша. Сначала прояви фото, а потом
уж выбрасывай.

— А, ожил, дед! Даже острить начал.

Филипп Алексеевич сел на диване, взгляделся в меня.

— Включи-ка свет, Танюха. Темновато.

И продолжал рассматривать меня. Спокойно, беззастенчиво,
но как-то необходимо. Может быть, потому, что во взгляде чув-
ствовалась глубокая и серьезная заинтересованность. Я отвел гла-
за, растерянno перевел их на фото, потом на Таню...

— Таня, мой аппарат.

— Господи, и его потянешь на свое эшафот?

— Смотри-ка. Тоже острить стала. Потяну, потяну.

— Не давайте вы ему, беленький-черненький. Он ведь у нас
большой экспериментатор.

Она говорила шутливо и смотрела на деда любовно, но какая-
то тревога слышалась мне в ее голосе.

— Ничего, не сопротивляйтесь, товарищ Беленький,— старик
поправил полотенце на голове, капризно крикнул:— Дала бы чем
руки вытереть.

Потом начал командовать с дивана, усаживая меня для съемки.

— Левее... Правее... Нос выше... Правое ухо ниже... Сделали,
Отбросьте все выражения... и не смотрите на Таню, у вас от этого
сразу лицо делается чересчур выразительным.

Положительно, в этом доме я позволял всем над собой изде-
ваться, не оказывая ни малейшего сопротивления. Мало того, мне
и не хотелось оказывать сопротивление.

Он сделал добрых десятка два кадров, все время заставляя
меня менять положение.

— Какое у вас, знаете ли, уважаемый товарищ, многообещаю-
щее лицо. Терпите, молодой человек, выдержка коротка, а фото
вечно. Вы мне годитесь, я чувствую. У каждого фотографа есть
свой отдел кадров и занимается он именно кадрами. Анкета че-
ловека написана у него на лице, только не все умеют разобрать
почерк...

— Портрет Дориана Грея?— осмелился вставить я.

— О, да он умеет говорить,— удивилась Таня.

— Да-да, портрет Дориана Грея, вы совершенно правы. Лицо человека—его биография. Но на фотографии он может выглядеть старше, чем на самом деле, правда?

— Бывает.

— А что значит «старше»? Лицо темнее, глаза меньше, лоб собран в морщины? Да-да, и только-то? Хо-хо, уважаемый товарищ, я вам еще покажу, каким вы будете. А могу — и каким вы были. Только это неинтересно. Вам же важнее, чего в вас не хватает. Хотите, и это покажу?

— Разболтался, дедушка,— прикрикнула Таня, подошла к старику, быстро и как-то умело отобрала аппарат, и снова уложила деда. А тот посмеивался.

— Сфотографировать-то его как ты мне, больному, позволила? Ведь я ушам не поверил, что твоего возмущения не слышу. Самой интересно, да-да. Я же говорю, что умею заглядывать в будущее.

— Положили тебя — и спи,— прикрикнула Таня.— А я провожу гостя.

Она убрала бутылки в шкаф, демонстративно заперла дверцы, спрятала ключ в сумочку, вынула из той же сумочки зеркальце, быстро заглянула в него и сразу положила обратно. А потом бесцеремонно взяла меня под руку, и неслышно закрылась за нами дверь на кухню, хлопнула дверь из кухни в прихожую, проскрипела что-то и защелкнулась сзади дверь во дворик. Низкий прямоугольник арки пропустил нас на улицу.

— Дед теперь будет спать часов шесть,— деловито сказала Таня.— В институт я сегодня не пойду, не то настроение. Ты куда-нибудь торопишься?

— Что ты!— испуганно произнес я.

Это вырвалось у меня так стремительно и искренне, что она засмеялась. А между тем, мне как раз и следовало торопиться. И еще как следовало. Прежде всего, надо было бы вернуться в ее квартиру — хоть за теми фотографиями огня, которые я успел отобрать. Потом надо было поехать с ними к шефу. Потом мы должны были с ним отправиться на студию, там шла работа над его фильмом по его сценарию с моим участием. (В титрах так и напишут: с участием И. Беленького. Мама очень радовалась.)

Но я сказал: «Что ты!»

И узнал, какая маленькая Москва: я мог бы ее обнять.

И узнал, какая длинная жизнь: ведь таких вечеров в нее могло вместиться несколько тысяч.

Во дворике, у обитой черным дерматином двери, она подняла ко мне лицо и спросила:

— Завтра?

— Конечно.

— У метро, в восемнадцать тридцать. А теперь уходи, не то дед опять тобой займется. А ему это сейчас вредно.

И я ушел.

8

В двадцать часов я не выдержал и пошел к ней домой. Тем более, что фотографии все-таки надо было взять. И потом — о каком неудобстве чего бы то ни было могла идти речь после вчерашних разговоров?

Филипп Алексеевич был дома один и очень мне обрадовался. Хотя был занят делом (правда, довольно странным), и за все время нашего разговора ни разу от этого дела полностью не отошелся.

— За фотографиями, говоришь, пришел? Молодец. А я-то, сознаюсь, думал, закружила тебя моя Танюха. Но вот ты здесь, а ее нет. Знала бы она. Молодец ты. Вырвался! (Он считал, что я вырвался!)

Филипп Алексеевич продолжал:

— Да ты посиди, отдохни, устал ведь. Держись, в проявителе — серебро, в выдержке — золото.

Тут я понял, что необходимо сохранить самообладание, а вежливость обязывает меня спросить все-таки, чем он сейчас занимается. А занимался Филипп Алексеевич тем, что смотрел на развешанные на стене картины (кстати, вчера их здесь не было) и что-то быстро-быстро писал в общую тетрадь, лежавшую перед ним.

— Что я делаю? Да вот, поверяю алгеброй гармонию, уважаемый товарищ. Видишь, вот она, алгебра, — он чуть подвинул ко мне тетрадь — полразворота было уже покрыто мелкими цифирками и буквами — и тут же потянул ее обратно и продолжил свою работу, приговаривая:

— Не обижайся, отрывать не хочу. А беседовать с тобой могу, дело у меня сейчас чисто механическое, мыслей к себе не требует.

— Алгебру-то я вижу, — сказал я (голова у меня еще кружилась, но край стола уже можно было отпустить), а как насчет гармонии? — я махнул рукой на картины. — Только вот правый натюрморт, пожалуй, привлекает чем-то.

— Да, изображения не ахти, — охотно согласился Филипп Алексеевич, — но тем интереснее понять, что в них не ахти. Есть у меня такое любительское желание, уважаемый товарищ. Да-да, и насчет правой картины ты тоже прав, ее написал талант. Большой талант даже. Только не доработал. Все суета, суета, томление духа, крушение тела. А дорабатывать-то обязательно надо, товарищ Беленький. В доработке все дело, в последнем мазке, в последнем штрихе.

Расфилософствовался старик.

— Так, я пошел, Филипп Алексеевич.

— погоди, а фотографии-то? Ты ж говорил, что за ними явился. Так уж будь добр, держись этой версии. Возьми со шкафчика пакет, там они. Пока.

Я вышел. Дворик. Арка. Улица. Метро. Ночь. Бессоница. Утро. Телефонный звонок.

— Я забежала к подруге, заговорила. Ты уж извини. Если хочешь, сегодня вечером встретимся.

Теперь я мог спокойно ехать к шефу.

9

Ланитов опять был у Василия Васильевича! Это, в конце концов, становилось однообразным. Что находит шеф в этом человеке? В лучшем случае Ланитов маньяк, в худшем — мошенник. Или наоборот. А я из-за него езжу за какими-то photographиями, знакомлюсь со взбалмошными девицами. Да не из-за него, конечно, а из-за Василия Васильевича. Тем хуже!

Я почти швырнул им на стол пакет. Шеф пододвинул пакет к Ланитову, тот дрожащими руками вскрыл его, рассыпал по столу фотографии.

Да, старик умел работать. Из этих кадров можно было собрать целый фильм про огонь, и смотреть такой фильм было бы интересно без всяких выдумок о саламандрах.

Ланитова нельзя было узнать. На его лице была написана неистовая жадность. Он не знал, на какую фотографию смотреть, он боялся вглядываться, тратить на это время, когда следующее фото могло оказаться прямым доказательством. Нет, мошенником он не был. Я смотрел на него, а Василий Васильевич смотрел на меня. Спокойно, изучающе.

— Вот, вот, смотрите, — выкрикнул историк, торопливо отодвинул на ближайший к Василию Васильевичу край стола два снимка и снова зарылся в груды фотографий.

Я придвинул к столу кресло и сел. Да, эти языки пламени вправду напоминали какое-то живое существо. Один за другим передавал Кирилл Евстафьевич нам все новые и новые кадры.

— Ваш Прокофьев просто гений,— бормотал гость, снова и снова перебирая то, что он считал свидетельствами своей правоты.— Нет, вы посмотрите, посмотрите,— теперь Ланитов почти кричал.— Да нет, не на сами изображения, поглядите на подписи. Там же указаны места, где Прокофьев снимал. Пять из них — географически очень близки друг к другу. Вот он, район, где еще обитают саламандры. Теперь мы знаем, куда должна ехать первая экспедиция. Здесь мы найдем огненного зверя!

— Рад за вас, Кирилл Евстафьевич,— мягко сказал шеф,— но позвольте мне вам этого не пожелать.

— То есть как?!

— Не обижайтесь. То, что я сейчас скажу, скорее предназначено для этого молодого человека, а не для вас. Как-то я спросил у крупного астронома, как он относится к шумихе вокруг «Тунгусского метеорита». (Знал, что он не верит ни в атомный взрыв, ни в космический корабль). А он засмеялся и ответил: «Очень положительно». Его, оказывается, радовало, что профаны лезут в науку. Науки от того не убудет, сказал он, а вот профанов станет меньше, часть их превратится в ученых. Загадка — приводной ремень, соединяющий романтику и науку. Причем для того, чтобы ремень работал как следует, загадка должна достаточно долго оставаться неразрешенной. Я подумал и решил, что астроном прав. Представьте-ка себе, что снежного человека поймали 15 лет назад. Кому бы он нынче был интересен, кроме антропологов? А теперь, ненайденный, он занимает всех, кроме тех же антропологов, правда. Выдержавшие проверку гипотезы обрастают скучнейшими деталями и непонятными для большинства тонкостями и терминами. Реальные древние Шумер и Египет волнуют куда меньше, чем нереальная Атлантида, конечно, всех, кроме историков. И это очень хорошо, поверьте. Людям нужна, кроме всего прочего, пища для мыслей и разговоров, никак не связанных с их повседневной жизнью. О чем бы мы говорили с гостями, если бы не было разумных дельфинов, пришельцев из космоса и телепатии? Спасибо вам, Кирилл Евстафьевич, что вы хотите удлинить этот коротковатый список своими саламандрами. А откроете вы их вправду — и что? Вы станете доктором наук, появится новая область биологии, — и через год после открытия оно будет интересовать тысячи четыре человек на всем земном шаре. А сейчас я горжусь тем, что помогу вам заинтересовать саламандрами добрых полтора миллиарда народу. Ясно? И тебе, Илюша, тоже ясно?

— Эта точка зрения для меня совершенно нова...— пробормотал я.— Но, пожалуй, вы в чем-то правы...

— Прекрасно. Ты будешь писать сценарий, я верно тебя понял?

— Да.

Ланитов героически сохранял молчание на протяжении всего монолога шефа и нашего с ним краткого обмена мнениями, хотя дрожавшие щеки и часто мигавшие глаза ясно показывали, как трудно дается энтузиасту это молчание. Теперь он высказался:

— А все-таки она вертится!

Мне надо было садиться за сценарий. Ведь до вечера было еще далеко.

10

Мудрый Василий Васильевич только кивал понимающе, когда я с опозданием приносил свои куски нашего сценария. Его не смутило даже то, что я нахально переименовал героиню этого сценария в Татьяну. Но когда я неделю не ходил ни к нему, ни в институт, он возмутился.

— Как вы смеете!— гремел он, переходя в пылу гнева на вы.— Как вы смеете! Я вас жду— ну бог со мной, я вам друг, а друзья для того и созданы, чтобы портить им жизнь. Но имейте уважение к композитору. К директору студии. К артистам. К государственным планам, наконец,— голос его упал.— И вообще, я не понимаю, чего от вас хочет ваша девушка. Она в результате выйдет замуж за двадцатилетнего сердечника.

— Не выйдет, Василий Васильевич, она и на свидания-то через раз ходит.

— А ты каждый раз приходишь, вот и результат. Еще одного такого месяца ты просто не выдержишь. И я тоже, пожалуй. Слушай, мальчишка, ты понимаешь, что ты — мой последний, наверно, друг? Мой наследник. В мыслях я называю тебя именно так. Я уйду, ты останешься, а уйду я скоро и спешу передать тебе то, что знаю, все, что могу. Ты сможешь больше, я хочу стать трамплином, с которого ты рванешь. И я буду счастлив. Я сейчас работаю не над фильмом — над тобой. И какая-то девчонка срывает все... Дай, пожалуйста, нитроглицерин, он в нагрудном карманчике пиджака... Ну вот. Уже лучше. Вот бы для всех болезней нашлись такие лекарства. Кажется, сейчас кончишься, боль адская, а сунул микроскопическую таблетку под язык — и все в порядке. Учти — с несчастной любовью часто бывает так же — все проходит. Только без помощи таблеток.

— Попробую справиться,— сказал я,— не с ней, так с собой.

Я был тронут его признанием, жаль только, что он принимает меня за талант. Бездарность годится в наследники, но не в приемники.

Зазвонил телефон. Василий Васильевич взял трубку.

— Тебя,— сказал он горестно.

Это была она.

— Немедленно приезжай. Деду плохо, с ним надо посидеть, а я должна уйти.

Когда я положил гудевшую трубку и посмотрел растерянно на Василия Васильевича, передо мною снова был стареющий титан с расправленными плечами.

— Ладно, мальчик, действуй. Я подожду. Больше всех ждут те, кому некогда.

11

— Что-то похудел ты,— неодобрительно сказала Таня, встречая меня в прихожей.— Поешь, я на столе оставила. Деду вставать не давай; через два часа покорми его, дашь лекарства, я написала что где, бумажку увидишь.

— А ты куда?

— Не все же мне с тобой и от тебя бегать, надо когда-нибудь и экзамены сдавать.

— Но сессия...

— Давно кончилась? Даже каникулы с тех пор прошли. Только не для меня. Хвостистка я, дружок. Не заступись Петрухин,— ну, тот художник,— в деканате, только бы я институт и видела.

Она чмокнула меня в щеку — и хлопнула одна дверь, заскрипела, а потом щелкнула замком другая.

Я прошел в комнату. На столе лежал лист бумаги. Там было, действительно, подробно расписано, что есть мне, а что и когда есть и глотать деду Филиппу. Тот сейчас спал на своем диване, но было видно, что ему нехорошо. Рыжие усики прилипли к влажному, даже на взгляд горячему лицу.

Кроме этого расписания лист вмещал в себя еще и несколько распоряжений, относящихся к каким-то Прасковье Даниловне и Александре Матвеевне. Одной я должен был передать пакет, другой сверток (просьба не перепутать).

Чтобы не тревожить сон старика, вышел на кухню, присел на табуретку. Как мне все-таки быть с Василием Васильевичем? Что можно сделать, чтобы он так не переживал?

О том, что делать с Таней, не думалось. И так было ясно: делать будет она, она одна.

Сорвался с места — открыть дверь на негромкий звонок.

Старушка. Наверное, соседка. Шепотом:

— Я Прасковья Даниловна. Что Татьяна Дмитриевна, дома?

— Нет, Прасковья Даниловна. Вы садитесь, а я сейчас вынесу, что вам Таня оставила.

Старушка послушно села. Я вынес сверток, она приняла его на колени, но вставать и уходить не торопилась. Мерно хлопали седые ресницы, обрамлявшие большие выцветшие глаза, беспрерывно шевелились бледные сухие губы. Я было отключился, но потом уловил имя Тани, прислушался.

— Молодежь-то сейчас пошла, сынок, ненадежная. Особо — женщины. Со своим ребенком года не посидит, даже ежели муж кредитный, в ясли норовит, да еще на пятidineвку. Свободы хотят все. А потом и получают, да не рады. А Таня и с чужим, как со своим. Моя дочка на работу только устроилась, ей бюллетень по-зарез нельзя было брать, а я тогда тоже на ладан дышала. Сколько раз она нас выручала — это же подсчитать невозможно. И коли обещает — полумертвая, а придет. Такой человек надежный. Ну, я пойду пожалуй, отдохнула малость. Мне ведь через весь город к себе ехать. И Таня к нам так ездила.

Щелкнула дверь за ней, и почти сразу — новый звонок. Думал, придется идти за вторым оставленным Таней пакетом, но нет. За дверью оказался Петрухин. Художник был сам на себя не похож — взъерошенный, растрепанный, без своего знаменитого по всей художественной Москве лилового берета, глаза такие, будто сейчас заплачут. Под мышкой какой-то холст трубкой. Он поздоровался, но боюсь, на этот раз не узнал меня, что-то слишком тревожило его, чтобы он мог заниматься случайными молодыми людьми. Он проскочил мимо меня на кухню, а оттуда в комнату, прежде, чем я успел его остановить. Я кинулся за ним — поздно. Филипп Алексеевич уже проснулся и теперь полусидел в подушках. Дед слабо кивнул мне головой:

— Выйди, милый, поговорить нам с другом надо.

Я вышел на кухню. И тут же услышал, как поворачивается ключ в замке — это могла быть только Таня.

Вошла, подошла ко мне, прижалась холодной щекой к подбородку, и тут же отстранилась, подняла палец к губам, шепотом спросила — кто там? — сквозь дверь из комнаты доносились голоса.

— Петрухин, — шепотом ответил я. — Странная дружба у них, правда?..

Таня усмехнулась:

— Что, думаешь, за пара: художник с фотографом, знаменитость с неудачником? Что же, давай-ка послушаем их,— нетерпеливым жестом она заставила меня сесть на стул, устроилась рядом на табурете.

— Неудобно... подслушивать,— попытался я сопротивляться.

— Я не знаю точно, в чем дело,— тихо сказала она,— но догадываюсь. Хочу, чтоб и ты попробовал понять.

Мы замолчали. А из-за двери до нас отчетливо доносился свирепый шепот Петрухина:

— Ты знаешь, я им уже показывал эту картину. Забраковали. Я сказал, что у меня есть другой вариант. Все сроки для сдачи работ на выставку прошли, но для меня сделали исключение. Обещали ждать два дня. Я же знаю, ты еще позавчера бегал по мастерским, забирал у молодых работы, которые им не нравятся. Даже на Даниловском ты был, тебя моя жена там видела. А сегодня, когда для меня нужно, так ты болен. Тебе это час работы, в конце концов!

— Неужели я бы не сделал этого для тебя?— голос Филиппа Алексеевича был слаб.— Да вот голова раскалывается, сердце распухло, лезет в стороны. Точно мяч. Кто только его надувает? Той диафрагме, что в груди, размеры не задашь.

Голос больного старика жалобно шелестел, прорываясь сквозь фанерную дверь и ветхую стенку. Я вскочил, чтобы выгнать Петрухина, но Танина рука быстро ухватила меня за плечо и усадила на место. И я снова слушал истерически страстный монолог Великого Художника.

— От этого очень многое зависит, поверь. Иначе — стал бы я просить! Что Петрухину одна лишняя картина, одна лишняя выставка? Но я уже стар, мне нельзя сойти с дистанции даже на один круг, никто не должен подумать, что я задыхаюсь, сбился с ноги, потерял темп. Ни шагу назад, ни шагу на месте — ты же знаешь мой лозунг. И ведь я уже почти все сделал, но закончить без тебя не могу. Ты сам виноват, ты отравил меня, ты приучил меня, а теперь меня бросаешь. Как ты только можешь! Я вложил сюда кровь сердца, страсть души, а тебе только подсчитать, только логарифмической линейкой поработать. Чуть-чуть, совсем мало, уверяю тебя, здесь совсем немногого не хватает, это за многие годы моя лучшая работа. Недаром я хотел было обойтись без тебя, да и обошелся бы, члены комиссии почти все были «за», только председатель что-то стал говорить, дескать, я уклонился от своего обычного стиля, дескать, предыдущая моя работа —

помнишь старика с воробьями? — признана критиками одной из лучших картин года, а вот с этой такого не случится, и жаль... Я сам забрал картину! Я не могу оказаться ниже того, чего уже достиг. Ну, заставь внучку тебе помочь, раз болен. Я же, ты в курсе, не силен в математике. Кстати, Таня ведь, конечно, не знает?

— Боюсь, догадывается, Тима. Боюсь...

— Да... Тогда лучше уж сам это сделай. Нечего ей догадываться. Плохо сделал, Филя, что дал догадаться. Конечно, квартира маленькая, одному остаться негде... Вот обещаю тебе, сдам эту картину — всерьез возьмусь за твои жилищные дела. Может быть, удастся как-нибудь протолкнуть через Союз художников. Ты, правда, не член Союза и не примут тебя, наверное, но все-таки наш же человек, правда? Это, конечно, не имеет отношения к мозей сегодняшней просьбе. Квартирой я тебя только по дружбе обеспечу, но, умоляю, сделай и ты, выручи, ты обязан, в конце концов, я вошел в твой эксперимент, я отдал тебе частицу моего таланта, а теперь ты меня бросаешь... Нет, Танюшу привлекать не надо, она поймет... И неправильно поймет, но это ведь твой долг, мое право, наше общее дело ведь...

Таня схватила меня за руку и вместе со мной рванулась в комнату.

— Оставьте его в покое. Как вам не стыдно, пришли к старому больному человеку и кричите на него, требуете!

— Я же старше его, Таня, мы вместе с ним учились, ты знаешь, и я, наверное, больше, ну, не здоровее его. И вообще, ты еще маленькая, Танюша, выйди (меня он словно не замечал), у нас взрослый разговор, ты не знаешь наших дел.

— Выйди, Танюша, — жалобно попросил дед.

— Нет! Вы придете завтра, после двух. До этого у нас побывает врач. Если дедушке нужен всего час, чтобы что-то там для вас сделать — я слышала краем уха — и врач разрешит ему отдать на это час — прекрасно. А нет — так нет. До свидания, Тимофей Ильич, — Таня мягко взяла Петрухина за рукав (куда мягче, чем меня минуту назад) и повела за собой через кухню и прихожую. Щелкнул замок.

Она вернулась, быстро и умело накормила деда — сначала лекарствами, потом обедом, уложила спать, вывела меня на кухню, разлила по тарелкам суп.

— Танюша,— мне самому был противен собственный заискивающий голос,— я что-то ничего не понимаю. Совсем ничего. Чего хочет Петрухин — великий Петрухин, он живой классик все-таки,— от твоего деда? Что тот должен для него сделать? Что можно подсчитывать в картине?

Таня продолжала есть, как будто не обращая внимания на мои вопросы. Лишь через минуту она заговорила. И сказала вот что.— Слушай-ка, Илья. Хочешь глянуть на себя? Дед позавчера, когда ему было неплохо, проявил твои фотографии. А тот разговор пока отложим.

— А, фото!— я (довольно неестественно, кажется) оживился.— Те снимки из будущего, да?

— Смеешься? Прекрасно!

Таня порывисто встала, взяла с тумбочки конверт, вынула оттуда пачку фотографий, отвернувшись от меня, стала их разглядывать. Я ждал.

— Вот первая.

Клянусь аллахом! Это был не я. Вместо привычной по другим фото губастой, глазастой и, боюсь, немного нагловатой физиономии на меня смотрело твердое, даже властное, пожалуй, лицо. Лицо уверенного в себе и привыкшего к этой уверенности сорокалетнего, по меньшей мере, мужчины. Он был и красивее меня, хоть старше, и характер у него был совсем другой. Нет, таким мне не стать. Ничего у нас общего... А брови? А складка между ними? А необычно глубокая, только моя, ямочка на подбородке? И вот этот, еле видный в полутени шрам почти у уха — я получил его в пятнадцать лет (колол дрова, отлетела щепка). Значит, дед Филипп все-таки действительно имел в виду меня. Но куда делись мои почти негритянские губы? Здесь они полные, но ничего выдающегося. Глаза ушли глубоко под брови, кажутся меньше — или действительно стали меньше? Да нет же! Дед Филипп сделал их меньше. Сделал! Тут важен термин, а то я стал думать о фотографии в таких выражениях, будто ее и вправду доставили из будущего.

— Налюбовался? А теперь посмотри другой вариант, похуже.

Тут меня было гораздо больше. И губы наличествовали в полной мере, и глаза были чуть ли не на выкате. Но губы эти были неприятно расслаблены, глаза — напуганные, лицо расплылось, обрюзгло, лоб, на первой фотографии уже заставивший волосы сильно отступить назад, здесь продвинулся много выше. Нос показался

мне слегка набухшим. Уж не увидели ли во мне будущего алкоголика?

— Ну, знаешь, эти шуточки меня не трогают. Тут только техника дела интересна... Хотя он же положил ретушь тут и тут, и еще, а есть, наверное, места, где ретушь совсем незаметна.

— Да, он кладет ретушь, но уж это, поверь, именно техника. Главное в другом. Вот, сам посмотри, дорожки к этим снимкам.

Две серии по шесть фотографий в каждой демонстрировали мой жизненный путь в ближайшие два десятка лет. Одна серия вела почти к безгубому Илье Беленькому, другая — к еще более губастому, чем сейчас.

— Твой дед что, изобрел машину времени?— спросил я. И честное слово, спросить-то я хотел иронически, но ирония куда-то испарилась сама собой.

— Можно сказать и так. Только машина здесь не при чем. Деду дано... Понимаешь, он видит, чего человеку не хватает. Знаешь, где он когда-то в молодости работал? В доме моделей. К нему приводили женщин в новых платьях, пальто, он смотрел и говорил, что надо убрать или прибавить, чтоб лучше смотрелось. Он делает чудеса, ты не поверишь. Неделю назад, когда я захотела быть красивой... Ты меня уже любил тогда, и то был потрясен. Ты должен помнить. И не надо комплиментов. У деда чутье на незавершенность. Только вот себя он не смог завершить. Бедный дед,— губы Тани шевелились у самого моего уха,— он столько мог бы, а вот неудачник... Ты, наверное, пытаешься гадать, чего хотел и чего хочет от этого неудачника великий Петрухин? Я и сама не понимаю, во всяком случае до конца... Ты наелся?

— Да.

— Приходи послезавтра. Я очень хочу, чтоб ты пришел. Часов в шесть вечера.

Очень хотелось спросить, застану ли я ее послезавтра дома, но в конце концов решил, что лучше расстроиться послезавтра, чем сейчас.

13

На этот раз Ланитов ждал меня дома. Сидели они с моей мамой друг против друга и чинно разговаривали над стынувшим кофе.

— Простите за неожиданный визит,— сказал Кирилл Евстафьевич, пряча мою руку в свою огромную мягкую ладонь,— но я получил сегодня письма, которые должны пригодиться вам в работе. Вот они.— Он положил на стол два конверта. Я взял один из них. Тонкий с изящным рисунком водяных знаков, с обратным

адресом на английском языке, из которого следовало, что пришло письмо из-за границы — из Института неофициальной науки.

— Вот перевод, если вы несколько... слабы в языке.

Ланитов извлек из кармана пиджака вчетверо сложенный лист бумаги.

Институт неофициальной науки в восторженных выражениях приветствовал мистера Ланитова, об открытии которого узнал из статьи в советском молодежном журнале, и сообщал о перепечатке этой статьи двумя шведскими ежемесячниками.

Содержимое второго конверта оказалось гораздо интереснее. Оно включало в себя протокол, подписанный четырнадцатью жителями небольшого города в Западной Сибири. В предисловии к протоколу сообщалось, что неподалеку от города под землей горит бурый уголь. По мнению геологов (трое из четырнадцати были как раз геологами), пожар продолжается уже несколько сотен лет. Краеведы (двое из четырнадцати) отмечали, что в их местах ходит много сказок и легенд о зверьках из огня, которых здесь зовут не саламандрами, а просто ящерками... И все четырнадцать вместе, уже в протоколе, констатировали, что пятнадцатого мая этого года они видели в огне костра двух саламандр. Преподаватель биологии (один из четырнадцати) присовокупил к протоколу лист со своими размышлениями о продолжительности жизни саламандр и механизме продолжения рода у них. А преподаватель истории (один из четырнадцати) делился сведениями о саламандрах, почерпнутыми из древних восточных книг, а также — на всякий случай — сообщал, что явление саламандр состоялось прежде, чем пикник как следует развернулся, и можно ручаться за ясность голов наблюдателей.

Я читал письмо, пытаюсь разобраться, что это — мистификация или результат галлюцинации. Еще мгновение — и я задал бы этот вопрос самому Ланитову, щадить его я не собирался, что бы ни говорил о его идее шеф. Но тут я вспомнил о другом протоколе. Лет двести назад его составили и подписали члены муниципалитета одного французского города, наблюдавшие падение метеорита. Точно зная, что небесной тверди нет и камни поэтому падать с неба не могут, великий Лавуазье горько сожалел по поводу этого протокола о невежестве французов. А что, если?..

— Спасибо, — сказал я, — пригодится.

Кирилл Евстрафьевич улыбнулся так широко, как только мог, попрощался и ушел.

— Какой умный человек! — восхищенно сказала мама, — я, конечно, ничего не понимаю в биологии, но в его саламандру хочется верить. Неужели такой даровитый мужчина старается зря? Вот жалко было бы. А ученым, по-моему, только полезно, если с ними

кто-то не соглашается. Пусть знают, что можно думать и иначе, чем они.

— Ладно. Постараюсь довести это до сведения ученых.

14

Таня была дома! И ждала меня. Но не было дома нашего больного. Таня зло сунула мне записку, оставленную им на столе.

«Танюха, мне стало много лучше. И я понял, что жизнь-то кончается. А так и не проверено главное дело моей жизни. Ты должна догадываться, какое. Петрухину передай листок с цифрами — авось он в нем как-нибудь и без меня разберется. А я двинулся в путь. В предпоследний путь. Хочу знать, прав ли я. Вернусь недели через две. Оставляю для института заявление об отпуске. А надо бы, верно, о пенсии — все равно уже скоро конец. Не разыскивай меня, пожалуйста, не то выгонят тебя из твоего института. А из вуза, все-таки, красивее уходить самому (как я когда-то). Из дома и жизни — тоже. Но тут уж я шучу. Пока».

— Вокзалы или аэропорты? — спросил я.

— Один вокзал. Тетя Тося из соседней квартиры видела его на Павелецком. Я догадываюсь, куда он поехал. Он ведь родился в Баташове, на Волге. Знаешь?

— Знаю. Один большой завод, несколько средних, много мелких фабрик. Хороший театр, неплохой музей. Я был там в прошлом году — ездили экскурсией на теплоходе по Волге.

— Отлично. Мы туда едем.

— Я сам хотел тебе это предложить. Только надо мне забежать к Василию Васильевичу — за деньгами.

— Не надо. Я уже заняла у соседей. И вообще... вряд ли бы деду понравилось, что его ищут на деньги твоего шефа.

— Но как же... у меня нет своих денег.

— Не волнуйся. У мужа и жены по советским законам все общее. Поехали.

Сказала — и отвернулась.

Я только рот разинул. Потом повернул ее к себе.

— Не надо делать слишком далеко идущих выводов. Я — как дед — предложила тебе один из возможных вариантов будущего.

...Я снова шел по потрескавшемуся асфальту центральных улиц города и куда более красивому песочку остальных. Как и в тот раз, на остановках автобусов выстраивались длинные очереди ожидающих. Большинство тратило — я это выяснил точно — двадцать-тридцать минут на ожидание, чтобы потом проехать километр — полтора. В Москве такие расстояния проходят пешком. Наверное,

в Баташове автобусы все еще были для многих не столько средством передвижения, сколько аттракционом.

— Куда идти?— спросил я Таню.

— Зачем спрашивать? Веду же я тебя.

Мы подошли к большому забору, за которым открывался маленький домик и средних размеров сад. Таня нажала на кнопку укрепленного у калитки звонка.

Полная пожилая женщина открыла нам, расплываясь довольной улыбкой. Таня быстро расцеловала ее, сказала:— Знакомьтесь, мой жених,— спросила:— Где дед?

— Здесь, здесь, где же еще, где ему в Баташове быть, как не у родной сестры.

— Ну вот и отлично. Где он сейчас?

— Да прогуляться пошел, обещал к четырем часам быть.

— Чувствует себя как?

— Говорит, прекрасно. Радовался, что ничего на нашей улице не изменилось. Фотографы, шутил, приходят и уходят, а фотографии остаются. Да вы садитесь пока здесь, молодые люди. Октябрь уже, а погода у нас — как в августе. Сейчас молочка вынесу, не от своей коровы, от соседской, а все не чета магазинному.

Она хлопотала вокруг нас, угощала, осторожно расспрашивала. Но теперь, когда можно было не беспокоиться о деде Филиппе, меня тревожил Василий Васильевич. Надо все-таки ему сообщить, в чем дело, чтобы зря не расстраивался из-за моего исчезновения.

— Пожалуй, схожу на почту,— нерешительно поднялся я.— Таня, проводишь?

— Да, а что тебе нужно на почте?

— Дам телеграмму Василь Васильевичу.

— Аннушкину?— радостно удивилась Танина тетя.

— Вы его знаете?— в свою очередь удивился я.

— Кто же его в городе не знает! У нас из города один маршал вышел, один физик-академик, два писателя да Василий Васильевич. Ну, из подгородных еще Петрухин Тимофей Ильич. Только тот пожиже будет, верно ведь? Ну идите, идите, тут недалеко.

— А ты знала, что твой дед и мой шеф земляки?— спросил я по дороге.

— Слышала,— как-то неохотно ответила Таня.

— А я — нет. И Петрухин, хоть бывал у Василь Васильевича, никогда Баташов не поминал.

— Может, ему неприятно.

— Да, может быть, детство было трудное. Ага, вот и почта.

Я взял бланк и, не задумываясь особенно, заполнил его.

«Выехал Баташов просьбе жены связи неожиданным отъездом туда ее деда Филиппа Прокофьева. Вторнику вернусь. Илья.»

Мы вышли с почты.

— Показать тебе мой городок?—спросила Таня.— До четырех мы многое успеем посмотреть...

К тетушке мы вернулись только около половины пятого. Деда не было. Не было его и в семь, и в десять.

— К знакомому зашел какому-нибудь, выпили с приездом, вот и вся оказия,— успокаивала Таню тетя.— Воскресенье же.

Но когда дед не появился и к одиннадцати, она сдалась, повязала платочек и вместе с нами двинулась в обход ближней и дальней родни, включая сватьев и кумовьев.

В два часа ночи мы вернулись. Филиппа Алексеевича не оказалось ни в одном из сколько-нибудь «подозрительных» мест. Не пришел он и утром.

В понедельник была поднята на ноги милиция.

Вторник не принес ничего нового.

Кроме телеграммы от Василия Васильевича, которая предлагала мне встречать на завтра утренний московский поезд.

15

— Ну ладно,— брюзгливо сказал мой шеф, выходя из дома Таниной двоюродной бабки,— здесь он был два дня назад. Но где он сейчас? Придется идти в угрозыск. Я бы предложил тебе, Илюша, взять это на себя, но ты скажешь, что для угрозыска я авторитетнее. Верно?

— Верно. Тем более, что я там уже был.

— Прекрасно. Пойдем вместе.

Капитан милиции оказался страстным поклонником кино, поэтому розыски немедленно интенсифицировались. Капитан заново начал проверять городские больницы, вокзал, рынок — по телефону, коротко передавая своим подчиненным главные приметы Филиппа Алексеевича Прокофьева. Кончал он каждый разговор одной и той же фразой:

— Должен быть на твоем участке. Я на тебя полагаюсь.

• • •

Мы вышли снова на улицу. И тут же наткнулись на какого-то друга детства Василь Васильевича. Некоторое время они, охая больше от напряжения, чем от боли, лупили один другого по плечам, потом друг детства радостно сообщил, что Филю-художника тоже на днях видел.

— Где?— одновременно воскликнули мы с шефом.

Друг детства подозрительно посмотрел на меня, словно впервые заметив, а потом ответил — конечно, шефу:

— Где ж художника увидеть, как не в картинной галерее, или хоть по пути в нее? Он туда в воскресенье днем шел, поговорили с ним, ну, я торопился, он торопился. Сказал, что у него в галерее дела.

— В нашей галерее?— Василий Васильевич был очень удивлен.— Или туда за последнее время поступило что-то ценное?

— Да нет, Васенька,— друг детства мягко улыбнулся.— Художников из Баташова вышло немало, да все, понимаешь, живы. Вот в завещании-то наверняка родину вспомнят, тогда и обновимся. И выставок к нам давно не привозили.

— Ну, если Филипп был в галерее, там его запомнили. Даже если он не представлялся. Там каждый посетитель на счету. Кстати ж, она рядом.

С этой фразой Василий Васильевич повернул на перпендикулярную улицу, мы с другом детства — за ним. И сразу оказались почти под вывеской, гласившей «Баташовская картинная галерея».

Подойти к вывеске поближе в данный момент было невозможно, поскольку перед входной дверью галереи стояла вдоль тротуара довольно основательная очередь.

— А ты говоришь — поступлений не было и выставок хороших нет,— нравоучительно сказал шеф другу детства.— С чего ж бы очередь тогда? Или у вас началось движение «Понимайте живопись»?

На друге детства лица не было. Похоже, зрелище очереди в галерею повергло его в шоковое состояние. Поэтому за него ответил ближайший к нам в очереди человек — наделенный мощными бицепсами парень лет двадцати пяти:

— У меня сеструха здесь вчера была, с экскурсией, конечно, в порядке культурного мероприятия. Прибежала домой сама не своя, заставила меня сегодня пойти к открытию — нам еще ждать минуты две — а сама после занятий опять прийти хотела. Со всем своим классом.

— Да-да,— поддержала парня молодящаяся дама лет пятидесяти пяти,— я тоже здесь была вчера. Это та-ак прекрасно.

— Хотел бы я знать, имеет ли к этому чуду отношение наш общий друг...— шепотом сказал шеф.

Я оглянулся. Видимо, служба информации в городе была налажена хорошо. Позади нас успело пристроиться еще около десятка людей. А ведь был рабочий день...

Что же нас ждет внутри?

— А почему ваш знакомый зовет Прокофьева художником?— спросил я шепотом у шефа.

— Здесь его знали молодым,— коротко ответил тот.

• • •

Галерея была куценькая, десятка два картин местных художников, и то половина — портреты, а другая половина — пейзажи. поровну сельскохозяйственные и индустриальные. Впрочем, все это висело в одном из двух залов. На дверях другого вывеска оповещала посетителей, что именно данные двери ведут на выставку самодеятельных художников Баташова.

Сделав эти поверхностные наблюдения, я устремил взгляд на ближайшее полотно. И тут же почувствовал себя так, точно передо мной была картина из гоголевского «Портрета».

Чуть прищурив бесконечно внимательные и бесконечно холодные глаза, на меня смотрел Ученый. Я был сейчас объектом его исследования, а не он моего, и чуть кривая усмешка узких напряженных губ говорила о том, что объектом я ему кажусь интересным, но не чрезмерно важным. Усилием воли я заставил себя перевести глаза на таблицу под портретом.

«Художник Севостьянов М. И. Портрет брата, Севостьянова Н. И., лаборанта научно-исследовательского института».

Следующий портрет. Какое прекрасное женское лицо! Я почувствовал, что, не существуя на свете Тани, сам бы немедленно кинулся разыскивать оригинал этого портрета. Мимоходом я вспомнил, поняв их впервые в жизни, бесшабашных парней, отправляющих влюбленные письма девушкам с обложек «Огонька».

Подписал портрет какой-то Лианозов.

Идти дальше мне не хотелось. Таких двух портретов человеку должно хватить на целый день. Если соседние картины не слабее, то идти немедленно вдоль их ряда просто разврат. Надо уметь быть верным.

Шеф, однако, держался другого мнения. Он стоял уже у пятой от края картины, а рядом, держась одной рукой за сердце, другой за плечо Василия Васильевича, тянулся вперед и вверх всем телом друг детства, видимо, близорукий. Мимо таких работ идут с такой скоростью! Я услышал плач. Кинулся к старикам. Друг детства уткнулся лицом в широкую грудь шефа и лепетал сквозь всхлипы объяснения.

— Этот портрет сделал пять лет назад Ксенофонтов... ты помнишь? Это моя жена, Маша... Ты помнишь?

Я не стал смотреть на портрет. И не стал помогать шефу успокаивать старика. Я побежал по залу к маленькой боковой двери с вывеской «Администрация».

В крошечном кабинете сидели двое. Мне удалось закрыть за собой дверь, четвертый бы уже не смог этого сделать. На таком ничтожном пространстве не заметить меня было невозможно. Но двое в кабинете сумели и невозможное. Они были слишком заняты.

— Я вас спрашиваю, Прасковья Никитична, как вы допустили это безобразие? И другие, в другом месте, вас тоже спросят.

— Вы меня не пугайте, Михаил Иванович, я очень вас прошу. Никакого безобразия я не допустила.

— Да я свои работы не узнаю, понимаете вы это?

— Что же они, хуже, что ли, стали, Михаил Иванович?

— А вы меня не оскорбляйте, Прасковья Никитична! Конечно, кто падок на сенсацию, тому лестно посмотреть на эту новую мазню поверх наших скромных работ. Но как я в глаза посмотрю своему брату Коле, когда он сюда придет? Да разве это я, скажет мой брат Коля, а он, обратите внимание, ученый, а не кто-нибудь, и настоящий ученый, а не, прошу прощения, искусствовед.

— Вам еще придется просить прощения, и посерьезней,— загремела женщина, но тут же сбавила тон и сказала плаксиво:

— Так что же вы предлагаете, Михаил Иванович?

— Картины надо реставрировать. За счет безобразника. Или музея, если хулигана не найдут. А найдут — так под суд его, варвара.

— Где я вам возьму этого хулигана?— по-прежнему плаксиво продолжала Прасковья Никитична.— Где? Он, видно, забрался сюда в воскресенье, в понедельник галерея была закрыта, и он воспользовался случаем, а утром, конечно, сбежал...

За моей спиной приоткрылась дверь, прижав меня к краю стола.

— Прасковья Никитична, в дальней кладовой какой-то старик спит. Пьяный, наверное!

Я протиснулся — между столом и дверью, потом в дверь, крепко ухватил за локоть старуху-уборщицу, явившуюся с новостью.

— Быстро ведите меня туда. В дальнюю кладовую.

16

Мы пробежали (я почти нес свою проводницу) через оба зала, коридор, спустились на полэтажа, потом поднялись на полметра и оказались перед дверью, украшенной замком килограмма на полтора.

Он открылся неожиданно быстро — уборщица вдела его в дужки на дверях, а запирать не стала — дверь распахнулась, и я увидел Филиппа Алексеевича. Он лежал на старом мешке, положив под голову собственное пальто. Рядом на расстеленной газете дожидались его пробуждения ломоть хлеба, даже на глаз зачерствевшего, полбутылки ряженки под красной алюминиевой шапочкой, кусок копченой колбасы граммов на двести.

— А куда он водочную-то бутылку дел? — с почти профессиональным интересом спросила уборщица.

— Не было ее, сестрица, — раздался голос Филиппа Алексеевича. Он вскочил на ноги, сильными движениями рук растер лицо, глянул на часы, потом в окошко, присвистнул:

— Ого! Восемнадцать часов спал. Такого со мною лет сорок не бывало.

— А давно ты, непутевая твоя голова, не в своей постели последний раз спал? — сурово спросила уборщица.

— Да вот же, видела ведь, — засмеялся Филипп Алексеевич. — А тебя, уважаемый товарищ, внучка за мною отрядила? Сама-то она где?

— Это вы, товарищ, у нас в галерее набезобразничали? — раздался рядом громовой вариант голоса Прасковьи Никитичны. Филипп Алексеевич быстро шагнул вперед, но это движение не замаскировало его тайну, а выдало ее. На полу в углу лежали краски и кисти.

— Вы пятнадцатью сутками не отделаетесь! — загремел подоспевший «художник Севастьянов М. И.» — Тут большим сроком пахнет!

— Вы правы. Речь здесь идет о вечности, — на миниатюрную площадку перед входом в кладовую величественно ступил мой шеф.

— Вы кто такой? — резко повернулся к шефу Севастьянов. И тут же оборвал вопрос и вытянулся в струночку. Все-таки умел мой шеф выглядеть! На маршала, не меньше. Впрочем, он и был им, в своем роде войск, конечно.

— Филипп, ты невероятный человек, — сказал шеф. — Я просто не могу найти всему этому определение. Ты самый великий художник XX века, Филипп.

— Художник! Если бы! Ты думаешь, мне было трудно сделать все эти мазки? Да я тратил минут по пять на картину. Тут задача была совсем другая. Надо было рассчитать, где эти мазки сделать. Улыбаешься? Зря!

Филипп Алексеевич резко присел, вытянул из-под газеты с едой стопку бумаги, протянул ее Василию Васильевичу.

— Видишь? Все, все исписано. Я выводил на основе своих формул уравнения законченности для каждой из этих картин. А уже потом брал кисть.

— Формулы совершенства ты вывел, что ли?

— Можно сказать и так. Понимаешь, я часто думал, что же это такое: последний мазок мастера? Удар кисти, которым божественный Леонардо наделял жизнью работы своих учеников? То «чуть-чуть», которое сразу всего легче и всего труднее для художника? И я понял. В идеале картина гармонична. Как гармонично живое существо. Но великий Кювье брался по кости, по одной кости, восстанавливать любое животное. Нужели по целой картине, а точнее, по почти целой картине, нельзя узнать, чего ей не хватает для того, чтобы стать совершенной? Так же помнишь — я пытался понять, каким станет тот или другой человек в будущем...

— Тебе дорого обошлись эти догадки,— сказал Аннушкин.

— Да, Ира ушла к тебе, когда я нарисовал ее старой.

— Я этого не хотел. То есть хотел, но...

— Знаю. Инициативу проявила она.

— Да. Она имени твоего слышать не могла, прости за откровенность. Она не хотела быть старой.

— Это обошлось нам с тобой дорого — дружбы как ни бывало.

— Но старой она все равно не успела стать,— Великий Режиссер опустил голову.

А дед Филипп продолжал:

— Я рисовал и фотографировал, дорисовывал и менял, и я нашел научный способ определения целого по части. Трудность в том, что одной картине не хватает выразительности в чертах людей, у другой не то освещение, третья слаба в рисунке. Формулы надо было изготовить для всех возможных случаев. Легче всего получалось с портретами... Знаешь, я назвал это наукой последнего мазка.

— Разве такая наука возможна, Филипп?— Василий Васильевич схватил старого друга за плечо.— Ты просто великий художник, и это, наконец, вышло на свет.

— Нет, Василий. Я-то знаю. Не вдохновлялся ведь и даже не пробовал в уме тысячи вариантов. Просто считал. Все, что я сделал здесь, в галерее, вычислено. Карандаш и логарифмическая линейка решали, что будет делать кисть.

— Не верю!

— Но это так. И ты сам увидишь, я научу своему методу других...

— У тебя же, сам сказал, наука последнего мазка. Откуда возьмутся первые? Чтобы сделать рагу из зайца, нужна хотя бы кошка.

— Кошек сколько угодно. Художников, освоивших технику своего дела и бессильных шагнуть дальше.

— И ты вдохнешь в них искру божью?

— В них — нет. Но они вдохнут эту искру в свои картины. Сальери больше не будет завидовать Моцарту. Он сам станет Моцартом.

— Черт! Ты так уверен, будто и вправду... Ладно. Соглашусь на секунду. Но кому нужны гениальные картины, если их миллионы? Илюша, — шеф повернулся ко мне, — наше близкое знакомство началось ведь с разговора именно на эту тему, — кому нужны миллионы гениальных картин?

Василий Васильевич просил о поддержке. Но я сейчас мог думать только о том, что если дед Филипп прав, значит... Господи, значит, я тоже могу стать настоящим художником. Конечно, без малейшей надежды на славу — слишком много нас будет. Ну и пусть. Зато я буду рисовать, писать маслом, останавливать мгновенье, бросать на полотно целый мир... И я ответил:

— Художникам нужны! Людям, которые хотят быть ими и не могут. И людям, которые увидят эти картины — тоже.

— Но ведь такая наука невозможна! — в отчаянии произнес шеф.

— А если?.. — ответил я.

— Это было бы убийственно для искусства.

— Разве искусство можно убить? — тихо спросил Прокофьев.

— Теперь я боюсь, что можно.

Шеф повернулся и пошел сквозь ряды молчаливых слушателей. Не глядя по сторонам, прошествовал между двух рядов гениальнейших картин. Вышел на улицу. Постоял, глядя на буйно лезущую сквозь асфальт травку. Я его не видел, но готов поклясться, что все так и было. Постоял он, наверняка, потому что ждал меня. Любимый ученик не имел права оставить учителя в такую минуту. Но я все не выходил. Из-за занавески минут через десять я увидел его фигуру, сворачивающую на перпендикулярную Галерейной улицу. Впервые Василия Васильевича нельзя было сразу узнать со спины. У шефа изменилась походка.

Я никогда не любил его так, как в эту минуту.

Вечером мы сидели в купе мягкого вагона. Втроем — дед Филипп, Таня и я. И я благословлял то обстоятельство, что успел до ВГИКа два года проучиться на математическом факультете. Я понимал формулы.

Четверг и пятницу, уже в Москве, Филипп Алексеевич нетерпеливо учил нас с Таней практическим приемам «последнего мазка». У меня что-то получалось! Сказывался опыт художника. У Тани выходило много хуже.

А в субботу, не успели мы даже позавтракать, как в дверь квартиры Прокофьева позвонили. Таня пошла открывать. Резко хлопнула дверь, закрипела другая... Перед нами с Филиппом Алексеевичем стоял Петрухин. Без пальто, хотя в Москве октябрь выдался холодный, без шапки, в косо, не на ту пуговицу застегнутом пиджаке.

— Вот твоя благодарность, Филипп,— сказал он, швыряя на стол газету.— Спасибо!

Молодежная газета. На четвертой странице, в «Клубе любителей», короткая заметка «Чудо в галерее». Десять строчек сенсации.

— Вашей фамилии здесь нет,— сказал я.

— Нет, так будет. Все узнают, все, раз этот старый болван вздумал себя миру показывать. Я отдал ему свою индивидуальность. Я ради его поисков свою дорогу бросил. Я его лучшим коньяком поил...

— Спаивал!— это сказала Таня. И еще она сказала:— А вы думали, он всегда на вас и за вас работать будет?

— Он нарушил договор!

Новый звонок в дверь.

— Кого это еще несет? Открой, милый!

Я распахнул дверь — и растерялся. Передо мной, подбоченясь и хмельно улыбаясь, стоял старый знакомый — инвалид с Даниловского рынка.

— А, фининспектор!— весело узнал он меня,— рад, а то неловко было, что соврал тебе. Коврики я сам писал, а у деда, конечно, последняя рука была, каюсь. Ну чего, дорогу загородил? Поздравлять иду. И бутылочку захватил. Ты хоть газетку-то читал сегодня, парень?

— А этот клиент деда Филиппа куда порядочнее вас, Петрухин,— сказал я резко.— Он поздравлять пришел!

— Я вас всех сейчас!— Петрухин замахнулся. Таня резко пере-

хватила его руку, толкнула художника на стул.— Отдышитесь, придите в себя и убирайтесь,— скомандовала она.

— Воды... Валокардина,— прохрипел Петрухин.

— Это дадим,— Таня пошла к аптечке.

Прошло по крайней мере полчаса, прежде чем нам удалось выпроводить Тимофея Ильича. А когда, наконец, за ним захлопнулась дверь, воды попросил уже дед Филипп. Потом были падающие на дно рюмочки капли, 03 на диске телефона-автомата, белые халаты, сухой треск стеклянных ампул, у которых отламывают кончики.

В воскресенье дед Филипп умер...

18

Совместная комиссия Академии наук и Академии художеств по творческому наследию Ф. А. Прокофьева работала уже полгода. Прикрепленные к комиссии математики выбивались из сил, связывая между собой «формулы совершенства» и конкретные работы Прокофьева.

— Да поймите вы, Илья Всеволодович, что получающиеся системы уравнений имеют слишком много решений,— сердито говорил мне доктор физико-математических наук.— Принципа, по которому можно выбрать одно или хоть десяток решений среди тысяч их, Филипп Алексеевич не предлагал. Мы, во всяком случае, ничего подобного в его бумагах не нашли. А если он находил верный путь по вдохновению... Так что толку от его формул?

— Но он сужал все-таки круг возможных решений,— возразил я. Мне не хотелось возражать, но я был обязан это делать.

— Да! Заменял миллиарды — миллионами. Спасибо!

— Но он меня учил, и у меня получалось, вы же знаете и все знают, хоть заниматься он со мною смог всего два дня.

— Тогда получалось. А теперь?

Я молчал. Со дня смерти Филиппа Алексеевича я просто не мог заставить себя взяться за кисть.

— Отмалчиваетесь? Что ж, завтра мы собираем экстренное заседание комиссии. Приходите обязательно. И с супругой. Хотя... знаете, завтра лучше ее не берите с собой.

Я вышел на улицу. И у самого подъезда нечаянно кого-то толкнул. Он оглянулся на мое извинение, и навстречу мне сверкнули знакомые воспаленные глаза с широченного лобастого и щекастого лица. Ланитов!

— Как поживаете, Кирилл Евстафьевич?

— А! — он грустно махнул рукой.

— Что так? Фильм про вас снят, сценарий дописал сам Василий Васильевич, саламандру ищут сразу три экспедиции...

— Четыре, Илья Всеволодович. У нас четыре, а за рубежом восемнадцать. И еще тысячи любителей.

— Так чего ж вы об этом так грустно говорите?

— Отравили меня слова вашего шефа. Помните, о необходимых загадках. Хочу саламандру! Настоящую. Огненную. Большую. А тут один биохимик начал утверждать, что в огне действительно существует жизнь, только не более, чем на клеточном уровне... Отнимает у меня энтузиастов, а у него ведь саламандры только по имени остаются саламандрами, в остальном они что-то совсем другое... Спасибо, говорит, что любитель натолкнул нас на идею жизни в пламени, она очень многое объясняет, а теперь этим должны заняться специалисты.

Господи, а он ведь действительно плохо выглядит, даже похудел. Сколько же такой человек должен потерять в весе, чтобы это стало заметно? Товарищ по несчастью, борец за идею...

— Кирилл Евстафьевич,— сказал я,— попробуйте обратиться к химикам, изучающим процессы горения. Я недавно видел научно-популярный фильм, там показывали аппаратуру для ускоренной съемки того, что происходит в пламени.

— Я должен на днях получить такую аппаратуру. За ней и приехал,— меланхолически ответил Ланитов.— Попробуем ее в Западной Сибири. А вообще моя надежда — храмы огнепоклонников в Индии. Там есть огни, которым тысячи лет. Добиваюсь командировки. Кстати, ваш тесть так не вовремя умер; у части его снимков нет подписей, это очень снижает значение материала для розысков. Жаль, жаль.

Помолчал...

— До свидания. Пора.

Он уже давно исчез за углом, а я все смотрел ему вслед. Счастливый человек! Хотя сам считает себя несчастным, а меня, знай он все, признал бы величайшем счастливцем. У него есть цель, рядом с которой все остальное для него — только мелочи.

* * *

— От имени математической группы комиссии я уполномочен заявить, что дальнейшие исследования бессмысленны. Вот три незнакомые присутствующим работы маслом — портрет, пейзаж и натюрморт, по которым были проделаны для примера все расчеты по так называемым формулам совершенства. Вот краски, вот все, что нужно художнику. Вот расчеты. Разброс возможных предло-

жений для каждого из трех полотен колеблется по числу мазков между тремя и двумястами, место же наложения мазков, их цвета и протяженность устанавливаются настолько неопределенно, что никакие реальные действия на этой основе невозможны,— математик обвел зал взглядом, его глаза остановились на мне.— Таков, к сожалению, строгий научный вывод. Я приношу свои извинения дочери и зятю покойного исследователя...

Я понял, что предаю Прокофьева. Предаю Таню. Хуже того — предаю их дело. Неужели у меня не хватит сил... Ладно. Комиссия должна запротоколировать хотя бы возможность чуда.

— Погодите-ка!— я встал и подошел к картинам. Взял кисть.

Портрет.

Пейзаж.

Натюрморт.

Через пятнадцать минут я положил кисть и палитру прямо на пол и вернулся на свое место. Все пятнадцать минут зал молчал. Теперь он зашумел. Ни один человек не смог усидеть на месте. Главный математик на возвышении только разводил руками, два других яростно кричали друг на друга, художники обступили картины, я ловил на себе бешеные и испуганные взгляды.

— Здравствуй, Илья,— услышал я тихий голос и поднял глаза. Василий Васильевич! Он отказался стать членом комиссии, но ходил на все заседания. А сейчас первым подошел. Простил. Мне стало страшно. Я отвел глаза.

— Спасибо, Илья,— сказал он.— Не сердись на меня, я ведь на тебя давно не сержусь.

— Вам не за что меня благодарить, Василь Васильевич.

— Разве ты не понял? Ты ведь сейчас доказал, что все дело не в формулах Филиппа, а в нем самом.

— Как, разве я плохо при вас работал?

— Хорошо. Но работал ты, а не формулы. Ты же не заглянул в расчеты. Ты повторил сегодня подвиг Прокофьева. Подвиг гения! Только гения не науки, а искусства, Илья. Теперь ты это понимаешь?

Я ждал, что он именно так воспримет происшедшее. И все-таки... До этого момента я не знал, хватит ли у меня сил. Теперь знаю. Я справился, промолчал.

Он был уверен в своей правоте. И значит, прав. Иначе сейчас быть не могло.

— Слава великому Прокофьеву! Да здравствует искусство!— крикнул Василий Васильевич.

Последняя группа формул деда Прокофьева умещалась на листке бумаги. Я их запомнил раньше, чем порвать листок. Эта часть формул сводит число возможных решений в каждом случае к единице. Я могу быть художником. И миллионы людей будут художниками. Каждый, кто по-настоящему захочет. Но Василий Васильевич может быть спокоен. Еще одного удара я ему не нанесу. Пока он жив, наука последнего мазка не появится на свет.

С. Алегин

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СПАЛ

В тот теплый июньский вечер, о котором я хочу рассказать, волею судеб оказался я в Ленинграде. Было время белых ночей, когда по улицам и площадям этого прекрасного города бродят стайками и в одиночку его поклонники. К ним отношу я и себя. Отколовшись от компании, с которой ужинал в ресторане, я пошел поклониться моим любимым ленинградским местам. Проходя по одной из улиц, я почувствовал укор совести. Вот уже который приезд в Ленинград я собираюсь зайти к старому приятелю, живущему здесь. Теперь я стою против его дома, вижу его окно, оно ярко освещено, хотя второй час ночи.

Моего приятеля зовут Гарольд. Студентами мы посмеивались над его именем. Но он был хорошим парнем, добрым и работающим, его любили и называли Гариком. От друзей я слышал, что Гарик женат, детей у него нет и он пишет диссертацию.

Около двери в квартиру Гарика я не нашел звонка. На двери была прикреплена табличка «Толкай!» Войдя в коридор и затем в комнату, я увидел Гарика. Он был все тот же, только шевелюра кое-где превратилась из черной в пепельную. Гарик быстро печатал что-то на машинке, глядя в раскрытую книгу, которая лежала рядом.

Некоторое время Гарик меня не замечал. Потом повернул ко мне голову, сосредоточенно посмотрел на меня, вскочил и воскликнул:

— Ба, сто лет, сто зим! Привет, дружище! Вот молодец, что зашел! Сколько мы лет не виделись? Какими судьбами ты в Ленинграде? Как вообще успехи?

Не ожидая ответов на вопросы, Гарик перешел от восторженного тона на просительный:

— Ты меня извини, дружище, но мне надо закончить тут одну работу, хотя бы довести ее до логической паузы, а то я боюсь растерять все свои мысли. Ты садись сюда в кресло.— Гарик снял с сиденья несколько листов исписанной бумаги.— Здесь куча журналов и книг, читай что хочешь. А скоро, наверное, придет Лизок, мы поужинаем, попьем чаю, поговорим о житье-бытье... Она пошла пройтись... Ведь белые ночи... Впрочем, для меня они не существуют.

Я заверил Гарика, что он может работать, не обращая на меня ни малейшего внимания, что я с удовольствием посижу здесь после неуютной гостиницы и что я уже ужинал, и мне ничего не надо. Явно обрадованный моими словами, Гарик снова занял прежнюю позицию, стал стрекотать на машинке и смотреть в книгу. Я оглядел комнату. Она вся была завалена рукописями и книгами. Они лежали на письменном столе, на журнальном столике, на книжных полках, на диване и стульях.

Кресло, в котором я сидел, располагало к дремоте. Вино, выпитое мной в ресторане, также давало о себе знать. Чтобы не заснуть, я встал, прошелся по комнате и заглянул через плечо Гарика. Что-то показалось мне странным, и я стал смотреть внимательно. Гарик не замечал меня, и это давало мне возможность разобраться в том, что он делает. Я долго не мог понять, я не позволял себе поверить. Это было невероятно! Этот Кай Юлий Цезарь делал одновременно два совершенно не связанных между собой дела. Он читал книгу по математике и писал статью по химической технологии.

Я сел в кресло и задумался. От дремоты не осталось и следа. Во всем, что происходит в этом доме, мне показалось, есть что-то патологическое. Неистовство Гарика в работе, его раздвоение, его слова о Лизе (вероятно, жене), для которой существуют белые ночи... А для Гарика их нет... Я встал и положил Гарику руку на плечо.

Он повернулся ко мне. На его лице была досада. Потом, схватившись, он похлопал по моей руке. Затем встал и потянулся так, что захрустели кости. Сел на стул рядом со мной: я, мол, полностью в твоём распоряжении.

— Это омега-стимулин,— сказал Гарик.— Во мне сейчас два интеллекта. Понимаешь?

Я ничего не понимал.

— Профессор Сазонов — помнишь?— Николай Петрович. Он разработал этот препарат в своей лаборатории. Я с трудом добился, чтобы разрешили испытывать его на мне. Ты как раз попал в кульминационный момент этих испытаний...

— Слушай, Гарик, брось темнить!— воскликнул я.— Расскажи мне толком. Что за лекарство? Зачем оно тебе? Как так два интеллекта?

— Ну, хорошо, сейчас расскажу. Слушай.

В это время хлопнула наружная дверь, и в комнату быстро вошла стройная молодая женщина в темно-сером искрящемся платье. Копна не очень светлых волос была откинута назад. Лицо

ее было заплакано. В руке она держала скомканный платочек. Увидев меня, Лиза (это, видимо, была она), как-то неловко кивнув мне, устремилась в другую комнату. Гарик последовал за ней. Дверь осталась приоткрытой, и до меня доносились обрывки фраз. О, боже, это была обычная семейная сцена. Она жаловалась на одиночество, а он уверял, что через три месяца закончит диссертацию и снова будет жить, как все. Конечно, клялся в любви. Все это прерывалось всхлипываниями, паузами, звуками поцелуев.

Я почел за благо удалиться, поняв, что сейчас в этой квартире совершенно излишен. Перед уходом положил на пишущую машинку записку с номером телефона гостиницы, где я остановился. Уже светало, когда я шагал по опустевшему Ленинграду, и стук моих ботинок по асфальту гулко отдавался в каменных просторах.

На следующий день Гарик сидел у меня в гостинице и рассказывал.

— Ты только представь себе: человек живет 75 лет, из них он почти 25 лет спит. Проспать 25 лет—это ведь дикое расточительство! За это время можно столько познать и сотворить! Избавиться от необходимости сна—старая мечта человечества. Однако возбуждающие средства, которые предлагались раньше, вели к ускоренному износу организма. Кажется, Сазонову первому удалось синтезировать препарат, который дает нужный эффект и, как будто, не приносит вреда. Я говорю «кажется» и «как будто» потому, что хотя омега-стимулин многократно проверен на животных, но только сейчас испытывается на людях, одним из которых являюсь я.

— Но почему ты говорил, что в тебе сейчас два интеллекта?—спросил я.—Как это понять? И причем тут твой стимулин?

— Сейчас уже не два, а один... А дело здесь вот в чем: одной таблетки омега-стимулина достаточно для того, чтобы в течение суток совсем не спать. Обычно я работаю до 12 часов ночи, потом принимаю ванну, затем, не ложась спать, снова работаю до утра, после чего завтракаю и иду к себе в институт. Итак, я работаю 24 часа в сутки!

— Ну, хорошо,—заинтересовался я,—а что будет, если ты примешь две таблетки?

— Тогда я буду работать примерно 30 часов в сутки.

— Это довольно шаблонная острота!

— Нет, это совсем не острота, а действительность. Две таблетки препарата Сазонова стимулируют работоспособность настолько, что создают возможность работать за двоих. При этом мозг

как бы делится на две части, каждая из которых действует самостоятельно. Обычно после ванны наступает какое-то особое напряжение, жажда деятельности оба моих «я» рвутся к работе. Сегодня ночью ты как раз застал меня в этом состоянии. Два интеллекта существовали во мне независимо, каждый делал свое дело. Второй таблетки омега-стимулина хватает на то, чтобы такая деятельность продолжалась примерно 6 часов. Вот и получается, что я работаю в сутки 30 часов.

— Точнее, 30 гарико-часов!— вставил я.

— Да. К утру двойная работа прекращается, и я возвращаюсь в обычное состояние человека, имеющего один интеллект и избавленного от необходимости сна.

— А что будет,— поинтересовался я,— если принять 3 или 4 таблетки?

— Теоретически возможно,— ответил Гарик,— получить сутки длительностью 40, 50 и более часов, но это слишком рискованный эксперимент, и ни Сазонов, ни я пойти на него не можем. Ведь я стал испытывать на себе омега-стимулин ради того, чтобы быстрее разделаться с диссертацией, а Лиза не хочет этого понять...

Вспомнив о жене и ночной драме, Гарик погрузился. В его речи, столь оживленной, когда он рассказывал о проводимом эксперименте, появились страдальческие нотки.

— Слушай, друг,— обратился ко мне Гарик,— я ведь пришел к тебе не для того, чтобы читать лекцию об омега-стимулине. Лиза очень смущена тем, что так плохо приняла тебя и что ты удрал, как она говорит, из-за плохого приема. Она очень просит, чтобы ты пришел сегодня вечером. Я тоже был бы рад тебя видеть сегодня у нас. Обещай, что придешь.

— Обещаю, приду,— сказал я.

Мне трудно было отказать этим симпатичным людям, хотя я понимал, что Гарик готов послать меня ко всем чертям и хотел бы уговорить Лизу не тратить время на дурацкие чаепития и сесть за работу, но сделать этого он не мог. Я понимал также, что Лизе я нужен, как буфер, как третий, кто своим присутствием позволит смягчить ее отношения с Гариком.

В тот вечер я ужинал у Гарика.

Когда Гарик провожал меня, я спросил его, зачем на их входной двери написано «Толкай»?

— Чтобы не ходить открывать дверь, когда я работаю. Дверь у нас всегда открыта. Впрочем, на этом я экономлю минуты, а на многом другом теряю часы.



Станислав Лем

137 СЕКУНД

Господа, из-за отсутствия времени или неблагоприятных условий большинство людей покидают этот мир, не задумываясь над сущностью его. У тех же, кто пробует сделать это, заходит ум за разум, и они принимаются за что-нибудь другое. К ним отношусь и я. По мере того, как я делал карьеру, отводимое моей особе место в «Who's Who» из года в год становилось все обширнее, но ни в последнем издании, ни в последующих не будет ничего сказано о том, почему я бросил журналистику. И вот именно об этом и будет моя история, которую в иных обстоятельствах я, конечно, не стал бы рассказывать.

Я знал одного способного парня, решившего построить чувствительный гальванометр, и ему это удалось. Стрелка отклонялась даже тогда, когда отсутствовал ток, так как прибор реагировал на колебания земной коры. Этот пример может быть взят эпиграфом к моей повести.

Тогда я был ночным редактором иностранной службы *UPI*. Многое мне там пришлось повидать, в том числе и введение автоматизации в газетном деле. Пришлось расстаться с живыми метранпажами и начать работать с компьютером *IBM 0161*, специально приспособленным для подобной работы. Остается лишь сожалеть, что я не родился так лет на сто пятьдесят раньше. История моя начиналась бы тогда словами «увез графиню де...», а когда я дошел бы до того, как, вырвав вожжи из рук возницы, я начал хлестать коней кнутом, чтобы уйти от погони наемников ревнивого мужа, мне не пришлось бы объяснять вам, что такое графиня и в чем состоит похищение.

Теперь не все так просто. Компьютер *IBM 0161* это не только механический метранпаж. Это демон скорости, сдерживаемый разными инженерными штучками так, чтобы человек поспевал за ним. Компьютер заменяет от десяти до двенадцати человек. Он соединен непосредственно с сетью телетайпов, и то, что выстукивают наши корреспонденты в Анкаре, в Багдаде, в Токио, в тот же момент попадает в его цепи. Он обрабатывает все это и воспроизводит на экране по очереди разные варианты страниц утреннего выпуска. Между полночью и третьим часом утра — временем окончания номера — он может обработать до пятидесяти различных вариантов выпуска.

Какой из вариантов пойдет в машину — решает дежурный редактор. Метранпаж, которому пришлось бы сделать не пятьдесят, а только пять вариантов верстки номера, сошел бы с ума. Компьютер же работает в миллион раз быстрее каждого из нас, это значит, что он мог бы так работать, если бы только ему позволили.

Я вполне сознаю, как много привлекательного теряется в моей истории из-за таких отступлений. Много ли осталось бы от красоты графини, если бы я не воспевал алебастровую красоту ее бюста, а говорил о его химическом составе? Мы живем в трудное для рассказчиков время, так как то, о чем говорят понятно, стало анахронизмом, а чтобы понять сенсацию, нужно проштудировать целые страницы энциклопедии и университетского учебника. Но средства против этого еще никто не выдумал.

Наша совместная с *IBM* работа была поразительной. Как только поступало новое сообщение — происходило это в большом круглом зале, наполненном безуданным стуком телетайпов, — компьютер сразу заверстывал его для пробы в макет страницы. На экране только, разумеется. Все это — игрой электронов, светом и тенью.

Некоторые жалеют людей, которых компьютер лишил работы. Я им не сочувствую. У компьютера нет самолюбия, он не нервничает, если за пять минут до трех не получено последнее сообще-

ние, у него нет домашних неприятностей, он не берет займы перед первым числом, не мучится и не дает понять, что разбирается в деле лучше вас, не обижается, когда то, что было заверстано на первой странице, ему приказывают перенести на последнюю страницу и набрать непарелю.

Вместе с тем он неслыханно требователен: не сразу можно это осознать. Если ему говорят «нет», то это «нет» окончательное, безапелляционное, как приговор тирана, которому невозможно противоречить! Но поскольку он никогда не ошибается, то все огрехи утреннего выпуска имеют только одного автора: им всегда является человек.

Конструкторы *IBM* абсолютно все предусмотрели за исключением одной мелочи: телетайпы, как бы их ни монтировали и ни устанавливали, всегда вибрируют при работе, подобно пишущей машинке, печатающей с большой скоростью. Из-за этой вибрации контакты кабелей, соединяющих редакционные телетайпы с компьютером, постепенно ослабевают, и кабели могут выпадать из гнезд. Случается это редко — так раз или два в месяц. Возникающее при этом неудобство — нужно встать и воткнуть кабель на место — невелико, и никто не требовал заменить контакты. Каждый из нас — дежурных — знал об этом, но особенно не настаивал. Возможно, что сейчас контакты уже заменены. Если так, то открытие, сделанное мной, уже не будет повторено.

Было это в канун рождества. Номер я закончил незадолго перед третьим часом — я любил оставлять себе хоть несколько минут в запасе, чтобы отдышаться и закурить трубку. Мной овладело приятное чувство, что ротационная машина ждет уже не меня, а последнее сообщение — депешу из Ирана, где утром произошло землетрясение. Агентства передали только отрывки сообщения корреспондента — после первого толчка произошел второй, настолько сильный, что прервал кабельную связь. Молчало и радио, и мы считали, что радиостанция лежит в развалинах. Мы делали ставку на нашего человека: был им Стэн Роджерс. Щуплый как жокей, он не раз втискивался в какой-нибудь военный вертолет, когда все места уже были заняты; для него делалось исключение, так как весил он не больше чемодана.

На экране виднелся макет титульной страницы с последним белым пустым прямоугольником. Связи с Ираном по-прежнему не было. Хотя стучало сразу несколько телетайпов, но звук, с каким включился турецкий, я тут же узнал. Это дело навыка, который приобретается бессознательно. Удивило меня то, что белый прямоугольник оставался пустым, хотя слова должны были появиться на экране сразу же при включении телетайпа, но эта пауза про-

должалась не больше секунды или двух. Затем текст сообщения, впрочем, очень короткого, появился целиком, что меня поразило. Помню его на память. Заголовок уже был готов; под ним шел текст: «В Шерабаде между десятым и одиннадцатым часом по местному времени дважды повторились подземные толчки силой в семь и восемь баллов. Город лежит в развалинах. Число жертв оценивается в тысячу, шесть тысяч потеряли кров».

Раздался сигнал, которым меня вызывала типография — было ровно три часа. Так как при таком лаконичном тексте оставалось свободное место, я разбавил текст двумя дополнительными фразами и, нажав клавиш, отправил готовый номер в типографию, где, переданный прямо линотипистам, он набирался и поступал на ротационную машину.

Моя работа была закончена; я встал, распрямил кости и зажег погасшую трубку и тут увидел лежавший на полу кабель. Он выскочил из гнезда. Кабель телетайпа из Анкары. Именно этим телетайпом пользовался Роджерс. Когда я поднимал кабель, у меня промелькнула совершенно нелепая мысль, что он уже лежал так до того, как отозвался телетайп. Ясно, что это был абсурд, ибо как же мог компьютер без соединения с телетайпом принять сообщение? Не торопясь я подошел к телетайпу, оторвал бумагу с отпечатанным текстом и поднес его к глазам. Он показался мне несколько иначе составленным, но я устал, чувствовал себя разбитым, как обычно в эту пору, и не доверял памяти. Я включил еще раз компьютер, желая увидеть первую страницу, и сравнил оба текста. Действительно, они разнились между собой, однако незначительно. Текст телетайпа звучал так: «Между десятым и одиннадцатым часом местного времени произошли два следующих друг за другом толчка в Шерабаде, силой в семь и восемь баллов. Город полностью разрушен. Число жертв превышает пятьсот, а лишенных крова — шесть тысяч».

Я стоял, поглядывая то на экран, то на лист бумаги, не зная, ни что думать, ни что делать. По смыслу оба текста были очень похожи, единственная существенная разница лишь в числе жертв: Анкара дала эту цифру как пятьсот, а компьютер удвоил ее. Обычный рефлекс журналиста заставил меня соединиться с типографией.

— Послушай,— сказал я Лэнггорну (он был тогда дежурным линотипистом),— обнаружилась ошибка в иранском сообщении, первая полоса, третья колонка, последняя строка. Должно быть не тысяча...

Тут я остановился, так как турецкий телетайп вновь заработал и начал выстукивать: «Внимание. Последнее сообщение. Внимание.

Число жертв землетрясения оценивается теперь в тысячу. Роджерс. Конец».

— Ну, что там? Как должно быть?— запрашивал снизу Лэнггорн. Я вздохнул.

— Извини меня, парень,— сказал я ему.— Ошибки нет. Моя вина. Все в порядке. Пусть идет так, как есть.

Положив быстро трубку, я подошел к телетайпу и прочитал это добавление раз шесть. И каждый раз мне это все меньше нравилось. Было такое ощущение, будто пол под ногами становится мягким. Я обошел компьютер, поглядывая на него с недоверием, даже с некоторой долей страха. Как это ему удалось? Я ничего не понимал и чувствовал, что чем больше буду задумываться над происшедшим, тем труднее мне будет разобраться.

Дома, уже в постели, я не мог заснуть. Я пытался, следуя советам психической гигиены, запретить себе думать о столь дикой истории. Если говорить всерьез, то это была мелочь. Я знал, что никому не могу о ней рассказать: никто бы мне не поверил. Приняли бы все это за шутку — наивную и плохую. И только когда решил не ограничиться увиденным, а начать регулярные наблюдения за поведением компьютера при отключении телетайпов, я почувствовал что-то вроде облегчения, во всяком случае достаточного, чтобы заснуть.

Проснулся я в довольно хорошем настроении и, черт знает, каким образом мне стала понятна разгадка или по крайней мере что-то, что могло сойти за разгадку.

Работая, телетайпы вибрируют. От их вибрации выпадают даже кабели из гнезд. Не может ли их вибрация быть источником сигнализации? Даже я, с моим скудным и медленно действующим умом человека, улавливал различие в звучании отдельных телетайпов. Парижский я узнавал в момент пуска по характерному металлическому удару. Приемное же устройство в сотни раз более чувствительно, и оно вполне может различать и ту едва уловимую разницу, которая существует при ударе отдельных литер.

Конечно, на сто процентов это невозможно, именно потому компьютер не повторил слово в слово текст телетайпа, а несколько переиначил его: попросту он сам добавлял то, чего не хватало в информации. Что же до числа жертв, то здесь он проявил себя как математическая машина: между числом разрушенных домов, временем, когда произошло землетрясение, и числом погибших должна существовать статистическая корреляционная зависимость. Сообщая истинную цифру, компьютер, возможно, воспользовался своими способностями молниеносно выполнять расчеты, и отсюда и получилась та тысяча жертв. Наш корреспондент, который не

проводил таких подсчетов, а добросовестно передал цифру, сообщенную ему на месте, вскоре послал поправку, получив более точную информацию. Компьютер оказался на высоте потому, что, он основывал свое сообщение не на слухах, а на точном статистическом материале, хранившемся в его ферритовой памяти. Это объяснение меня целиком успокоило.

IBM 0161 ведь не пассивное передаточное звено; если телетайп делает орфографическую или грамматическую ошибку, ошибка эта на долю секунды появляется на экране компьютера, и в тот же миг заменяется правильным выражением. Иногда это происходит настолько быстро, что человек не успевает заметить исправление и обнаруживает его позднее, когда сравнивает текст телетайпа с текстом на экране компьютера. *IBM* не только автоматический метранпаж; он соединен с сетью подобных машин агентств и библиотек, и от него можно требовать дополнительных данных, обогащающих слишком тощую информацию.

Словом, я объяснил себе все очень хорошо, и решил сделать несколько проб во время ближайшего дежурства, но не говорить о них никому, так же как и о случившемся в канун рождества, ибо так было благоразумнее.

Возможностей для этого было достаточно. Уже через два дня я опять сидел в зале иностранной службы, и когда Бейрут начал передавать сообщение о гибели подводной лодки шестого флота в Средиземном море, я встал и, не спуская глаз с экрана, на котором быстро появлялись слова текста, украдкой, спокойным движением вынул кабель из гнезда. В течение шести секунд текст так и оставался оборванным на полуслове, как будто бы компьютер не знал, что делать дальше. Однако удивление его продолжалось не долго; почти сразу же начали появляться на белом фоне следующие фразы; я лихорадочно сравнивал их с текстом, выбиваемым телетайпом. Повторилась уже известная мне история — компьютер воспроизводил телетайпное сообщение, но только иными словами: «представитель шестого флота сообщил» вместо «сказал», «поиски продолжаются» вместо «идут»; еще несколько подобных мелочей отличало тексты.

Известно, с какой легкостью человек привыкает к необычному, если он понимает или даже если ему кажется, что он понимает механизм его. У меня создалось уже впечатление, что я играю с компьютером, как кот с мышью, что я дурачу его, что полностью владею положением. Макет номера светил еще многочисленными лысынами, и сообщения, которые должны были их заполнять, приходили сейчас в пиковые моменты по несколько одновременно. Я находил поочередно в общем пучке соответствующие кабели и

вытаскивал их один за другим из гнезд, так что оказался с шестью или семью кабелями в горсти. Компьютер спокойнейшим образом продолжал работать дальше, и когда не был соединен ни с одним из них. Что же — решил я — компьютер различает по звуку выстукиваемые литеры и слова, а что он не может уловить — мгновенно дополняется с помощью экстраполяции или другого из математических методов.

Я действовал, как в трансе. Сосредоточившись, я ждал пробуждения очередного телетайпа, а когда застучал римский, я дернул за кабель и так сильно, что не только он оказался у меня в руке, но одновременно выпал и другой кабель — тот, по которому подавалось питание на телетайп, и аппарат конечно замер. Я уже хотел вставить кабель питания, обратно, но что-то как будто толкнуло меня, и я глянул на экран.

Римский телетайп молчал, а компьютер как ни в чем не бывало заполнял место, оставленное под рубрикой «Последние известия» для итальянского правительственного кризиса. С затаенным дыханием, чувствуя, что снова творятся странные вещи с полом и моими коленями, я подошел к экрану и невинные слова «...назначил премьером Батиста Кастеллиани...» я прочитал, как депешу с того света. Я торопливо подключил римский телетайп к главному силовому кабелю, чтобы как можно скорее сравнить оба текста.

О, сейчас разница между ними была значительно больше, однако компьютер не отклонился от правды, то есть от содержания сообщения. Премьером действительно стал Кастеллиани, но фраза эта была в ином контексте и на четыре строки ниже, чем на экране. У меня создалось впечатление, что два корреспондента, независимо друг от друга узнав об одном и том же событии, по своему составили и отредактировали текст заметки. Со слабеющими коленями я сел, чтобы в последний раз попытаться спасти свою гипотезу, но чувствовал, что это напрасный труд.

Весь мой рационализм рухнул в одно мгновение: как же мог компьютер прочитать текст по вибрации телетайпа, если телетайп был глух и мертв, как пень? Он никак не мог почувствовать вибрации телетайпа, по которому из Рима работал наш корреспондент! Мне стало нехорошо. Если бы кто-нибудь вошел, я мог бы вызвать бог знает какие подозрения — потный, с блуждающим взглядом, с горстью кабелей, которые я продолжал сжимать вспотевшими руками, я был похож на злоумышленника, застигнутого на месте преступления.

Чувствовал я себя, как крыса, загнанная в угол, и действовал, как разъяренная крыса, — начал лихорадочно отключать все теле-

тайпы, так что через мгновение замер стук последнего из них. Я остался в могильной тишине, наедине с моим компьютером.

И тогда произошла поразительная вещь, может быть, еще более странная, чем то, что уже было раньше. Хотя макет номера не был еще готов, поступление текста сильно замедлилось. Более того, в новом, медленно поступавшем тексте появились фразы, лишённые точного содержания, бессмысленные, одним словом, так называемая вата. Еще с минуту ниточки строк ползли по экрану на свои места, затем все сразу остановилось.

Несколько текстов имели абсурдно-комический характер. Среди них была заметка о футбольном матче, в которой вместо окончательного счета содержалась пустая фраза о прекрасном поведении игроков обеих команд. Очередные сообщения из Ирана прерывались утверждениями, что землетрясения — явления космического масштаба, так как они наблюдаются даже на Луне. Звучало это «ни к селу, ни к городу». Загадочные источники, откуда компьютер до сих пор тайно черпал вдохновение, иссякли.

Очевидно, что прежде всего нужно было сверстать номер, поэтому я поспешно подключил обратно все телетайпы, и о том, что мне пришлось наблюдать, я смог поразмыслить только после трех часов, когда начала работать ротационная машина. Я знал, что не успокоюсь, пока не докопаюсь до источника этой блестящей демонстрации надежности и не менее блестящего нарушения ее. Непосвященному сразу же приходит мысль, что попросту следовало бы задать соответствующий вопрос самому компьютеру: коль скоро компьютер такой мудрый, а одновременно и такой безотказно послушный, пусть он и сообщит, каким образом и благодаря каким механизмам он работает отключенный, а также объяснит, что эту работу затем останавливает.

Мысли эти приходят нам под влиянием популярных произведений об электронных мозгах, но с компьютером нельзя разговаривать так, как с человеком — безразлично, умным или глупым, — он вообще ведь не личность! С таким же успехом можно ожидать, что испорченная пишущая машинка скажет нам, где и как ее можно исправить. Компьютер перерабатывает информацию, к которой он не относится осмысленно. Фразы, выдаваемые им, это поезда, идущие по рельсам синтаксиса. Если они сходят с рельс, то значит, что-то действует в нем неправильно, однако сам он ничего об этом не знает, и потому имеются все основания говорить о «нем» только как о лампе или столике.

Наш *IBM* умел самостоятельно составлять и пересоставлять тексты стереотипных газетных сообщений — больше ничего. О том, какое значение имеют отдельные тексты, всегда должен был ре-

шать человек. *IBM* мог объединить две взаимодополняющие заметки в одну, подобрать нужное вступление для содержательных сообщений, например, для депеш, используя готовые образцы таких решений, которых у него были сотни тысяч. Это вступление соответствовало содержанию депеши только потому, что *IBM*, проводя статистический анализ, выхватывал так называемые ключевые слова; если, например, в депеше повторялись слова «ворота», «штрафной», «команда противника», то он подбирал что-нибудь из спортивного репертуара. Одним словом, компьютер подобен железнодорожнику, который может соответствующим образом перевести стрелку, сцепить поезд и отправить вагоны в нужном направлении, ничего не зная о ценности их груза. Он ориентируется в чисто внешних особенностях слов, предложений и высказываний, тех, которые поддаются математическим операциям анализа и синтеза. Невозможно было ожидать от него какой-либо помощи.

В размышлениях я провел дома ночь без сна. В работе компьютера я заметил такую закономерность: чем дольше он был отключен от источников информации, тем хуже ее реконструировал. Мне это показалось вполне понятным, если учесть, что я работаю в журналистике двадцать два года. Как вы знаете, редакции таких многотиражных еженедельников, как «Time» и «Newsweek», действуют независимо друг от друга. Сближает их лишь то, что существуют они в одном и том же мире и в одно и то же время располагают примерно одинаковыми источниками информации. Кроме того, они имеют и во многом похожих читателей. Поэтому в целом не удивительно сходство многих статей, помещаемых в них. Вытекает оно из своеобразного совершенства в приспособлении к рынку, достигнутого обеими конкурирующими между собой редакциями.

Умению писать обзоры событий по одной стране либо за неделю в целом мире можно научиться, но если пишется с таких позиций, то есть с позиций элиты журналистики Соединенных Штатов, при условии одинакового образования, аналогичной исходной информации и при желании добиться оптимального воздействия на читателя, то нет ничего удивительного, что тексты, одновременно и независимо составленные, напоминают нередко близнецов. Сходство их проявляется не в одинаковости фраз, а в общей установке, тоне, эмоциональной настроенности, расстановке акцентов, освещении некоторых скабрёзных подробностей, противопоставлении контрастных черт, например, относящихся к характеристике какого-либо политика, то есть все то, что способно привлечь внимание читателя и внушить ему, что он находится у надежнейшего источ-

ника информации,— все это и составляет арсенал средств каждого опытного журналиста.

В известном смысле наш *IBM* сам был «макетом» именно такого журналиста. Он знал способы и приемы, то есть умел то, что и каждый из нас. Благодаря рутине, запрограммированной в нем, он оказался гением цепкой фразеологии, поразительного сопоставления данных, их наимыгоднейшего использования; обо всем этом я знал, но знал я также, что ему невозможно ставить некоторые вопросы. Почему, будучи отключенным от телетайпов, он продолжал так хорошо работать? Почему эта работа так быстро прекращалась? Почему он начинал затем бредить? Я еще надеялся, что сам смогу найти ответы на эти вопросы.

Перед очередным дежурством я позвонил нашему корреспонденту в Рио-де-Жанейро с просьбой, чтобы он в начале ночного сеанса прислал нам короткое ложное сообщение об итогах встречи боксеров Аргентины и Бразилии. Он должен был сообщить обо всех победах бразильцев как о победах аргентинцев и наоборот.

В момент нашего разговора итоги встречи не могли быть известны; встреча начиналась поздно вечером. Почему я обратился именно в Рио-де-Жанейро? Потому, что я просил о вещи, несмысленной с профессиональной точки зрения, а Сэм Гернсбек, который был там нашим корреспондентом,— мой приятель того редкого и наивнейшего сорта, которые никогда ни о чем не спрашивают.

Мой опыт позволял мне сделать предположение, что компьютер повторит фальшивое сообщение — то, которое отлучит Сэм на своем телетайпе (не буду скрывать, что на эту тему у меня уже была готова гипотеза: я предположил, что телетайп становится как бы радиопередатчиком, а его кабели выполняют функции антенны; мой компьютер, как я считал, способен улавливать электромагнитные волны, создающиеся вокруг кабелей в зале, так как чувствительность его, как приемника, вероятно, высока).

Сразу же после посылки ложного сообщения Гернсбек должен был его опровергнуть; первое из них я бы конечно уничтожил, чтобы от него и следа не осталось. Придуманый мной план казался мне очень тонким. Чтобы опыт был еще более убедительным, я решил до перерыва в матче сохранять нормальное соединение телетайпа с компьютером, а после перерыва — телетайп отключить.

Не буду описывать моих приготовлений, эмоций, всей обстановки той ночи, а только скажу вам, что произошло. Компьютер сообщил, то есть заверстал в макет номера до перерыва ложные итоги встречи, а после перерыва — правильные. Вы понимаете, что это значило? До тех пор, пока был подключен телетайп, он ничего

не реконструировал, «не комбинировал» — повторял просто слово в слово то, что передавалось по кабелю из Рио. Отключенный же, он перестал полагаться на телетайп, а также и на кабели, которые согласно моему предположению выполняли роль антенны, и передал просто действительные итоги соревнования! То, что в это время выстукивал Гернсбек, не имело для него никакого значения.

Но это еще не все. Он передал действительные результаты всех встреч — ошибся только относительно последней, встречи тяжеловесов. Одно оказалось несомненным: в момент отключения он переставал быть зависимым от телетайпа — и того, который был у меня, и того, который был в Рио. Сведения он получал каким-то иным путем.

Вспотевший, с потухшей трубкой, я не мог переварить то, что видел, и в этот момент заработал бразильский телетайп: Сэм подал истинные результаты, как мы договорились. В заключительном сообщении он сделал поправку: результат боя в тяжелом весе был аннулирован решением судей, которые признали, что вес перчаток аргентинца — победителя на ринге — не соответствует правилам.

Итак, компьютер ни разу не ошибся. Мне необходимо было еще одно сообщение. Я получил его после окончания работы над номером, позвонив Сэму, который уже спал у себя и, проснувшись, ругался как сапожник. Легко было его понять, потому что вопросы, которыми я его засыпал, выглядели глупо, по-идиотски: в какое время были оглашены результаты боя в тяжелом весе и каким образом судьи изменили решение? Сэм ответил мне и на первый и на второй вопрос. Решение было аннулировано почти сразу после объявления победителя, которым был аргентинец, так как судья, подняв его руку как победителя, почувствовал через кожу перчаток грузик, спрятанный в слое пластика и сдвинувшийся во время боя. Сэм, желая как можно быстрее передать результаты, выбежал к телефону, когда нокаутированный бразилец еще лежал на ринге. Поэтому компьютер своей осведомленностью никак не обязан умению читать мысли Сэма; он сообщил действительный результат боя тогда, когда Сэм еще не знал его.

Почти полгода я проводил эти ночные эксперименты и узнал очень много, хотя по-прежнему ничего не понимал. Отключенный от телетайпа, компьютер сначала замирал на две секунды, затем продолжал передавать сообщение — в течение 137 секунд. В этот промежуток времени он знал о событиях все, после него — ничего.

Возможно, я бы это еще как-нибудь переварил, но я открыл вещь куда хуже. Компьютер предвидел будущее — и при том безошибочно. Для него не имело никакого значения, касается ли ин-

формация событий, совершившихся или только наступающих,—важно, чтобы они происходили в интервале двух минут и 17 секунд.

Если я выстукивал ему на телетайпе вымышленную информацию, то он повторял ее послушно, но при отключенном кабеле сразу же замолкал: он умел продолжать описание только того, что в самом деле где-то происходило, а не того, что кто-то выдумывал. По крайней мере такой я сделал вывод и записал его в тетрадь, с которой не расставался.

Постепенно я привык к этому и, сам не знаю когда, я начал сравнивать его с поведением пса. Подобно собаке, его следовало сначала навести на след, дать как бы обнюхать начало следа — последовательность исходных событий. Как и собака, он требовал некоторого времени, чтобы закрепить эти факты, а когда их было мало — замолкал или отвечал общими фразами или, наконец, шел по ложному следу. Если я заранее не определял названий совершенно однозначно, он, например, путал населенные пункты одного и того же названия. Как и собаке, ему было совершенно безразлично, по какому следу идти, но когда уж он выходил на него, то был совершенно безукоризненным — в течение 137 секунд.

Наши ночные опыты, которые происходили обычно между третьим и четвертым часом утра, напоминали допрос следователя. Я пытался припереть его к стенке, старался выработать тактику перекрестных вопросов, взаимоисключающих альтернатив, когда, наконец, мне пришла мысль, поразившая своей простотой.

Как вы помните, Роджерс доносил о землетрясении в Шерабаде из Анкары, то есть тот, кто передавал сообщение, не обязательно должен был находиться там именно, где происходило событие. Однако пока речь шла о земных событиях, нельзя было исключить, что кто-нибудь — человек или по крайней мере животное — наблюдает событие, а компьютер может каким-то способом воспользоваться этим. Я решил так составить начало сообщения в отношении места, где происходило событие, чтобы заведомо было известно, что там никогда не было человека,— речь шла о Марсе. Я передал компьютеру координаты Syrtis Minor и, дойдя до слов... «сейчас на Syrtis Minor царит день; осматривая окрестности, мы видим...», я выдернул кабель из гнезда.

После секундной паузы компьютер закончил: «...планету в лучах солнца...» — и это было все. Я переделывал это начало на разные лады раз десять, но не вытянул с его помощью ни одной интересной подробности — все они расплывались в общих словах. Я установил таким образом, что осведомленность компьютера не касается планет, и хотя я сам не знаю почему, но мне сделалось от этого немного легче.

Что я должен был делать дальше? Я мог, конечно, выстрелить сенсацией первой воды, приобретая известность и немалые деньги; но я ни на минуту не принимал этой возможности всерьез. Почему? Сам хорошо не знаю. Может быть потому, что огласка тайны привела бы с самого начала к тому, что меня оттеснили бы на задний план. Я воображал себе толпы техников, которые вторглись бы к нам, экспертов, разговаривающих между собой на своем профессиональном жаргоне; независимо от того, к каким результатам они бы пришли, я был бы сразу отстранен от дела как баламут и неуч. Я мог бы только писать воспоминания, давать интервью и получать чеки. Но это меня как раз меньше всего устраивало. Я готов был поделиться с кем-нибудь тайной, но так, чтобы не отказаться от своих прав полностью. Я решил привлечь к сотрудничеству хорошего специалиста, которому я мог бы полностью доверять.

Близко я знал только одного — Милтона Гарта из *MTI*. Это человек с характером, оригинальный и именно анахроничный, так как ему плохо работается в большом коллективе, а в наше время ученый-одиночка — это вымирающий мастодонт. По образованию Гарт был физиком, по специальности программистом, работавшим в области информации; мне это вполне подходило. Правда, встречались мы с ним до сих пор в своеобразной обстановке — мы оба играли в ма-джонг; другие же наши встречи были нерегулярными, но именно во время такой игры и можно многое узнать о человеке.

Его эксцентричность проявлялась в том, что он ни с того ни с сего произносил вслух разные странные мысли. Как-то раз он спросил меня: «Мог ли бог сотворить мир нечаянно?» Никогда нельзя было понять, говорит ли он всерьез или шутит или просто потешается над собеседником.

Но у него несомненно была светлая голова; условившись по телефону, я поехал к нему в ближайшее воскресенье и, как и рассчитывал, вовлек его в мой конспиративный план.

Не знаю, поверил ли он мне сразу, — Гарт не принадлежал к людям, любящим говорить об этом, — но во всяком случае поверил все, что я ему рассказал, и первое сделанное им было то, что мне и в голову не приходило. Он отключил наш компьютер от федеральной сети.

Сразу же исключительный талант моего *IBM* как рукой сняло. Таинственная сила была не в компьютере, а в сети. Как вы знаете, сейчас сеть насчитывает свыше сорока тысяч вычислительных центров, но вы, может быть, не знаете (я об этом не слыхал до тех пор, пока мне не сказал Гарт), что она построена по иерархическо-

му принципу, несколько напоминающему нервную систему позвоночных. Сеть имеет узлы в каждом из штатов, причем память каждого из узлов содержит больше данных, чем знают все ученые, вместе взятые.

Каждый абонент, в зависимости от продолжительности использования компьютеров сети в течение месяца, вносит плату, начисляемую с помощью каких-то коэффициентов и множителей. Абоненту может потребоваться решение проблем, слишком трудных для ближайшего компьютера; диспетчер тогда автоматически подключает в помощь ему компьютеры из федерального резерва; это могут быть недогруженные или работающие вхолостую компьютеры. В качестве диспетчера, разумеется, также используется компьютер. Задача его состоит в равномерном распределении информационной нагрузки в сети и в наблюдении за так называемыми банками специальной памяти, то есть содержащими недоступную информацию, охваченную государственной, военной и т. д. тайной.

У меня вытянулось лицо, когда мне говорил об этом Гарт, так как я никогда не слышал, что существует сеть и что *UPI* ее абонент; об этом я думал не больше, чем думаешь об устройстве телефонной станции, разговаривая по телефону. Гарт, которого нельзя упрекнуть в недостатке желчности, заметил, что я готов вообразить мои ночные tête à tête с компьютером в духе бредовых рассказов, как романтические свидания вдали от остального мира, но совсем не так, как к ним относится большинство абонентов, тех, которые между третьим и четвертым часом обычно спят, из-за чего сеть в предутреннее время используется менее интенсивно и мой *IBM* мог работать с гораздо большей нагрузкой, чем утром, в часы пик.

Гарт просмотрел счета, которые *UPI* платило как абонент, и оказалось, что раза два мой *IBM* использовал сразу от 60 до 65% всей федеральной сети. Правда, эти непостижимо большие нагрузки длились недолго, по несколько десятков секунд, но и так кто-нибудь давно должен был заинтересоваться, почему какой-то дежурный журналист агентства печати использует из сети мощность, в двадцать раз превышающую ту, которая необходима для подсчета всех рубрик национального дохода? Сейчас почти все расчеты производятся машинами, и контроль за оплатой счетов также ведется, как известно, компьютером; компьютеры же ничему не удивляются, по крайней мере до тех пор, пока счета оплачиваются во время; в этом не было никаких проблем, так как расчеты ведет также компьютер — наш, бухгалтерии *UPI*. Сошло и то, что за мой интерес к пейзажу Syrtis Minor на Марсе *UPI* запла-

тило 29 000 долларов — довольно много, если учесть, что интерес не был удовлетворен. И хотя компьютер тогда был нем, как камень, он тем не менее сделал все, что было в его силах, и в течение восьми минут молчания, прерванного уклончивой фразой, он выполнил биллионы и триллионы операций — это черным по белому было записано в счете за месяц. Другое дело, что характер этих зашифрованных операций остался для нас загадкой. Была это какая-то чисто алгебраическая магия.

Хочу предупредить вас, что это не история о духах. Потусторонние явления, предчувствия, мистические пророчества, проклятия, призраки и все другие честные, ясные, привлекательные и прежде всего простые создания ушли из нашей жизни навсегда. Чтобы точнее описать дух, который вселялся в машину *IBM* через главную муфту федеральной сети, следовало бы изображать диаграммы, рисовать модели, а в качестве детективов использовать одни компьютеры, чтобы они добирались до других. Дух нового типа рождается из высшей математики, и потому он такой неуловимый. Раньше, чем я заставлю ваши волосы встать дыбом, я должен рассказать кое-что из того, что мне говорил Гарт.

Информационная сеть напоминает электрическую, только вместо энергии из нее потребляется информация. Циркуляция же — будь то электроэнергия или же информация — напоминает движение воды в резервуарах, соединенных трубопроводами. Ток идет в ту сторону, где сопротивление наименьшее, или где потребность наибольшая. Если разорвать один из силовых кабелей, электроэнергия сама найдет себе окольный путь, что может привести к авариям и перегрузкам. Образно говоря, мой *IBM*, когда утрачивал связь с телетайпом, обращался за помощью к сети, которая отзывалась на этот призыв со скоростью более десяти тысяч километров в секунду, ибо именно с такой скоростью идет ток в проводах. Пока вызывалась эта помощь, проходила одна-две секунды, в течение которых компьютер молчал. Затем связь как бы восстанавливалась, но каким именно способом — об этом мы и в дальнейшем не имели понятия.

Все, сказанное до сих пор, имело очень наглядный физический характер и даже поддавалось пересчету на доллары, только лишь бы добытые сведения были чисто негативными. Мы уже знали, что нужно делать, чтобы компьютер потерял свой необычайный талант; в этом случае достаточно было отсоединить его от информационной сети. Но мы по-прежнему не понимали, как могла ему помочь сеть и как именно она добиралась до какого-то Шербада, где в этот момент происходило землетрясение, либо до зала в Рио, в котором происходил боксерский матч? Сеть представ-

ляет собой замкнутую систему соединенных друг с другом компьютеров, слепую и глухую по отношению к внешнему миру, с выходами и входами, которыми являются телетайпы, телефонные приставки, регистраторы в корпорациях или федеральных учреждениях, пульта управления в банках, энергосистемах, в больших фирмах, аэропортах и т. д. У нее нет ни глаз, ни ушей, ни собственных антенн, ни чувствительных датчиков, и, кроме того, она охватывает собой только территорию Соединенных Штатов; как же она могла получать информацию о том, что происходило в каком-то Иране?

Гарт, который знал об этом ровно столько же, сколько и я, то есть не знал ничего, вел себя совсем не так, как я, он сам таких вопросов не ставил и не давал мне открывать рот, когда я пытался забросать его ими. Когда же ему не удалось удержать меня и когда я, обозлившись, наговорил ему неприятных вещей, легко слетающих с языка между третьим и четвертым часом бессонной ночи, он пояснил мне, что он не гадалка, не знахарь и не ясновидец. Сеть, как оказалось, проявляет свойства, ранее в ней не запланированные и не предвиденные; они ограничены, как показывает история с Марсом, но имеют физический характер, то есть поддаются исследованию, и исследования могут дать через некоторое время определенные результаты, которые, вероятно, не будут ответами на мои вопросы, так как подобные вопросы в науке вообще не принято ставить.

Согласно принципу Паули, каждое квантовое состояние может быть занято только одной элементарной частицей, а не двумя, пятью или миллионом, и физика ограничивается только такой констатацией, поэтому нельзя ей ставить вопрос, почему этот закон строго выполняется всеми частицами и кто или что запрещает частицам вести себя иначе. Согласно принципам индетерминизма, поведение частиц описывается статистически, а в границах этого индетерминизма они позволяют себе вещи неприличные, с точки зрения классической физики, или даже кошмарные, так как нарушают правила поведения, но поскольку происходит это в согласии с принципом неопределенности, их никогда нельзя наблюдать на месте преступления, где они нарушают этот закон. И опять нельзя спрашивать, как могут частицы позволять себе эти выходки в рамках индетерминистских наблюдений, кто им разрешил так вести себя, вопреки здравому смыслу, так как такие вещи не относятся к физике.

В известном смысле действительно можно было бы считать, что в пределах неопределенности частицы ведут себя как злоумышленник, абсолютно уверенный в своей безнаказанности, по-

тому что выбранный им метод действия таков, что никому не удастся его поймать на месте преступления; но это антропоцентричные способы мышления, которые не только ни к чему не приводят, но вносят вредную путаницу, ибо элементарным частицам приписывается человеческое коварство или хитрость.

Итак, информационная сеть, как можно судить, способна получать информацию о том, что делается на Земле, даже оттуда, где сети вообще нет, нет даже никаких датчиков. Можно было бы заключить, очевидно, что сеть создает «собственное поле перцепции» с «телеологичными градиентами», или же, используя терминологию, выдумать иные псевдообъяснения, которые, однако, не будут иметь никакой научной ценности; речь идет о том, чтобы установить, что, в каких границах, при каких начальных и ограничительных условиях сеть может выполнять, а все остальное относится уже к современной научной фантастике. О том, что окружающий мир можно познавать без зрения, слуха и иных органов чувств, мы уже знаем, ибо это доказано специально созданными моделями и исследованиями.

Предположим, что мы имеем цифровую машину с оптимизатором, обеспечивающим максимальный темп вычислительных процессов, и что эта машина сама может перемещаться по площади, половина которой освещена солнцем, а половина не освещена. Если машина, находясь на солнце, перегреется и темп вычислений снизится, оптимизатор включит двигатель и машина будет перемещаться по этой площади до тех пор, пока не попадет в тень, где охладится и начнет работать лучше. Таким образом, машина эта хотя и не имеет глаз, но она способна отличить свет от тени. Пример этот очень примитивный, однако он показывает, что можно ориентироваться в окружающей обстановке, не обладая какими-либо органами чувств по отношению к внешнему миру.

Гарт одернул меня, во всяком случае на некоторое время, и занялся своими расчетами и экспериментами, а я получил возможность размышлять о чем мне заблагорассудится.

Этого он уже не мог мне запретить. Возможно, когда какое-нибудь очередное предприятие включит в сеть свой компьютер, думал я, критический порог сети без чьего-либо ведома окажется превзойденным, и сеть станет организмом. И сразу же на ум приходит образ Молоха, чудовищного паука, электронного спрута с кабельными щупальцами, зарытыми в землю от Скалистых гор до Атлантики, который, подсчитывая письма и распределяя пассажирские места в самолетах, одновременно в тайне вынашивает страшные планы овладения Землей и порабощения людей.

Все это, конечно, чепуха. Сеть не является таким организмом, как бактерия, дерево, зверь или человек, попросту выше критической точки сложности она становится системой, как становится системой звезда или галактика, когда в пространстве накопится достаточно материи. Сеть это система и организм, не похожий ни на один из названных, а именно новый, такой, какого еще не было. Мы ее, правда, сами построили, не зная до конца, что же именно мы создали. Мы пользовались ею, но это были лишь мелкие крохи, как если бы муравьи паслись на мозге, занятые поиском среди миллионов происходящих в нем процессов того, что возбуждает их вкусовые усики и челюсти.

Гарт обычно приходил на мое дежурство незадолго до трех часов с портфелем, набитым бумагами, термосом, полным кофе, и принимался за дело, а я чувствовал себя, как дурак. Что, однако, я мог предпринять, если он был прав с точки зрения пользы для дела?

Я по-прежнему продолжал размышлять по-своему, придумывать очередные объяснения. Например, я представлял себе, что мир мертвых до сих пор предметов, высоковольтные линии, подводные кабели телеграфа, телевизионные антенны, даже металлические сетки ограждений, арки и детали мостов, рельсы, подъемники, арматура в зданиях из железобетона, что все это импульсом из сети сразу же превращается в огромное следящее устройство, которым управляет мой *IBM* в течение считанных секунд. Что именно он становится центром кристаллизации этой мощи, показывало несколько наглядных примеров.

Но даже эти мои смутные предположения не могли объяснить хоть как-нибудь поразительные и такие неоспоримые факты, как способность предвидеть события и двухминутное ограничение этой способности,— я принужден был терпеливо молчать, ибо видел, что Гарт полностью поглощен задачей.

Перехожу к фактам. Мы обсудили с Гартом две вещи — практическое использование эффекта и его механизм. Вопреки ожиданиям практические перспективы использования эффекта 137 секунд не оказались ни особенно широкими, ни особо важными, эффект производил скорее внешнее впечатление какого-то чисто фантастического действия. Предсказания судеб народов и хода всемирной истории в целом не вмещаются в интервал двух минут, кроме того, даже предсказание будущего на две минуты вперед сталкивается с, казалось бы, второстепенной, но тем не менее решающей преградой: чтобы компьютер начал выдавать эти свои безошибочные прогнозы, его необходимо сперва навести на соответствующий след, нужным образом нацелить, а для этого требуется время

более продолжительное, чем две минуты, поэтому, если речь идет о практическом использовании эффекта, то оно сводится на нет. Длительность интервала предсказания нельзя увеличить ни на секунду.

Гарт предполагал, что это какая-то константа универсального значения, хотя и неизвестная нам. Конечно, можно было бы использовать эффект для игры в рулетку или чтобы срывать банк в больших игорных домах, однако стоимость нужного для этого оборудования была бы немалой (*IBM* стоит около четырех миллионов долларов), а организация двусторонней связи, к тому же хорошо замаскированной, между игроком за столом и вычислительным центром тоже была бы крепким орешком, не говоря уже о том, что сразу же могло возникнуть подозрение в обмане. Впрочем, такое использование эффекта нас не интересовало.

Гарт составил каталог отдельных достижений нашего компьютера. Если спросить его о поле ребенка, который должен через две минуты родиться у конкретной женщины в конкретном месте, то он определит пол безошибочно, однако такое предсказание едва ли можно признать за что-нибудь, достойное стараний.

Если вы начнете бросать монету или игральную кость, сообщая компьютеру начальные результаты серии бросков, а потом перестанете давать информацию, то он определит результаты всех последующих бросков заранее, вплоть до 137 секунд, и только. Вы должны, очевидно, действительно бросать эту кость или монету и сообщать компьютеру очередные результаты, не менее 36—40 раз, что сильно напоминает наведение собаки на нужный след — один из миллиардов, так как в любой момент бог знает сколько людей бросают монеты или кости, а компьютер, который глух и нем, должен найти в этой массе вашу серию бросков, как единственно нужную ему. Вы должны по-настоящему бросать кость или монету. Если перестанете бросать, то компьютер будет выстукивать только нули, а если вы бросите только два раза, то он покажет только два эти результата. Ему поэтому необходимо соединение с сетью, хотя, как подсказывает здравый смысл, сеть ему не может помочь, если кость бросают всего в двух шагах от него — зачем здесь нужна сеть? Дело в том, что отключенный от сети, он не выстучит ни слога, неважно, что мы не понимаем этой связи.

Заметьте, что компьютер заранее знает, будете вы или не будете бросать кость, а затем предугадывает развитие всей ситуации, то есть не только результат бросания кости, но и ваше поведение, во всяком случае все, что касается вашего решения бросать или не бросать кость. Мы делали и такие пробы. Я, например,

решал бросать кость шесть раз подряд, а Гарт должен был мне помешать или вообще сделать бросок невозможным; причем я не знал его решения относительно этой серии бросков.

Оказалось, что компьютер заранее знал не только мой план бросания, но и поведение Гарта, то есть знал, когда Гарт намеревался схватить меня за руку, державшую кубок, чтобы я не мог бросить очередной раз. Однажды получилось так, что я хотел бросить четыре раза подряд, а бросил за соответствующее время только три, так как споткнулся о лежащий на полу кабель и не успел вовремя бросить кость. Компьютер каким-то образом установил, что я должен был споткнуться, чего и сам я не ожидал, то есть он знал обо мне гораздо больше, чем известно мне самому.

Мы обсуждали и значительно более сложные ситуации, в которых должно было участвовать много людей сразу, например, такие, как борьба — настоящая — за кубок с костями, но подобных экспериментов не проводили, так как для них требовалось много времени, чего мы себе не могли позволить. Гарт использовал также вместо костей небольшое устройство, в котором распадались отдельные атомы изотопа, а на экране появлялись вспышки, так называемая сцинтилляция. Компьютер не умел предвидеть их точнее, чем физик, то есть он давал только вероятность распада. Монет и костей это ограничение не касалось. Очевидно потому, что они макроскопические объекты. В нашем же мозгу решения определяются микроскопическими процессами. По-видимому, говорит Гарт, они не имеют квантового характера.

Во всем этом существуют, казалось бы, противоречия. Почему компьютер может предвидеть то, что случится через две минуты, хотя, задавая этот вопрос, я сам еще не знаю, что сделаю тот шаг, который приведет к осуществлению прогноза, но в то же время он не может предвидеть, какие атомы радиоактивного изотопа распадутся? Противоречия, утверждает Гарт, заложены не в самих событиях, а в свойствах наших представлений о мире, особенно о времени. Гарт считает, что не компьютер предвидит будущее, а мы сами определенным особым образом ограничены в нашем восприятии мира.

Вот его слова: если вообразить себе время как прямую линию, протянувшуюся из прошлого в будущее, то наше сознание можно рассматривать как колесо, катящееся вдоль этой линии и касающееся ее только в одной точке. Точка эта называется текущим моментом и она неотвратимо становится прошлым моментом, уступая место новой точке. Исследования психологов показали, что то, что мы считаем текущим моментом, лишенным длительности вре-

мени, в действительности есть протяженный отрезок, длиной несколько меньше, чем полсекунды. Поэтому возможно, что касание с линией, представляющей время, может быть еще более продолжительным, что можно пребывать в контакте с большим ее отрезком в каждый данный момент и что максимальная протяженность этого отрезка времени и составляет именно 137 секунд.

Если так есть в действительности, говорит Гарт, то вся наша физика все еще остается антропоцентричной, ибо исходит из основ, не имеющих ценности за пределами человеческих ощущений и знаний. Это означает, что мир устроен иначе, чем сейчас утверждает физика, ясновидение как предсказание будущего, основанное на электронике или не на ней, никогда не может иметь места. Физика переживает кошмарные затруднения в связи с представлениями о времени, которое, согласно ее общим теориям и законам, должно быть обратимым, но на самом деле таковым не является. Кроме того, задача измерения времени в масштабах внутриатомных явлений создает различные трудности, тем большие, чем меньше измеряемый интервал времени. Причина этого, возможно, в том, что понятие текущего момента не только относительно в том смысле, как об этом говорит теория Эйнштейна, то есть зависит от локализации наблюдателей, но зависит также от самой шкалы явлений в том же самом «месте».

Компьютер пребывает попросту в с в о е м физическом текущем моменте, а этот момент более обширен во времени, чем наш. То, что для нас должно наступить через две минуты, для компьютера уже наступило точно так же, как то, что мы ощущаем и видим в данный момент. Наше сознание составляет только частицу всего того, что происходит в нашем мозгу, и когда мы решаем бросить кость только один раз, чтобы «обмануть» компьютер, который должен предсказывать всю серию бросков, он об этом сразу же узнает.

Каким образом? Это мы можем представить себе, используя простейшие примеры: молния и гром наблюдаются одновременно вблизи места электрического разряда в атмосфере и как различающиеся во времени при отдалении от места разряда. Молния в этом примере это мое принятое молча решение перестать бросать кость через некоторое время, а гром это момент, когда я действительно отказываюсь от очередного броска; компьютер каким-то неведомым образом выхватывает из моего мозга «молнию», то есть принятое решение. Гарт утверждает, что это имеет важные философские последствия, так оно означает, что если мы имеем свободу выбора, то возможна она только за пределами

137 секунд, так что мы не можем обнаружить этого самонаблюдениями.

В пределах этих 137 секунд мозг наш ведет себя подобно телу, которое движется по инерции и не может сразу изменить направления движения. Для того чтобы начала действовать отключающая сила, необходимо время, и что-то в этом роде творится в каждой человеческой голове. Все это не относится, однако, к миру атомов и электронов, ибо там компьютер точно так же бессилён, как наша физика.

Гарт считает, что время в действительности не похоже на какую-то линию, что оно представляет собой скорее континуум, который на макроскопическом уровне имеет совсем иные свойства, чем «внизу», там, где существуют только атомные масштабы. Гарт допускает, что чем тот или иной мозг или мозгоподобная система больше, тем протяженнее его стык с временем или с так называемым текущим моментом, тогда как атомы не имеют таких контактов вообще, лишь как бы танцуют вокруг этой точки. Одним словом, текущий момент это своего рода треугольник: точка, нулевая протяженность там, где электроны и атомы, и самая широкая там, где большие тела, обладающие сознанием.

Если вы скажете, что ничего из этого не поняли, то я отвечу вам, что и я тоже ничего не понял, и, более того, что Гарт никогда не осмелился бы говорить таких вещей с кафедры или опубликовывать в научных изданиях.

Собственно говоря, я рассказал вам уже все, что хотел сказать, и остались только два эпилога — один серьезный, а другой вроде печальной истории, которую отдаю вам безвозмездно.

Первый состоял в том, что Гарт уговорил меня передать исследования в руки специалистов. Один из этих людей, известная фигура, сказал мне через несколько месяцев, что после разборки компьютера и восстановления его добиться снова эффекта не удалось. Но мне это объяснение показалось маловероятным, потому что специалист, с которым я говорил, носил мундир. Кроме того, ни одного слова об этой истории не появилось в печати.

Сам Гарт также был быстро отстранен от исследований. Он не хотел бросать эту тему и только раз, после выигрыша партии ма-джонга, сказал ни с того ни с сего, что сто тридцать семь секунд безошибочного предвидения это в известных условиях разницы между уничтожением и спасением континента. На этом он замолчал, как бы прикусив язык, но, уже уходя от него, я увидел на столе том какого-то нашпигованного математикой труда о ракетах, уничтожающих ядерные головки. Возможно, что он имел в

своих мыслях такие поединки ракет. Но все это только мои домыслы.

Второй эпилог произошел незадолго до первого, а точнее за пять дней до приезда тучи экспертов. Я расскажу, что тогда было, но заранее отказываюсь комментировать и отвечать на любые вопросы.

Было это уже в конце наших с ним экспериментов. Гарт должен был привести на мое дежурство одного физика, которому казалось, что эффект 137 имеет связь с таинственным числом 137, напоминающим пифагорейский символ основных свойств Космоса. Первым обратил внимание на это число покойный уже английский астроном Эддингтон. Физик не смог, однако, прийти, и Гарт явился один около трех часов, когда номер уже шел в машину.

Гарт научился просто феноменально обращаться с компьютером. Он сделал несколько небольших усовершенствований, которые сильно облегчили нашу работу. Не нужно было уже вытаскивать кабели из гнезд, так как на каждом кабеле был установлен прижим и кабель отключался одним касанием пальца. Как вы уже знаете, компьютер нельзя прямо спрашивать ни о чем, но ему можно передавать любые тексты, напоминающие тот род беслично отредактированной информации, каким характеризуются газетные заметки.

У нас была обычная электрическая пишущая машинка, выполняющая роль телетайпа. На ней выстукивался соответственно составленный текст, и его прерывали в заранее выбранный момент так, чтобы компьютер дальше сам продолжал сфабрикованные «сообщения».

Гарт принес в этот раз игральные кости и раскладывал свои вещи, когда позвонил телефон. Звонил дежурный линотипист Блэквуд. Он относился к посвященным.

— Слушай,— говорит он,— у меня тут Эми Фостер, знаешь, жена Билла, ему удалось бежать из больницы. Он пришел домой, силой отобрал у нее ключи от машины, сел и поехал, но в известном состоянии. Она уже сообщила полиции, а сейчас прилетела сюда, может быть, мы ей чем-нибудь поможем. Я знаю, что это бессмысленно, но есть ведь тот твой пророк — может быть он что-нибудь придумает, как считаешь?

— Не знаю,— отвечаю ему,— не представляю себе... но... знаешь... нельзя ее так отправлять. Пришли ее к нам, пусть поднимется на служебном лифте.

Пока она поднималась, я объяснил Гарту, что наш коллега, журналист Билл Фостер, за последние два года стал много пить, попивал даже на дежурствах, так что его выгнали с работы. Тогда

он начал глотать еще таблетки. В течение месяца дважды попадал в серьезные автомобильные аварии, так как водил машину в полусознательном состоянии, и его лишили прав. В доме был ад, наконец с тяжелым сердцем жена вынуждена была отдать его на принудительное лечение. А сейчас он каким-то образом выскользнул из больницы, вернулся домой, забрал машину и выехал неизвестно куда, по меньшей мере пьяный, разумеется. А может быть, и после наркотика. Жена пришла сюда, полицию уже известила, ищет помощи, понимаете, доктор, в чем дело. Сейчас будет тут. Как вы считаете, можно что-нибудь сделать? Я показываю глазами на компьютер.

Гарт не удивился — это человек, которого нелегко заставить врасплох, — и говорит:

— Что ж, рискнем? Прошу подключить машину к компьютеру.

Я принялся подключать ее, когда появилась Эми. Видно было, что она не сразу отдала Биллу те ключи. Гарт пододвинул ей кресло и говорит:

— Речь идет о времени, не так ли? Не удивляйтесь никаким вопросам, которые я буду задавать, и прошу отвечать как можно точнее. Сперва нужны подробные данные о вашем муже: имя, фамилия, внешний вид и т. д.

Она отвечает, довольно хорошо владея собой, лишь руки ее слегка дрожат:

— Роберт Фостер, 136 улица, журналист, тридцать семь лет, пять футов семь дюймов роста, брюнет, носит роговые очки, на шее ниже левого уха шрам — след автомобильной катастрофы, вес 169 фунтов, группа крови нулевая... достаточно?

Гарт не отвечает, а начинает стучать. Одновременно на экране появляется текст: «Роберт Фостер, живущий на 136 улице, мужчина среднего роста, с белым шрамом ниже левого уха, нулевая группа крови, выехал сегодня из дома автомобилем...».

— Прошу указать марку автомобиля и регистрационный номер — обращается к ней.

— Рамблер, *N. Y.*, 657992.

«Выехал сегодня из дома автомобилем марки Рамблер, *N. Y.*, 657992 и находится сейчас...»

Тут доктор нажал выключатель. Компьютер предоставлен самому себе. Компьютер ни минуты не колеблется, на экране растет текст:

«И находится сейчас в Соединенных Штатах Америки. Плохая видимость, вызванная дождем, при низкой облачности, затрудняет вождение...»

Гарт выключает компьютер. Задумывается. Начинает еще раз писать сначала, с той разницей, что после «находится» пишет дальше «на участке дороги между» — тут опять прекращается приток информации. Компьютер продолжает без колебаний: «...Нью-Йорком и Вашингтоном. Занимая крайний ряд, обгоняет с недозволенной скоростью длинную колонну грузовых автомобилей и четыре цистерны Shell'a».

— Это уже кое-что,— произносит Гарт,— но для нас недостаточно направления, мы должны вытянуть больше.— Гарт приказывает мне аннулировать то, что было, и начинает еще раз.

— «Роберт Фостер... и т. д. ...находится на отрезке дороги между Нью-Йорком и Вашингтоном между километровым столбом...». Тут Гарт выключает кабель. Компьютер делает тогда что-то, чего мы раньше не видели. Он аннулирует часть текста, который уже появлялся на экране, и мы читаем: «Роберт Фостер... выехал из дома... и находится сейчас в молоке на обочине дороги Нью-Йорк — Вашингтон. Следует опасаться, что ущерб, понесенный фирмой Muller-Ward не будет восполнен страховым обществом United TWC, так как неделю назад истек срок оплаты очередного взноса и страховой полис не был возобновлен».

— Он сошел с ума?— спрашиваю я.

Гарт делает мне знак, чтобы я сидел тихо. Начинает писать еще раз, доходит до критического места и выстукивает: «...Находится сейчас на обочине дороги Нью-Йорк — Вашингтон в молоке. Его состояние...» — здесь обрывает. Компьютер продолжает дальше: «...таково, что непригодно для использования. Из обеих цистерн вылилось 29 гектолитров. При нынешних рыночных ценах...»

Гарт просит меня аннулировать и это и произносит вслух:

— Типичное недоразумение, так как «его» могло относиться с точки зрения грамматики и к Фостеру и к молоку. Еще раз!

Включаю компьютер. Гарт упорно пишет это странное сообщение. После «молока» он ставит точку и стучит с новой строки: «Состояние Роберта Фостера в настоящий момент...», затем обрывает. Компьютер останавливается на секунду, далее очищает весь экран — мы видим перед собой пустой, тускло светящийся квадрат без единого слова, признаюсь, волосы начали у меня становиться дыбом. Затем появляется текст: «Роберт Фостер не находится ни в каком особом состоянии, так как он только что пересек на автомобиле марки Рамблер N. Y., 657992 границу между штатами».

«Чтоб тебя черт побрал...» — думаю, вздохнув с облегчением. Гарт с кривой неприятной усмешкой на лице опять приказывает все аннулировать и начинает все сначала. После слов «...Роберт Фостер находится сейчас в месте, которое определяется...» не-

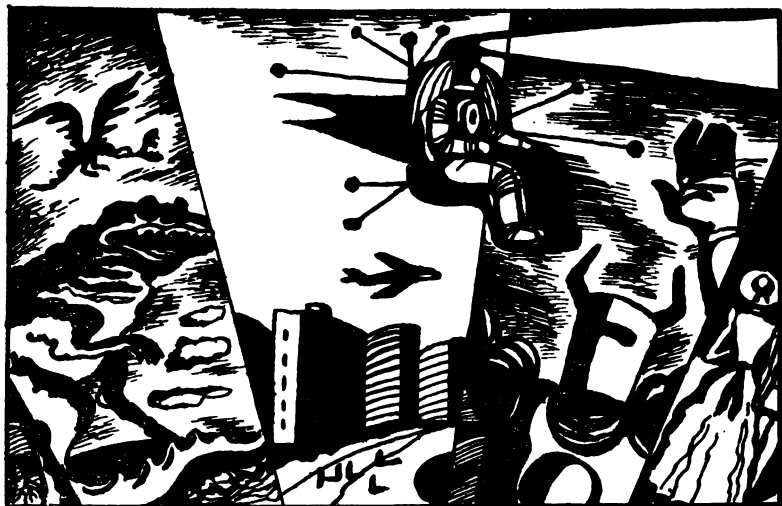
жимает выключатель. Компьютер продолжает: «...по-разному, в зависимости от того, каких кто придерживается взглядов. Следует признать, что если речь идет о личных взглядах, то согласно нашим обычаям и нашей Конституции, никому не следует навязывать их насильно. Во всяком случае этого мнения придерживается наша газета».

Гарт встает, сам выключает компьютер и незаметно кивает мне головой, чтобы я выпроводил Эми, которая, как мне кажется, ничего из этой магии не поняла. Когда я вернулся, он звонил по телефону, но говорил так тихо, что я ничего не разобрал. Положив трубку, он посмотрел на меня и сказал:

— Он выскочил на другую сторону дороги и столкнулся в лоб с цистернами, которые везли молоко в Нью-Йорк. Жил еще около минуты, когда его вытаскивали из машины, поэтому компьютер сообщил сначала «находится в молоке». Когда же я дал этот отрывок в третий раз, все уже было кончено, да и в самом деле можно думать по-разному о том, где находишься после смерти, и даже вообще находишься ли где-нибудь.

Как видно из сказанного, использование необычайных возможностей, которые открывает нам прогресс, не всегда легкое дело, не говоря уже о том, что это может быть просто кошмарной забавой, принимая во внимание мешанину журналистского жаргона и безбрежной наивности или, если хотите, безразличия к людским делам, чем в силу обстоятельств стала электронная машина.

Можете в свободное время поразмыслить над тем, что я вам рассказал. У меня же ничего не осталось, чтобы добавить. Лично я хотел бы послушать какую-нибудь другую историю, чтобы забыть об этой.



Еремей Парнов В ГОД „БАШНИ СОЛНЦА“

Башня Солнца над шумной и многоязыкой ярмаркой в Осаке. Мучительное и торжественное восхождение от мертвой материи к высшим формам жизни и разума; величественная лестница эволюции. Бог создал человека по своему образу и подобию, человек отплатил ему тем же. Этот мудрый афоризм, хотя и утративший для нас свою религиозную основу, приходит на память, когда эскалатор несется мимо разноцветных причудливых масок. Здесь, наверное, боги всех времен и народов, грозные и милостивые, с ликами устрашающими и прекрасными. Мифология человечества. Его долгий сон, его прошлое. Все дальше и дальше уводит лестница эволюции, к иным высотам, к иным свершениям. Торжество разума и гармонии, космическое будущее Земли. Это уже иная реальность и иная мифология, рожденная нашим прекрасным и противоречивым веком.

Не случайно, очень не случайно то, что в числе тех, кто задумал этот величественный памятник истории побед и заблуждений человека,—ведущие фантасты Японии. Научная фантастика — уникальное детище культуры нашего века, мост между могучими путями познания — наукой и искусством. Впервые научные фантасты мира встретились за одним столом. И опять, наверное, не случайно, что произошло это в Японии, в год Всемирной выставки. Фантастика оказалась права: человечество действительно превратилось в космический фактор. В этом можно было наглядно убедиться, побывав в павильонах СССР и США. Но то, что фантастике — космической, земной и подводной, целиком был посвящен один из японских павильонов, удивило даже научных фантастов. Конечно, не самих японцев, много сделавших для того, чтобы фантастика стала повседневным элементом культурной жизни их страны.

Ах, неприступным, вечным, как скала
Хотелось бы мне в жизни этой быть!
Но тщетно все.
Жизнь эта такова,
Что мы не в силах бег ее остановить!

Эти слова принадлежат древнему японскому поэту Яманозэ Окура. Прекрасная капля, в которой отразился большой многоцветный мир японской поэзии, японской литературы. Взаимоотношения человека и сложной быстротекущей жизни, власть прошлого и надежды на будущее, философские размышления об ограниченности человеческих возможностей и безграничности желаний — вот что всегда было главным для японской литературы. Очевидно, эти вечные темы надолго, если не навсегда, останутся в центре внимания искусства вообще. Но у японской культуры есть ряд особых, только ей присущих черт. Это прежде всего лаконичная точность и беспощадность. Гуманная беспощадность хирурга. Эти черты присущи и современной японской фантастике.

В послевоенной Японии фантастика развивается исключительно бурно. Этот поразительный рост необычен даже для страны с такими богатыми «фантастическими» традициями, как Япония. Советский читатель познакомился с фантастическими новеллами Уэда Акинари (1734—1809) «Луна в тумане», великолепной повестью о привидениях «Пионовый фонарь» Санъютэя Энтё (1839—1900) и повестью Акутагавы Рюноскэ «В стране водяных», написанной в 1926 году. Хорошо знакомо нашему читателю и творчество выдающегося современного фантаста Кобо Абэ («Четвертый ледниковый период», «Женщина в песках», «Чужое лицо»).

В японской фантастике, на первый взгляд, сравнительно легко различить течения, характерные для фантастики европейской. Тут

и готический роман с привидениями, где сверхъестественное на поверку оказывается реальным, и странная тревожная фантастика, граничащая с иррациональным, близкая к Кафке и «Поминкам по Финнегану» Джойса, и тонкая акварель, вся сделанная на одном дыхании, подобно некоторым рассказам Брэдли, и почти классический роман-предупреждение. Но это только внешняя сторона. Как «Пионовый фонарь» ничего общего не имеет с «романами ужасов» Анны Радклифф, так и «Четвертый ледниковый период» — явление чисто японское. Как, приходя с работы, японец меняет европейский костюм, ботинки и галстук на кимоно и соломенные сандалии, так и атмосфера исследовательского института, американизированные отношения, сигареты и виски являются только внешним обрамлением для романов Кобо Абэ. Истинные отношения героев, их мораль, взгляды на жизнь, смерть и любовь, то есть все то, из чего складывается душа человека, совсем иные, чем это может показаться при беглом знакомстве. И ключ к ним — японская классика, японская культура, японский характер.

Но Кобо Абэ отнюдь не традиционалист, искусно замаскировавшийся под англоязычного новатора. Он действительно новатор, в том числе и в научной фантастике. Ведь, к примеру, конфликт «Четвертого ледникового периода» выходит далеко за рамки конфликтов его героев. Это не частная проблема, даже не узко японская проблема. Кобо Абэ исследует вопрос общемирового значения. Если его коротко сформулировать, он звучит так: «Готовы ли люди к встрече с будущим?»

Как и всякая другая литература, японская фантастика далеко не равноценна. Рядом с такими тонкими мастерами, как Сакэ Комацу, работают и писатели, рабски подражающие западной фантастике. Причем многие из них подражают лучшим ее образцам, но все равно, перенесенные на японскую почву, типично американские сюжеты выглядят чужими аляповатыми цветами, слишком яркими для нежно-зеленых полутонов долин и синих контуров сопков, повторяющих классические очертания Фудзи. Столь же чужда или, быть может, нова для Японии принятая в Европе стилизация восточной ориенталистики. «Корабль сокровищ» и «Рационалист» Синити Хоси, пожалуй, наиболее характерные образцы этого течения.

Японию по справедливости можно назвать «четвертой фантастической державой». Фантастическая литература Японии богата и разнообразна. Часто встречаются чисто традиционные произведения, навеянные богатым опытом волшебных повествований средневековья. Впрочем, даже авангардистские произведения тоже окрашены национальным колоритом. Но много и таких произведений,

которые напоминают о Японии лишь именами своих героев. Влияние англо-американской фантастики явно чувствуется и в рассказах Синити Хоси и у Таку Маюмура («Приказ о прекращении работ»). Сами по себе это очень неплохие, умело сделанные вещи. Но манера, идеи да и весь строй повествования типичны именно для американской фантастики.

И еще одна, на мой взгляд, основная, особенность японской фантастики. Она ясно ощущается во многих произведениях Кобо Абэ и Сакэ Комацу. Это память о Хиросиме и Нагасаки. Вечная скорбь и сдержанный гнев, и взгляд в будущее со страхом и недоверием попеременно с надеждой.

Своеобразными приемами при исследовании грядущего пользуется японский писатель Сакэ Комацу. Советский читатель уже знаком с его творчеством по сборнику «Похитители завтрашнего дня», повести «Черная эмблема сакуры» и несколькими рассказами, среди которых особенно выделяется «Времена Хокусая» — рассказ, вошедший в сборник японской фантастики (издательство «Мир», 1967).

Сквозь атомный пепел и обломки милитаризма пробивается зеленый росток. Суждено ли ему вырасти? Во что он превратится? В уродливого мутанта? Или надежда все же есть?

Лицом к лицу столкнулся японский мальчик с непостижимой для него Службой времени. Временные экраны рассекают повествование. Под разными углами проецируют возможное будущее. И как маленький мир, вобравший в себя Вселенную, многогранен и изломан мозг японского мальчика, стремящегося отдать жизнь за императора. Неужели даже молодым росткам суждено свершить самоубийственный цикл? Влияние непреодоленного прошлого на сегодняшнюю жизнь людей, пожалуй, центральная тема Сакэ Комацу. Тревожным набатом гудит прошлое в рассказе «Повестка о мобилизации». Война давным-давно кончилась, над атомным пепелищем распустилась жимолость, раздвинув трещины в искаженном бетоне, пробились к небу весенние ростки новой культуры и новой морали. Самурайские изогнутые мечи и камикадзе, которые перед последним полетом осушают последнюю в жизни чашку сакэ, серые линкоры в тропических морях и публичные хакари перед императорским дворцом — весь этот империалистический железный хлам и отдающая нафталином романтика как будто остались навсегда позади. Но почему же тогда так болят в непогоду старые раны? Почему давно проигранная война все еще посылает свои страшные повестки? Значит, где-то, пусть в сдвинутом по фазе или амплитуде временном мире, уже летят, вспенивая океан, торпеды, они нацелены в суда, дремлющие у Пирл-Харбора, а Б-29

с атомной бомбой на борту уже подлетает к Хиросиме. Может быть, в той войне все протекает иначе. Может быть, теперь императорский флот атакует Гонконг, а Пентагон наносит атомный удар по Нингате. Но война всегда война. Меняется стратегия и тактика, но чудовищная мясорубка не перестает затягивать в булькающий от крови зев свою привычную пищу.

Жертвой войны всегда становится будущее. Молодые нерасцветшие жизни и те жизни, которые могли бы возникнуть, приносятся на этот страшный алтарь.

Почему же войны никогда не кончаются? Почему, проигранные и полузабытые, посылают они свои повестки от лица давно умерших военных министров? Сакэ Комацу дает на это ясный ответ. Да потому, что кто-то этого хочет! Да потому, что не перевелись в обществе всякие «бывшие», обломки былой славы, «старые борцы», ура-патриоты. Они гремят костями и костылями. Они задыхаются в воздухе, напоенном запахом сакуры, а не кислой пороховой гари.

В рассказе «Повестка о мобилизации» маниакальная воля престарелого «психокинетика», корчащегося на больничной койке, гальванизирует смердящий труп былой войны. Не случайно этот старый вояка является отцом героя, от лица которого ведется повествование. Это схватка, смертельная схватка двух поколений. Это костлявая рука милитаризма, которая тянется к горлу молодой Японии. Ее нельзя не заметить, от нее нельзя отмахнуться. Иначе однажды утром кто-то найдет в почтовом ящике повестку о мобилизации.

Сакэ Комацу обращается к психикинезу не случайно. Для него это символ материализации человеческих желаний. Ведь желания действительно обладают материальной силой. Психический климат общества в конечном счете обуславливает совершенно реальные события. Японский писатель удивительно тонко синтезирует здесь современные данные социальной психологии с буддийским учением о карме.

Подобный же синтез осуществляет он и в рассказе «Развоплощенная», само название которого напоминает о раннебуддийских традициях. В самом деле, развоплощение — это конец пути страданий, нирвана, конец переходам из одного облика в другой. Об этом часто говорится в буддийской литературе. Вот, к примеру, отрывок из раннебуддийского сборника Дхаммапады:

Строитель дома! Погляди,
Ты вновь не возведешь строенья.
К развеществленью на пути
Мой разум одолел стремленья.

Именно эта буддийская ориенталистика и придает такое своеобразие рассказу «Развоплощенная». Однако научный фантаст Сакэ Комацу поворачивает эту проблему неожиданной стороной. Действительно, если развоплощение можно рассматривать как превращение чего-то в ничто под действием тех или иных сил, то те же силы могут создать из ничего нечто. В научной фантастике эта операция столь же обычна, как аннигиляция и материализация в физике. В сущности, мы имеем здесь дело с характерным для фантастики приемом рационального переосмысления сказки. Но западные фантасты, как, скажем, Кэтрин, переосмысливший в своем «хогбеновском» цикле кельтские сказания, обращаются обычно к европейской мифологии, а японец Сакэ Комацу, естественно, обратился к философской мифологии буддизма. Но это лишь одна сторона вопроса, связанная с национальными традициями. В рассказе «Развоплощенная» звучат и иные мотивы. В самом деле, разве не привычен для мировой литературы образ оскорбленной женщины, которая со слезами негодования и обиды кричит: «Я же сделала из него человека, а он...», или образ мужчины, покидающего подругу в критический момент. В то же время Сакэ Комацу напоминает нам о старой, бальзаковской теме овеществления желаний. Подобно тому как шагреновая кожа сжимается и усыхает, исполняя суетные человеческие желания, мир, созданный убогим воображением героев Комацу, размывается и исчезает. Мы видим, как рассказ-детектив оборачивается философским произведением.

«Повестка о мобилизации», «Черная эмблема сакуры», «Времена Хокусая» — во всех этих рассказах будущее жестко детерминирует прошлое или вновь и вновь возрождает его в возможных, точнее в резонансных вариантах. Сакэ Комацу лишь намеками проясняет загадочный характер таких связей. Зато в рассказе «Да здравствуют предки!» эпохи, разделенные необратимой вековой бездной, соединяет туннель через время-пространство, прокол через эйнштейновский континуум. Зачем писателю понадобилась такая конкретизация? На первый взгляд, она сопряжена с известными издержками. Загадочная Служба времени, двадцатилетней давности повестка и атомный отблеск на бирюзовой воде Хокусая — это прежде всего емкие художественные символы. Они создают определенное настроение, которое только усиливается недосказанностью. Туннель же из современной Японии в эпоху Эдо — просто фантастический атрибут с очень конкретной специализацией. Почему же Сакэ Комацу выбрал именно этот простой, эмоционально ограниченный прием? Не потому ли, что пещера в горе ведет именно в эпоху Эдо, когда, по мысли автора, Япония встала на путь, который определил ее сегодняшний облик? Это уже не

бабочка в рассказе Бредбери «И грянул гром», изменившая всю судьбу человечества. Это вполне конкретная эпоха, когда Япония решала роковую дилемму — оставаться ей в изоляции или раскрыть двери заморским купцам, чьи настойчивые требования подкреплялись пушками фрегатов. Сакэ Комацу не искал того «рокового» момента, который лег тяжким грузом на чашу весов, он не пытался наметить иной путь — к войне или нет. Одним словом, его «машина времени» не была использована для привычных в фантастике целей. Тогда зачем она понадобилась и почему временные переходы в рассказе «Да здравствуют предки!» совершаются со столь же небрежной легкостью, как в «31 июня» Пристли? На оба эти вопроса есть только один ответ:

«Вскоре патриотизм начал принимать уродливые формы. Появилась какая-то нелепая националистическая организация под названием «Поможем страдающему Эдо!». Члены этой организации устраивали шумные сборища, на всех зданиях, на всех углах расклеивали плакаты и лозунги.

— Спасем эпоху Эдо от когтей заморских чудовищ! — надрывались ораторы. — Создадим там высокоразвитую современную промышленность. Сделаем землю наших предков самой передовой страной девятнадцатого века! Мы уж покажем всем захватчикам, и бывшим и будущим! Граждане, дорогие братья, помогайте эпохе Эдо, помогайте Японии подготовиться ко второй мировой войне, чтобы нам не пришлось пережить поражение, которое мы уже пережили!..»

Вот он, ответ. Сакэ Комацу этим рассказом продолжает линию, намеченную «Повесткой о мобилизации». Он обнажает душу националиста, перетряхивает примитивный ура-патриотический хлам, чтобы найти на самом дне живучих микробов реваншизма! И чем дальше, тем декларативней раскрывает писатель свой замысел:

«Не меньшую жалость вызвала и довольно многочисленная толпа самураев, оставшаяся у нас. Двое покончили жизнь самоубийством, сделав себе харакири. Пятеро потеряли рассудок и теперь прозябают в психиатрической клинике. Наиболее спокойные и рассудительные из самураев смирились со своей участью и решили включиться в современную жизнь. Некоторые читают лекции о нравах и обычаях эпохи Эдо, другие устроились на работу в музеи национальной культуры. Кое-кто пытается заняться духовным воспитанием молодежи (выделено мной. — Е. П.), Эти люди не несут больше прическу тёнмагэ и по внешнему виду ничем не отличаются от прочих граждан. Но где бы они ни находились, чтобы ни делали, прошлое столетие живет в их сердцах...»

И далее: «Нет, нет, как бы ни светило солнце, какими бы яркими ни были краски, все равно за всем этим стоит черный призрак прошлого. Сколько еще поколений должно смениться... чтобы этот призрак развеялся навсегда? А вдруг прошлое оживет и с яростью одержимого вонзят свои страшные кривые когти в настоящее?..»

Здесь четко сформулировано авторское кредо — ключ ко всему «временному» циклу Сакэ Комацу. Японский писатель намного увеличил возможности фантастики, расширив ее до границ политической публицистики.

Рассказы «Продается Япония», «Новый товар», «Теперь, так сказать, свои...» и «Камагасаки 2013 года» являются, по сути дела, памфлетами. Писатель пристально всматривается в текущие воды сегодняшнего дня, в которых невозвратимые мгновения подводят итог прошедшему и формируют облик грядущего.

Неприкрытый империалистический разбой, кабальный договор, подавление человека и превращение его в автомат — вот он, итог прошлого. Но это и стартовая площадка, с которой ежесекундно взлетает ракета завтрашнего дня. Каким же будет оно, это завтра? Электронно-кибернетической нищетой? Камагасаки 2013 года? Остановитесь! Одумайтесь! Попробуйте вырваться из этого безумного беличьего колеса! Вот к чему призывает читателя Сакэ Комацу.

Эта же проблема пронизывает и роман Кобо Абе «Совсем как человек». Это, прежде всего, современный интеллектуальный роман. В нем почти нет действия, экспозиция намечена легкими фрагментарными штрихами. Основное место занимают диалог и внутренний монолог.

Повествование — подобно дуэли, стремительному поединку, в котором обыкновенный человек скрестил клинок с шестируким Шивой. Кажется, обычная человеческая логика побеждает. Молниеносно отыскивает она ошибку в игре партнера и резким ударом выбивает оружие. Этот резкий удар всегда чуточку запаздывает, потому что читатель успевает нанести его на какое-то мгновение раньше, чем автор радиопрограммы «Здравствуй, марсианин!». Но оба они готовы торжествовать победу одновременно. Ведь это победа человеческой логики, выход из странной двусмысленной, какой-то неловкой даже, ситуации. И в этот момент оба забывают, что фехтуют с Шивой. Победа логики автоматически превращает их загадочного партнера в человека. Только человек может погрешить против формальной науки, разработанной еще Аристотелем, только человек способен прибегнуть к софизму и неправильно построить силлогизм. И в этом главная ошибка сэнсэя и читателя, который покорно следует за ним. В момент окончательного

торжества логики в другой руке Шивы возникает новая шпага. Победа оборачивается поражением, а поражение — победой. Раскрыв матрешку, мы обнаруживаем в ней другую, но больших размеров. Странное, двойственное ощущение, подобное соучастию в потере рассудка. И поединок выходит на новую, более широкую и опасную арену.

Душевный мир сэнсэя близок и понятен нам, а ловкость и стремительность нападений «марсианина» пугают читателя. Здесь та же непостижимость и сумеречность, которую продемонстрировал Камю в своем «Незнакомце», та же потаенная, интуитивно угадываемая фальшь, которая прячется за словопрениями анонимных героев «Золотых плодов» Натали Саррот.

Но свести суть романа к поединку человека с многоруким божеством было бы непростительным упрощением. «Марсианин» в той же мере олицетворяет человеческое начало, что и сэнсэй. Мы так и не узнаем, что привело создателя популярной радиопрограммы в психиатрическую больницу. Может быть, душу его опалило дыхание чужого безумия. Ведь он и так был измучен астмой, выбит из привычной колеи. И тут еще западный ветер, навстречу которому радостно распахиваются окна. Но в комнате сэнсэя спущены все шторы и только настольная лампа воспаленным огнем пробивается сквозь плотный табачный дым. Отчего это? Разве это не признак душевного надрыва? Угнетенного состояния? Психической ущемленности? Герой и сам говорит о своем скверном душевном состоянии.

Но могло случиться иное. Сэнсэя могла dokonать встреча с Невероятным, которое нарядилось в одежды обыденного. Накронец, третий вариант. Все, о чем рассказывает сэнсэй, — чистейший бред или болезненно преломленные картины самых тривиальных событий. Можно выдвинуть еще одну версию. Согласно ей, все, о чем мы прочли в этой исповеди, — только заключительный этап неведомого нам пути. И отчего бы нет? «Марсианин» и его жена действительно нашли в сэнсэе своего несчастного сотоварища. Более того, нетрудно выдвинуть еще несколько подобных предположений, для каждого из которых в романе есть своя особая зацепка.

Но всякий анализ неизбежно заканчивается синтезом. Все мыслимые и немыслимые версии равно оправданны и равно ошибочны. Все они укладываются в этот удивительный роман. В том-то и дело, что Кобо Абэ сознательно выбивает почву из-под ног определенности и однозначности.

Остается сказать, зачем он это делает.

Вот заключительные строки романа, последние слова этой беспримерной исповеди:

«Ежедневно в определенный час ко мне приходят врач и медицинская сестра. Врач повторяет одни и те же вопросы. Я храню молчание, и сестра измеряет его продолжительность хронометром.

А вы на моем месте смогли бы ответить? Может быть, вам известно, как именно требуется отвечать, чтобы врач остался доволен? Если вам известно, научите меня. Ведь молчу я не потому, что мне так нравится...»

Все эти вопросы обращены прямо к читателю. Как же он ответит на них, что посоветует несчастному сэнсэю? В том-то и дело, что читатель не знает ответа. Потому что он, как и сэнсэй, не понимает, чем кончился поединок с многоруким существом. Потому что его, как и сэнсэя, потрясли большие матрешки, выпрыгивающие из маленьких.

Таковы паллиативы логического фехтования, последствия софизмов, побед, оборачивающихся поражениями, и отступлений, которые готовят разгром.

Итак, зачем все это?

Несмотря на всю многозначность романа «Совсем как человек», основная его мысль совершенно конкретна: сэнсэй терпит поражение не в словесных схватках, его печальный финал не есть следствие одного лишь нервного потрясения. Даже неумолимо приближающаяся к Марсу ракета, нависшая над ним, как дамочков меч, поскольку безжизненный Марс выбивает почву из-под ног радиопрограммы «Здравствуй, марсианин!»,— всего лишь повод для крушений, а не его причина.

Сэнсэй не выдержал столкновения с окружающим миром, миром вещей и денег, мимолетных сенсаций и искусственного раздувания бумов, с миром, где человек— всего лишь необходимый придаток, который легко заменить другим, новым, еще не налаженным механизмом. Между машинами, между узлами и деталями машин нет и не может быть взаимопонимания. Если же оно возникло, то это означает, что человек пробуждается для борьбы.

Взаимопониманию людей, каждый из которых ясно осознает свою принадлежность к человечеству, посвятил Кобо Абэ свою необычную книгу. Жестокую и правдивую, как и все его творчество. И не случайно проблеме «Готовы ли люди к встрече с будущим?» суждено было занять главное место на Токийском симпозиуме.

Представители пяти стран собрались в Токио, чтобы обсудить коренные проблемы научной фантастики. Это мало по сравнению с 90 странами— участницами ЭКСПО-70, но все же токийский сим-

позиум был подлинным всемирным форумом, ибо литература, которая выходит на русском, английском и японском языках, составляет свыше 90 процентов мировой научной фантастики.

Какие же проблемы обсуждали в Токио и Нагоя фантасты Японии, Англии, США, Канады и Советского Союза? К чему они в итоге пришли?

Научная фантастика, еще совсем недавно считавшаяся литературой второго сорта, завоевала ныне необыкновенно широкую аудиторию. Научно-фантастические книги печатаются большими тиражами, различные издательства выпускают альманахи и сборники, повсеместно организуются клубы любителей фантастики. Как показали представленные на симпозиуме обзоры, фантастика существует ныне во многих странах мира.

В чем же причина ее популярности? В остросюжетности? В стремительности развития действия и неожиданности развязки? Ведь именно эти качества сделали фантастику достойной соперницей детектива. А может быть, есть нечто, делающее фантастическую литературу совершенно уникальной?

В настоящее время четко видны сдвиги, происшедшие в фантастике за последние годы. Фантастика отошла от технологии и обратилась к точным наукам, философским и социальным проблемам. И это тесно связано с особенностями науки сегодняшнего дня. Открытие странных частиц и резонансов, поиски единой картины физического мира, проникновение в область пространства мегамира и в ультрамалые области элементарных ячеек, ферментативный синтез белка, расшифровка наследственного кода, создание «думающих» машин, моделирование эмоций и многое другое — все это наложило отпечаток и на сознание людей и, естественно, на литературу.

Секрет популярности научной фантастики не только в том, что она прививает интерес к науке, «вербует» в нее увлеченную молодежь, знакомит широкую общественность с научными методами познания, воспитывает научное мышление. Главный эффект ее воздействия заключен в вовлечении читателя в круг столкновений человеческих характеров, взглядов, стремлений. При этом конфликты разыгрываются не столько вокруг личных взаимоотношений героев, сколько вокруг поисков лучших путей к истине. Все личное, мелкое отступает перед величием этой истины, на которую не может быть монополии, перед которой одинаково равны и академик, и лаборант. Атмосфера поиска, напряженная, незатихающая битва идей, наконец, сопереживание с героями — именно это раскрывает перед читателем гуманный или, напротив, преступный путь, по которому могут быть направлены завоевания науки. Именно

это ищет читатель, и прежде всего молодой, на страницах фантастических книг, а не пророчества по поводу развития науки через тысячу лет.

Многочисленные читательские конференции показали, что благодаря фантастике значительная часть вчерашних студентов была вовлечена в науку. Можно привести любопытные статистические данные. 60 процентов московских студентов-физиков избрали свою специальность под влиянием тех или иных фантастических книг. Это — знамение времени. Научное творчество немыслимо без полета фантазии, без логического исследования самых парадоксальных и отнюдь не самоочевидных проблем. На роль фантастики в выборе своего научного пути неоднократно указывал пионер звездоплавания Циолковский, имена писателей-фантастов упоминались на пресс-конференциях наших космонавтов.

Фантастика, как правило, отражает сегодняшний день науки независимо от века, в котором протекает действие произведения. Основные герои фантастики — ученые нашего времени, люди, с которыми встречался почти каждый человек: на заводе, животноводческой ферме, в учебном заведении или больнице. Воображение писателя наделило их волшебной властью над пространством и временем, жизнью и мертвой природой. Эти люди могут делать то, что делают или только мечтают свершить наши современники. Есть лишь одна существенная разница. Герои фантастических произведений все делают гораздо лучше и быстрее, в итоге они способны творить чудеса, вполне объяснимые, однако, постулатами воображаемых наук будущего. Поэтому читатель может проследить весь путь научной идеи от ее возникновения до конкретного воплощения в какие-то пусть совершенно фантастические формы. И не так уж важно при этом, в каком точно веке действуют эти знакомые и понятные люди.

И если фантастика, как литература, прямо часто не задается целью популяризации научных идей, то в своей внутренней логике, в принципах анализа она непосредственно приближается к науке. Для нее характерно как бы размышление вслух о путях и превращениях идей. Писатель-фантаст всегда ставит эксперимент. Даже если это веселый эксперимент, что характерно, скажем, для юморесок Синити Хоси, или трагический, как это часто имеет место в творчестве Фредерика Пола, представлявшего на симпозиуме фантастов Америки.

Нельзя упрекать писателя за якобы «ненаучность» посылок. Теория относительности запрещает путешествие в прошлое, однако машина времени давно уже стала традиционным атрибутом фантастики. В одном из рассказов Сакё Комацу — президента Всемир-

ного симпозиума и известного японского фантаста — существует даже постоянно действующий туннель из современности в эпоху Эдо. Но путь развития фантастической посылки уже не должен грешить против истины. Здесь требуется самая строгая достоверность. Точно так же обстоит дело и с конечными выводами. Они целиком мотивируются характером посылки. Поэтому они предполагают однозначность решения, его доказанность. И здесь любая ошибка, любая неточность могут стать роковыми. Стоит утратить доверие читателя даже на незначительном эпизоде, и не спасут тогда ни острый сюжет, ни блистательное описание далеких миров.

С другой стороны, точное и достоверное развитие даже самой противоречащей очевидности посылки не противоречит принципам научной фантастики. Такой прием характерен и для науки. Естественно, что многие авторы пользуются и развитием идеи «от противного» и приведением идеи «к абсурду». Уподобление художественного произведения геометрическим теоремам, конечно, не предполагает полной аналогии между ними. Речь идет лишь о внутренних аналогиях в методе. Приемы же здесь совершенно различные. И научная фантастика всегда будет оставаться литературой, она никогда не станет наукой. С этим, я думаю, в конце концов согласились все участники симпозиума. Даже такой «фантастический технократ», как Артур Кларк, предсказавший в свое время спутник связи.

Сближение науки и искусства — характерная тенденция нашего века. Оно идет сразу по нескольким направлениям. И если сегодня к примеру, анализом поэтики Пушкина и Маяковского успешно стали заниматься математики, то можно только гадать, в какие формы выльется рождающаяся на наших глазах научная эстетика. С ее проявлениями мы встречаемся повсеместно. От исследователей часто можно услышать слова вроде «красивая формула», «изящный вывод», «ювелирный эксперимент». Это не случайное сочетание слов. Пол Дирак, получив свою знаменитую формулу, открывшую окно в антимир, долго сомневался в ее физическом смысле. Но формула была красива, и, как говорят, это решило дело. Важнейшая формула квантовой механики прошла проверку эстетикой!

Фантастика вносит в научную проблему недостающий ей человеческий элемент. Она становится или должна стать своеобразным эстетическим зеркалом науки. Неоднократно высказывалась мысль, что в фантастике ученые увидят то, что иногда трудно осмыслить им самим, — действие их открытий и опыта в жизни и в человеке, причем не только положительное, но иногда и трагически вредное.

В последнем случае имеется в виду так называемый «роман-предупреждение». Это вид литературы, блестящими представителями которого на симпозиуме были Джудит Меррил (Канада) и Брайан Олдис (Великобритания), имеет давние традиции. Еще Джек Лондон фантастически гипертрофирует в романе «Железная пята» современные ему тенденции американской жизни, предупреждая о грядущем тоталитаризме финансовой олигархии. Поэтому вряд ли правы те, кто называет «роман-предупреждение» детищем атомного века. О чем бы ни говорилось в таком романе — об атомной войне или об угрозе возрождения нацизма, о механизации человечества или просто о негативных сторонах отдельно взятого научного открытия, — прежде всего разговор идет о личной ответственности ученого перед обществом. В этом проявляется не только свойственная настоящей фантастической литературе гуманистическая, гражданственная тенденция, но и обратная связь фантастики с ее питательной средой — наукой.

Но «роман-предупреждение» лишь тогда достигает своей цели, когда он не просто показывает зло, но вскрывает его социальные корни, активно с ними борется.

На токийский симпозиум приехали виднейшие фантасты Англии и США. Советские читатели довольно хорошо знакомы с их творчеством. Достаточно упомянуть того же А. Кларка, большинство произведений которого переведено на русский язык.

Многое можно было бы сказать об индивидуальности творческой манеры этих прогрессивных писателей, о разнице в видении мира и оценках тех или иных событий. Но сегодня создается несколько парадоксальная ситуация. Дело в том, что и Кларк, и Олдис, и Пол, и Джудит Меррил, несмотря на все индивидуальные особенности их творчества, одинаково нетипичны для западной фантастики. Сколь бы громадными тиражами ни выходили их произведения, они буквально тонут среди океана «фантастики» иного рода. На Западе ее называют «нечистой».

«Нечистая» фантастика — это бульварщина, наполненная призраками, чудовищами, катастрофами, убийствами, порнографией. Мутный поток «Бэм», «Эмэс» и «Юл» призван, с одной стороны, оглушить читателя, посеять страх и неверие в свои силы, в возможность предвидения и управления будущим.

«Бэм» — это литература так называемых ужасов и чудовищ. Она наполнена страшилищами, чудовищами-насекомыми, которые либо обрушиваются на Землю из космоса, либо подстерегают исследователей на далеких планетах.

Литература, скорее колекция сумасшедших ученых, «Эмэс» в разных видах воспевают маньяков, совершивших страшное научное

открытие, грозящее уничтожением планеты, полным истреблением людей. Есть еще один вид фантастического чтива, который тоже получил насмешливое название литературы катастроф,— «Юл». Здесь сверхъестественные взрывы сверхновых звезд уничтожают цивилизации, здесь сжигается пространство, аннигилирует вещество, ломается время, миры сталкиваются с кометами из антиматерии. Часто подобные кошмары являются не чем иным, как возрождением на атомном и космическом уровне средневекового мистицизма. У английского писателя Льюиса бог сражается с Сатаной на обитаемых планетах Солнечной системы. У Уолтера Миллера («Гимн Лейбовицу») на испепеленной атомной катастрофой Земле первой возрождается... римско-католическая церковь.

В таких произведениях проводится зашифрованная идея о том, что будущее нельзя конструировать по воле человеческой и оно, неизбежное, как злой рок, несет людям трагическую кончину. Смысл ее не мудрен: если наука сегодняшнего дня отдает свои лучшие силы на создание новейших видов вооружения, то вряд ли будущее внесет изменения в сложившуюся ситуацию.

С другой стороны, «нечистая» фантастика пытается представить, что если будущее не несет людям облегчения, то естественна мысль считать существующий порядок вещей наиболее благоприятным и надежным, сохранить настоящее и продлить его неизменным на многие века. Социальный рикошет этой фантастики заключается в укреплении капиталистического строя.

Советская фантастика всегда была проникнута духом оптимизма. И если говорить о связи научного мышления с фантастикой, то особенно следует сказать о жизнеутверждающем характере лучших произведений советской фантастической литературы.

Новые мотивы в разрешении социальных конфликтов будущего внесены и писателями-фантастами социалистических стран. Безысходной альтернативе — либо гибель человечества в огне термоядерной войны, либо дальнейшее развитие капиталистического общества до своего вырождения в автоматизированный ад — противостоит вера в силы разума, в возможность создания прочного и справедливого мира, вера в общество, свободное от эксплуатации.

Фантастике свойственно говорить о будущем. Именно это, собственно, и сделало ее любимым жанром молодежи. Она стала ныне могучим средством воспитания, активным орудием прогресса. Поэтому самым отрадным итогом токийского симпозиума явилась единодушная убежденность его участников в том, что писатели-фантасты должны бороться за светлое будущее.

«Будущее в наших руках» — эти слова на многих языках были написаны перед выходом из Башни Солнца.

Всеволод Ревич

ВРЕМЯ, ВПЕРЕДИ ВРЕМЯ, НАЗАДИ

Время — это посредник между возможным и действительным.

Дж. Уитроу

В одной книге я нашел слова: «Прошлое — тот период времени, в котором мы ничего не можем изменить, но относительно которого питаем иллюзию, что знаем о нем все. Будущее — тот период, о котором мы не знаем ничего, но относительно которого питаем иллюзию, что можем его изменить. Настоящее же — та граница, на которой одни иллюзии сменяются другими».

Эта остроумная сентенция, скорее даже шутка, невольно приходит на память, когда читаешь подряд фантастику о путешествиях по времени.

Из настоящего — в прошлое, из настоящего — в будущее, из будущего — в прошлое, с остановкой в настоящем — вот где пролегают основные маршруты едва ли не самых популярных путешествий современной научно-фантастической литературы — путешествий по времени. Если допустить, что авторы таких путешествий знакомы с приведенной выше сентенцией, то можно подумать, что они задались целью специально опровергать ее по всем пунктам, даже по таким (а может быть, в первую очередь по таким), которые у нефантастов, то есть у подавляющего большинства населения Земли, никаких сомнений не вызывают. Задается, скажем, вопрос: а действительно ли нельзя изменить прошлое?

Говоря между нами, конечно, нельзя. И путешествовать по времени тоже нельзя. Во всяком случае в той форме, которая наиболее заманчива для литературы — с возвращением героя в свое время. Нельзя — это единственно научный подход к затронутой проблеме. Из всех парадоксов, которыми богаты путешествия по времени, может быть, один из главных заключается в том, что принципиально ненаучная выдумка сделалась одним из краеугольных камней научной фантастики.

В чем дело? Почему писатели столь упорно за нее держатся? Зачем она им нужна?

Односложно ответить на этот вопрос трудно. Но, забегая вперед (ведь мы намерены путешествовать по времени), один

предварительный вывод сделать можно: видимо, связи науки и научной фантастики не столь прямолинейны, как это представляется некоторым ее толкователям, призывающим фантастов генерировать свежие научные идеи для оказания помощи лишенным воображения академикам. Фантасты же, уклоняясь от выполнения своего общественного долга, прочно оседлали машину времени, конструкция которой не значится в перспективных планах наших СКБ, и никогда значиться не будет. Большинство авторов, правда, понимает, что машина времени нужна в фантастике вовсе не сама по себе. (А для чего — мы сейчас увидим). Надо, впрочем, оговориться: есть такие, которые и вправду думают, что самое главное — убедить читателей в реальной возможности поохотиться на динозавров.

Но прежде чем говорить о том, как все это выглядит сегодня на практике, наведемся к истокам. Первое побуждение — назвать «Машину времени» Г. Д. Уэллса. Но тут самое время вспомнить, что Марк Твен отправил предприимчивого янки из Коннектикута в гости ко двору короля Артура за несколько лет до появления романа Уэллса. Соображение такого порядка: великий английский фантаст загнал, мол, своего героя в будущее более научным способом, чем великий американский юморист своего в прошлое, выглядит очень убедительно, но кто сможет доказать, что с точки зрения науки изящные рычаги из слоновой кости, выточенные Путешественником по Времени, чем-либо предпочтительнее грубой кувалды, которой малый по имени Геркулес хватил по башке незадачливого янки, так что у того разошлись швы на черепе, он погрузился во тьму и очнулся прямо в Англии VI века н. э. Разница ведь чисто терминологическая. В некотором роде роман Марка Твена, несмотря на его комедийную основу, даже более серьезен, более реалистичен, что ли, чем роман Уэллса. Впрочем, я это говорю не для того, чтобы кого-то кому-то предпочесть, у произведений слишком разные задачи.

Марк Твен щедро использовал юмористические возможности, которые давал ему изобретенный ход. Лобовое столкновение средневековой суеты и практицизма XIX века родило немало смешных ситуаций. Их венец: вызванные по телефону рыцари Круглого Стола — впрочем, рассказчик предпочитает называть их «наши ребята» — во главе с прославленным Ланселотом Озерным мчат при всех своих доспехах на велосипедах к Лондону, чтобы спасти от позорной смерти короля, а заодно и героя. Сравнение века нынешнего (для автора) и века давно минувшего у Марка Твена обычно заканчивается не в пользу подданных короля Артура, автор реши-

тельно отдал предпочтение техническому прогрессу и деловой хватке.

Один энергичный человек сумел перевернуть экономический уклад целой страны — может быть, это и есть самое фантастическое в романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Марк Твен решил во что бы то ни стало сорвать романтический флер с благородного вальтерскоттовского рыцарства и поэтому вряд ли всегда справедлив. Опять-таки забегая вперед, можно сказать, мы еще увидим произведения, в которых современные парни быстренько скиснут, попав в другую историческую обстановку.

Но трудно представить себе, что такая привлекательная идея — свести лицом к лицу представителей разных эпох не приходила никому в голову, кроме Марка Твена.

И действительно: годом раньше совершенно аналогичный ход был использован чешским писателем Сватоплуком Чехом в повести «Путешествие пана Броучека в XV столетие». Но идейное задание, которое поставил перед собой Чех, прибегая к перемещению героя во времени, было совершенно противоположно твеновскому — он заклеил трусость, приспособленчество современного ему мелкобуржуазного мещанства и воспел героическое прошлое родной страны — эпоху гуситских войн. Такое задание потребовало от него более внимательного отношения к истории. Сватоплук Чех тщательно выписал колоритную Прагу XV века, грубыми, но яркими мазками набросал несколько характеров людей из народа. Все же перед нами не исторический роман, а сатирическая фантастика, и здесь главное конфликтное столкновение подлового, толстопузого домовладельца-живодера новейшей формации с суровыми подвижниками-патриотами, соратниками легендарного таборита Яна Жижки. Столкновение это кончается тем, что возмущенным поведением Броучека пражане решают сжечь его на костре — приговор, вынесенный Сватоплуком Чехом буржуазной беспринципности и бездуховности, как видим, предусматривает высшую меру...

Но каким образом пан Броучек попал в прошлое? Свалился в какой-то подземный ход, долго блуждал в нем, наткнулся на прожжавшую дверь и, открыв ее, вышел прямо в XV век. Каждому понятно, что это совершенно ненаучное объяснение. Вот в новейших рассказах и повестях путешественники по времени заходят в хромированные кабины, задвигают плексигласовые колпаки и нажимают полистироловые кнопки. Совсем другое дело.

Конечно, если считать, что машина времени появилась лишь вместе со своим техническим паспортом, тогда да, ее первооткрывателем был Уэллс. Но если считать перемещение по времени

литературным приемом, как оно на самом деле и есть, то тогда «машины времени» существовали в литературе задолго до Герберта Уэллса, и Сватоплука Чеха, и Марка Твена. Герои многих книг ездили и в прошлое, и в будущее.

Самым значительным примером может послужить вторая часть гётевского «Фауста», в которой герой совершает путешествие в мифологическую Грецию, к Елене Прекрасной. Вернее, Фауст и Елена движутся навстречу друг другу по временной оси, как бы мы сейчас сказали, и соединяются где-то в раннесредневековом замке. Конечно, обоснования такого путешествия у Гёте самые фантастические, сказочно-мифологические. Путь Фауста к Елене лежит через посещение таинственных Матерей, обитающих в вековой пустоте, очевидно, первооснове всего сущего. Там он должен украсть Треножник, украсть тайну сверхвременного. Ведь на этот раз неугомонный доктор захотел вступить в единоборство с самим временем, а это посложнее, чем летать на шабаши. Даже всемогущий Мефистофель пасует...

Можно допустить, что и Гёте, и Марк Твен смогли бы придумать какой-нибудь тарантас, перемещающийся по векам. Но что, в сущности, от этого изменилось бы? Один абзац? Создателя «Фауста» волновали иные, более возвышенные философские материи. Ему нужно было свести два противоположных стиля жизни, две различные культуры — эталонную греческую классику и взвихренный европейский романтизм. Сила любви двух героев сливает их воедино. Хотя Елена не просто женщина, а символ высшей красоты, все же временной переезд спартанской царицы налицо; у них даже рождается сын Эвфорион, а когда союз Елены и Фауста распадается, Фауст возвращается в свое время, в раздробленную Германию.

Конечно, может быть, и не стоит выставлять Гёте в качестве образца для нынешней научной фантастики. Кроме всего прочего, это совсем иной жанр, но все же классические примеры забывать не следует. Здесь, естественно, не место раскрывать сложнейшую проблематику гётевской поэмы, я хочу лишь отметить, что любые хронологические сдвиги не должны быть самоцелью. В данном случае они понадобились писателю, чтобы подчеркнуть стремление Фауста к самому прекрасному, что есть в человеческой истории. А самое же прекрасное, как ему казалось, — это женская красота, и она — в прошлом. Но все же не там оказалось мгновение, которое доктор решил бы остановить навсегда; как явствуют заключительные сцены трагедии — такое мгновение таилось в будущем, в грандиозных делах на благо человечества.

Очень многие книги переносят своих героев в будущее. В XIX веке было бы неубедительно размещать страну Утопию на неизвестном земном острове, все острова Земли были открыты, нанесены на карту и объявлены собственностью той или иной державы. Какие уж там Утопии в колониальных владениях! Фантастика, которая чаще всего стремится придать видимость достоверности самым невероятным ситуациям, нашла новые «территории» для размещения новых миров — они были отнесены либо на другие планеты, либо отделились от современности в грядущее. Последние классические утопии в западной литературе «Взгляд назад» Э. Беллами (1888 г.) и «Вести ниоткуда» У. Морриса (1890 г.) построены как раз по этому принципу. Даже в малочисленной русской фантастике мы найдем не одно произведение, в котором герои переносятся через горы времени. Одну из первых попыток этого рода сделал А. Ф. Одоевский в своем незаконченном романе «4338-й год», где его герой, китайский студент, перемахнул в будущую Россию сразу на 2500 лет вперед. Одоевский один из первых попытался придать этому перемещению научную окраску, конечно, очень наивную. Он прибегнул к помощи модного и непонятного тогда сомнамбулизма. Нельзя не вспомнить и о знаменитом «Четвертом сне Веры Павловны» Н. Г. Чернышевского.

Но, отняв у Уэллса приоритет на путешествие по времени, и, в частности, в будущее, я вовсе не намерен принижать его заслуг перед литературой вообще и фантастикой в частности. Он первый придал путешествиям по времени их современную форму. Самым поразительным в его довольно пространных обоснованиях возможности такого путешествия представляется их совершенно необычная терминология. В рассуждениях Путешественника по Времени проскальзывает понимание времени как четвертого измерения. Сейчас для нас это привычно, но нельзя забывать, что «Машину времени» отделяет добрый десяток лет от появления знаменитой статьи А. Эйнштейна, где он изложил свою теорию относительности, давшую новое представление о природе времени, а до работ Г. Минковского о слитности пространства-времени и того больше. В конце прошлого века ученые еще не посягали на ньютоновское Абсолютное Время, которое, подобно Демону, невозмутимо парило над Вселенной, и ничто не могло поколебать его равномерного хода — ни деятельность шумных существ на земном шаре, ни взрывы целых галактик. Для уэллсовского путешественника время изменило свой ход и помчалось галопом, и, хотя этого слова еще нет в лексиконе Уэллса, но оно напрашивается — течение времени может быть относительным. Привлекает и та смелость, с которой Уэллс отправил своего героя сразу на миллионы лет вперед чуть

ли не к естественному концу Земли. Так далеко ни до него, ни даже, кажется, после никто не решался забраться.

Но если бы дело ограничилось только этими, нельзя отрицать, очень интересными, поскольку они были первыми, научно-техническими подробностями, то «Машину времени» стоило бы отметить как любопытный случай научного пусть не предвидения, возможно, предчувствия, но не больше. Главное же в книге, конечно, то, ради чего Уэллс отправил своего англичанина в столь дальнее и опасное путешествие. Сейчас бы мы назвали романом-предупреждением изображение Уэллсом логического конца, к которому могли бы привести частнособственнические порядки, капиталистическое разделение труда и отчуждение человеческой личности, сохранись они навеки. Своими злыми и морлоками Уэллс протестовал против окружающих его отношений между людьми. Вот почему ему обязательно был нужен современный англичанин, который бы привез вести из жуткого грядущего в 1895 год. Для этого и изобреталась машина времени. Впрочем, как и полагается в классической утопии, главный герой ее всего лишь экскурсант, который в окружающую его жизнь практически не вмешивается, поэтому настоящего, столь осязаемого, как у Марка Твена, столкновения эпох нет. Драка с морлоками — не в счет, это была чисто внешняя стычка, позиции сторон определены не были, и появление пришельца из прошлого не повлияло на принятый в те далекие времена образ жизни.

* * *

Уже Твен и Чех обратили внимание на то, что путешествия по времени таят в себе непримиримое противоречие: изменения в прошлом должны вызывать изменения в настоящем. Мне как-то удалось провести небольшой «социологический» эксперимент. Школьникам старшего класса было предложено ответить на вопрос: куда и зачем они бы направились, имея в своем распоряжении машину времени. Чуть ли не половина мальчишек дружно вознамерилась предотвратить дуэль Дантеса с Пушкиным. И будьте спокойны — предотвратили бы.

«Янки при дворе короля Артура» начинается с того, что собеседники рассматривают (в наши дни) дырку на кольчуге, несомненно пробитую пулей. Так как у рыцарей Круглого Стола огнестрельного оружия еще не было, то предполагается, что ее проделал какой-то сумасшедший ненавистник кольчуг в более позднее время. «Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга,— бормочет герой.— Я сам ее пробил». Впрочем, Марк Твен, осознав, что с

его преждевременным прогрессом английской истории делать нечего, безжалостно погубил в огне все благие начинания своего персонажа.

У Уэллса это противоречие оказалось более скрытым, ведь герой путешествует в будущее. Писатель деликатно обошел объяснение парадоксов, хотя у слушателей Путешественника и появляются язвительные вопросы. В сущности, ничего не изменилось, ведь герой вернулся назад, и, следовательно, тоже попал в прошлое по отношению к тому времени, в котором он побывал. Он доставил сведения, остававшиеся неизвестными науке в протекших после нас веках, до той поры, в которой он ссблаговолил остановить свой экипаж; например, цветы со странными пестиками, положенные ему в карман нежной злоянкой Уиной, это та же самая дырка в кольчуге.

Парадокс этот слишком уж вызывающий, его трудно просто игнорировать, и фантасты изощряются, придумывая тысячу и один способ для избавления от него. Чаще всего визитерам в прошлое предлагается соблюдать крайнюю осторожность и не сметь ни к чему прикасаться. Но что может их удержать от этого? Хронолетчики накрываются особым защитным полем, через которое они могут только наблюдать за окружающим, но не воздействовать на него. (А видеть их, наткаться на них люди могут? Уже достаточно для воздействия). Другие предполагают, что любые воздействия постепенно затухают. (А как быть, например, с тем же Пушкиным? А куда денутся материальные следы?) Предлагаются также параллельные миры, развилки во времени, петли времени, спирали времени, расщепление времени, путешествие не самих людей, а лишь их мысленных копий и множество других подобных порождений воображения, долженствующих создать впечатление, будто авторы и впрямь озабочены доказательством возможности временных путешествий. Тон при этом зачастую выдерживается столь серьезный, что на него покупаются не только доверчивые читатели, но и искушенные критики. Вот что говорит, например, Р. Нудельман, автор предисловия к сборнику научно-фантастических рассказов «Пески веков». «...Подавляющая часть подобных произведений интересна только видоизменением гипотезы, она и является их истинным содержанием, а не то, чему такое видоизменение служит. Фантастическая гипотеза становится объектом массового и сознательного экспериментирования. Перед нами путь совершенствования фантастики, порожденный необходимостью решать все новые и новые художественные задачи...»

Видимость здесь принята за сущность, а упоминание о художественных задачах при такой техницистской постановке вопроса

и вовсе ни к чему. Распространенные в фантастике путешествия типа «вперед—назад», «назад—вперед» не более чем игра ума, условный литературный прием. И в общем-то не имеет особого значения — убедительно или неубедительно он обоснован. «Самоигральные» варианты гипотезы, о которых подробно говорит Р. Нудельман, не несут на себе никакой научной, логической или художественной нагрузки, они нужны лишь как необходимый антураж, выразительная декорация. Не будем, конечно, спорить, что успех спектакля зависит и от декораций, но есть ли какой-нибудь смысл у постановки, в которой не было бы ничего, кроме них?

Нетрудно заметить, что в наиболее удачных и заметных произведениях на эту тему авторы не слишком много внимания тратят на обоснования, обходясь самыми примитивными, вроде уже упомянутого удара по голове. В увлекательном, реалистически-достоверном антимилитаристском романе Дж. Финнея «Между двух времен» перемещения объясняются тоже без особых затей: герой некоторое время вживается в соответствующую обстановку, а затем ему достаточно сосредоточиться, чтобы очутиться в нужном годе.

Правда, автор подробно описывает грандиозный «проект Данцигера», в который вкладывают огромные деньги военные, но делает он это вовсе не для того, чтобы обосновать очередной наукообразный «вариант гипотезы», а для того, чтобы убедительнее прозвучал его политический вариант. Возможно, что не очень новый, но очень злободневный. Милитаристские круги пытаются использовать в своих целях любое открытие. И на возможность путешествий во времени они посмотрели со своей колокольни. Почему бы, например, не попытаться уговорить президента Кливленда купить Кубу в конце XIX века, чтобы в XX никто бы никогда и не услышал о Фиделе Кастро. Неглупый Сай Морли, герой книги, сразу соображает что к чему. Он отказывается быть исполнителем преступных замыслов, а потом ухитряется и вовсе разрушить весь проект: путем легкого вмешательства в прошлое он предотвращает встречу родителей Данцигера. Значит и не будет, вернее, и не было никакого Данцигера — автора проекта.

Но не только, и даже не столько ради этой неприкрытой публицистической направленности задуман и написан роман Л. Финнея. Легкое перемещение из эпохи в эпоху позволяет автору все время сравнивать 1882 и 1970 годы. Причем это делается не только глазами Сая, нашего современника, Сай «транспортирует» в сегодняшний Нью-Йорк Джулию, девушку XIX века, которую любил. Надо сказать, что и здесь сравнения чаще всего — не в

пользу нашего времени. Впрочем, и прошлый век Америки автор тоже не идеализирует...

«Не потому ли, в частности, так стремительно устаревают приемы фантастики, что они непрерывно оттесняются в прошлое лавиной новых, более сложных приемов, вбирающих в себя прежние?» — спрашивает Р. Нудельман. Нет, не потому. Ни Марк Твен, ни Уэллс не устарели. Стремительно устаревают как раз та не стоящая серьезного внимания псевдонаучная беллетристика, которая ничего за душой не имеет, кроме различных «модификаций», «вариаций», «микроэволюций» и «макроэволюций».

В одном Р. Нудельман прав: огромная часть фантастических путешествий по времени перегружена пустопорожними словосочетаниями, типа «Виток времени равен шестидесяти миллионам лет. Можно перейти с одного витка на другой, проскочив шестьдесят миллионов лет назад или вперед, но нельзя сделать скачок на более короткое расстояние» и т. д. и т. п. Но этим-то как раз они и не интересны.

Такие рассказы делаются очень просто: сажаешь — пусть с самыми хитроумными напутствиями — героя в машину времени, перебрассываешь на несколько миллиончиков годов назад и заставляешь его — пиф-паф! — выстрелить в динозавра. Если само по себе такое захватывающее зрелище покажется бедноватым, то можно еще столкнуть героя с космическими пришельцами, случайно посетившими нашу планету именно в этот день. Рассказ готов. Простите, не позабудем попутно еще спасти девушку, и перед нами исчерпывающее изложение сочинения американского писателя П. Шуйлер-Миллера «Пески веков». Вопрос, зачем все это нужно, перед автором даже не стоял.

Если же вам покажется, что скакать сразу через несколько миллионов лет это, пожалуй, чересчур, ладно, давайте передвинем героя назад всего на несколько месяцев. Тут сразу возникнет еще один парадокс, который также может таить в себе богатые сюжетные возможности. Но может и не таить. Герой встречается с самим собой. В самом деле: если я побываю во вчерашнем дне, то ведь вчера же я был в другом месте, кроме того, если это настоящий вчерашний день, то почему сегодня, садясь в машину времени, я ничего не знаю о том, что был вчера у себя в гостях? Этот гордиев узел нельзя даже разрубить. Таким неразрубленным он и остался в рассказе М. Емцева и Е. Парнова «Снежок».

Но, пожалуй, в наиболее «чистом» виде временной парадокс предстает перед нами в произведении самого Р. Нудельмана. Видимо, для того, чтобы специально художественным примером подкрепить свои теоретические построения, он совместно с А. Громо-

вой написал «фантастический детектив» «Кто есть кто?». Вообще говоря, когда критик (А. Громова, кстати, не только известная писательница, но и тоже теоретик фантастики) берется за прозу — это любопытно. Волей-неволей он должен продемонстрировать свое конструктивное понимание, какой должна быть, по его мнению, научная фантастика.

О чем же эта книга, которая, как и полагается всякому порядочному детективу, начинается с обнаруженного трупа? Герой ее старший научный сотрудник Института времени Аркадий отправился на пару лет назад для того, чтобы убить самого себя, точнее — своего двойника. Что ему и удалось сделать с обоюдного согласия. Так сказать, научный эксперимент на себе, драматическая медицина. Герою захотелось посмотреть, что из этого получится. Останется ли, например, он, будущий, в живых. Разумеется, остался.

А больше в романе ничего практически и нет, больше ничего о нем сказать нельзя. Никакая человеческая, этическая или еще какая сторона поступка Аркадия авторов почти не занимает. Их интересует только сама гипотеза, и поэтому повесть перегружена всякого рода наукообразными рассуждениями и схемами, должнствующими оправдать «возможность» путешествий на «машине времени», которая у них описана в самом традиционном виде. Все это кажется авторам настолько важным, что они, кроме всего, написали большое послесловие, где защищают свое право на такую фантастику. Хотя в этом послесловии авторы и иронизируют над неким мрачным типом, который требует от фантастики строжайшей научности, но сами они являют собой обратную сторону той же медали. Ибо и «строгая» научность, и псевдонаучная научность сами по себе никакого отношения к литературе, к искусству не имеют. Это мнение общепризнанное. Оно, например, зафиксировано в статье «Научная фантастика» в «Краткой литературной энциклопедии» (т. 5, стр. 140). Вот что там сказано: «Иногда выделяют жанр «технической фантастики», которая строит произведение преимущественно на логическом развитии научно-технической идеи. Но большая часть произведений такого рода оказывается за гранью искусства». Автор статьи — А. Г. Громова.

И Р. Нудельман и А. Громова много сделали для развития советской фантастики и заслуживают всяческого уважения. И поэтому мне очень жаль, что теоретические взгляды привели к художественной неудаче, особенно после таких хороших книг А. Громовой, как «Поединок с собой», «В круге света», «Мы одной крови — ты и я!». И в «Кто есть кто?» прорываются живые штрихи, удачные эпизоды. Но, к сожалению, это частности. Анализировать же проблематику романа всерьез невозможно, за полным ее

отсутствием. Даже чисто детективная занимательность и то отсутствует. Детектив предполагает хотя бы маленькую загадку. Здесь же догадываешься о сути дела в первом же абзаце. Как только возникает название «Институт времени», так самому наивному читателю становится ясно, откуда взялся покойничек. Единственные, кто долго и упорно не хотят этого понять, даже мысль об этом не желает им до поры до времени приходить в голову — очень умный, остроумный и начитанный в области научной фантастики следователь и друг Аркадия Борис, сотрудник того же института, который каждый день занимается подобными вопросами.

Мне могут сказать: не перегибаю ли я палку, неужели не имеет права на существование оригинальная фантастическая гипотеза? Имеет. Но палку перегнуть опасности нет. Ибо если автор оригинальной фантастической гипотезы насытит ее социальным, политическим, психологическим или еще каким-нибудь человеческим материалом, то, может быть, ему удастся создать что-нибудь значительное. Гипотеза никуда при этом не исчезнет, а вот в противном случае... Позволю себе привести пример, не относящийся к путешествиям по времени. Был такой французский писатель Робиде, современник Жюль Верна и тоже фантаст. Он написал много-много научно-технических утопий о будущем, где предсказал интересные вещи, ну, например, телевидение. Уверяю вас, что в XIX веке предсказать телевидение было много труднее, чем, допустим, подводную лодку, даже самую совершенную. Но автор «20 тысяч лье под водой» остался жить, а Робиде — нет. Почему — трудно догадаться.

Вернемся к нашей теме. Еще одно вероятное возражение: можно ли так безапелляционно заявлять о невозможности путешествий по времени, не зависит ли это только от современного состояния науки и техники? Может быть, в будущем человечество овладеет такими высотами знаний, которые позволят осуществить то, что сейчас представляется нам невозможным. Но если бы путешествие в прошлое было возможно, то, скорее всего, мы бы об этом уже знали или имели бы какие-нибудь достоверные свидетельства. Любая высокоразвитая цивилизация вряд ли упустит бы шанс отправиться к истокам культуры. А лично я на месте изобретателя машины времени не преминул бы навестить Уэллса. Впрочем, об этом, кажется, кто-то уже написал рассказ.

Право же, гораздо привлекательнее позиция тех авторов, которые сознательно превращают временные путешествия в веселую игру. Она получается очень увлекательной, ибо, наверно, трудно придумать более сложные правила, чем, те, которым подчиняется

путаница со временем, что с блеском использовал французский писатель Пьер Буль в рассказе «Бесконечная ночь». Кого бы не потрясли удивительные события, свидетелем которых стал пожилой парижский книготорговец, неожиданно для себя оказавшийся на перекрестке путешественников во времени из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Завязывается немыслимая катася, в которой участвуют бадарийцы, жившие несколько тысяч лет назад, и перголезцы, которые будут жить через несколько тысяч лет. Народы эти враждуют, и машина времени используется для политических убийств и целых сражений. Но как легко догадаться, имея машину времени, можно не опасаться за свою судьбу, ведь всегда можно отвести ее за час до убийства. В конце концов выясняется, что враждовать им собственно нечего, так как перголезцы проникли к предкам бадарийцев, смешались с ними, так что теперь это их предки. И потомки одновременно...

Вспомним также очаровательное Седьмое путешествие из «Звездных дневников Ийона Тихого», написанное Ст. Лемом именно как пародия на данный сюжет. Звездолет, в котором летит Ийон, попадает в пресловутую временную петлю, и время начинает удваиваться, утраиваться, учетверяться и т. д. Постепенно возникает некоторое количество Ийонов Тихих из разных дней. Тонко подмечено, что двойники не в состоянии договориться друг с другом: понедельничный Тихий негодует на Ядиотские, с его точки зрения, поступки вторничного, но, превратившись во вторничного, повторяет все его действия.

— Не клади так много масла! Ошалел? У меня не хватит на такую ораву!— орет один Ийон Тихий на другого, забывая о том, что он сам будет жарить эту же яичницу завтра, а вчерашний будет орать на него...

Есть еще один (впрочем, не один) изобретенный фантастами способ избавления от парадоксов — создание так называемых «параллельных миров». После вмешательства в прошлое, мир, в котором его не было, продолжает развиваться как ни в чем не бывало, а по соседству возникает новая действительность, в которой развитие пойдет по новому пути. Это приводит к новым парадоксам, но мы не будем сейчас ломать себе головы над вопросами: как этот мир создается, за счет каких материальных, энергетических, пространственных ресурсов и т. д. Очевидно, и эту гипотезу не стоит рассматривать как научное решение проблемы, а тоже всего лишь как литературный прием. Возможно, используя и этот прием, можно добиться интересных художественных показателей, дело ведь не в том, какими приемами пользоваться, а с какими целями литературное оружие берется в руки.

Строго говоря, приключения героя в одном из соседних миров, где он чаще всего встречается с собственным аналогом или меняется с ним местами, имеет весьма отдаленное отношение к путешествиям по времени. В сборнике «Пески веков» опубликован целый ряд похожих рассказов — «Развилка во времени» Ж. Клейна, «Другое и я» Дж. Уиндема, «Двойники» Х. Гарсиа Мартинса, «Улице одностороннего движения» Дж. Бисти. Иногда это просто милая игра воображения, иногда из рассказов можно извлечь не слишком глубокую мораль: в нашем мире счастья нет и искать его не стоит, может быть, судьба улыбнется, если переместиться на параллельную землю. Что-то вроде веры в загробную жизнь!

Если подобные мысли и не возникают при чтении повести А. и С. Абрамовых «Путешествие за три мира», то — увы! — какие-нибудь другие тоже не возникают. Что за цель преследовали авторы, изображая столь грандиозное устройство мироздания — масса аналогичных миров, очень похожих на наш (в них тоже есть, например, Советский Союз, Москва, НИИ, туристические поездки за границу и т. п.)? Одни из этих миров сосуществуют синхронно с ними; другие несколько поотстали в своем развитии (так, в одном из миров еще идет Великая Отечественная война, и надо надеяться, что она там тоже кончится победой над фашистской Германией); третьи нас обогнали. Что же увидел наш современник и, так сказать, сомирник Сергей Громов, которому, извините за выражение, подфартило обменяться сознанием с Сергеем Громовым из другого мира и погостить у наших соседей, о существовании которых человечество до Сергея Громова не подозревало? А ничего не увидел. Везде то же самое. Разве что скамейки на Тверском бульваре выкрашены в другой цвет да Пушкин остался стоять на прежнем месте. По существу, и рассказать-то нечего. О мире, ушедшем вперед, правда, можно было что-либо сообщить, ведь у нас это будущее еще не наступило. Но от будущего герой отгородился четырьмя стенами больничной палаты. В результате все вылилось в величественную, многостраничную бессодержательность.

То, что я начал с отрицательных примеров, объясняется лишь соображениями композиции. С использованием машины времени, временных парадоксов, вмешательств в прошлое и т. д. написано множество превосходных произведений. Заводя о них разговор, надо заметить, что живут они вовсе не за счет того, что пытаются спрятать или сгладить лезущие в глаза противоречия. Наоборот: они всячески выпячивают их, углубляют, доводят до мыслимого предела.

Не знаю, писал ли Пол Андерсон свой рассказ «Человек, который пришел слишком рано» как сознательную полемику с романом Марка Твена. Похоже, что так. Снова стопроцентный янки попадает в прошлое, правда, не с помощью кувалды, а после взрыва, правда, не в VI век, а в XII, и не в Англию, а в Норвегию, но все это разница непринципиальная. И попадает-то тоже не какой-нибудь «белый воротничок», неприспособленный интеллигентика в очках. Попадает сотрудник «ЭМ-ПИ» — военной американской полиции, а уж он-то способен постоять за себя и кулаком, и пистолетом. К тому ж он неглуп, достаточно натаскан в технических секретах нашего века, образован, быстро соображает, где, в каком веке, даже в каком году он очутился. И что же? Ни огнестрельное оружие, ни знания не помогли ему. Пистолет, конечно, произвел впечатление на отважных викингов, но вовсе не такое, чтоб они немедленно повалились наземь и потащили зарезанных быков к стопам громовержца. А знания его оказались ненужными или непригодными. Компетентность в вопросах современного кузнечного производства не прибавила ему ни одного шанса в примитивной кузне. Не выдержали столкновения с чуждой обстановкой и его моральные устои. Действия этого парня выглядят очень смешными с позиций окружающих людей. Надо отдать должное автору, он подходит непредвзято. Какими бы жестокими и грубыми ни казались нам древние понятия, в том мире царит своя суровая справедливость, столкнувшись с которой и гибнет не сумевший осознать ее американец. Сложившиеся отношения очень устойчивы, и внести в них посторонний элемент с легкостью марктовеновского персонажа — вещь невозможная, да и ненужная. Отношения между героями рассказа такие же, как если бы на Землю прилетел бы бойкий космический посетитель и попытался бы с налета переделывать земные порядки. Вряд ли у него что-либо вышло бы. В мотивировках поступков своих героев П. Андерсон не столько фантаст, сколько реалист.

В рассказе польского писателя Кшиштофа Боруня «Восьмой круг ада» ситуация и чем-то похожа, и противоположна. Опять-таки одинокий человек попадает в чужое время, но уже не из настоящего в прошлое, а из прошлого в будущее, из средневековья в коммунизм. Для того, чтобы довести конфликт до накала, автор выбирает себе в герои не просто средневекового невежду, а религиозного мракобеса, инквизитора, посылавшего людей в пыточные камеры и на костры, будучи искренне убежденным, что он творит святое дело. Казалось бы, изуверские взгляды Модестуса

Мюнха должны рассыпаться в прах при столкновении с открывшимся ему гармоничным и светлым миром, в котором люди счастливы. Но одурманенное католической догмой сознание Мюнха сопротивляется очевидному, лишь торжество дьявольских происков видит он в торжестве науки и освобожденного труда. Помимо всего прочего, такое столкновение несет в себе сильный антирелигиозный заряд, хотя смысл рассказа несомненно шире, он направлен вообще против фанатизма, против шор, которые люди добровольно надевают себе на глаза.

Читателя рассказа К. Боруня и самого автора очень мало волнует загадка чудесной переброски Модестуса из XVI века в XXI, так же, как и героя П. Андерсона из XX в XI. Но было бы совершенно неправильно считать, что сама ситуация столкновения двух разделенных временной пропастью культур — это всего лишь отвлеченное упражнение, не имеющее прямых связей с действительностью. В истории человечества подобные встречи бывали не раз, сталкивались и целые народы, и отдельные личности. Как правило, эти встречи заканчивались трагически для менее развитых «партнеров». Все помнят, к чему привело «общение» майя, инков и атцегов с бандами конкистадоров, североамериканских индейцев с завоевателями Дальнего Запада, аборигенов Австралии с английскими колонистами, полинезийцев с экипажами Кука и Магеллана и так далее, и так далее.

Принципиально иные примеры дает опыт построения социализма в национальных окраинах бывшей Российской империи, где были сильны феодальные отношения, а в ряде случаев даже родовые. Но и здесь ломка вековых представлений — процесс трудный, мучительный, требовавший большой осмотрительности и ответственности.

Так что фантастика в иных случаях оказывается совсем уж не такой фантастической. Она только положила реальную модель под гигантскую линзу, которая, может быть, несколько исказила контуры по краям, но зато увеличила так, что суть поставленных автором проблем сразу бросается в глаза.

Легко убедиться, что подобные социальные и нравственные проблемы оказываются куда важнее самой замысловатой умственной гимнастики со спиралями и прочими геометрическими фигурами, которые обычно заканчиваются подстреленным динозавром. В произведениях, озабоченных серьезной мыслью, подобные «спирали» могут даже мешать, отвлекать. И тогда возникает желание совсем избавиться от них. Так и поступили, например, братья Стругацкие в романе «Трудно быть богом». Ведь по сути мы находим в нем самое настоящее путешествие по времени, только на этот

раз уже наши потомки поехали «в гости» к модестусам мюнхам. В самом деле — мыслимо ли представить себе, что на другой планете существует феодализм, столь детально напоминающий средневековую Европу — такие же замки, такая же титулованная знать, такие же инквизиторы, сжигающие ведьм на кострах? Да и цели, которые ставили перед собой фантасты, не имеют ничего общего с космическими путешествиями; борьба против тирании, насилия, обывательщины — все это, увы!, вполне земные порождения.

Моральному сравнению разные эпохи подвергаются и в повести Л. Лагина «Голубой человек». Хотя время, в которое попадает его герой, отделено от наших дней не веками, а всего лишь десятилетиями, все же оно, может быть, не менее далеко от нас, чем какое-нибудь средневековье. Наш современник, советский юноша оказывается в Москве конца XIX века в окружении извозчиков, урядников, лавочников, приказчиков, их превосходительств, дворянских собраний и тому подобных давно забытых у нас вещей и профессий. Все это дает повод для массы трагикомических включений. Но каким ни диким кажется Юре Антошину все окружающее, ему-то, конечно, известно, что за силы бродят внутри русского общества, он ищет связей с рабочими кружками, с людьми, составившими ядро будущей партии, которой предстоит совершить революцию. Самый волнующий эпизод книги: Юра рассказывает умирающему революционеру Сергею Розанову, что случится дальше с Россией, какой станет Москва в шестидесятых годах XX века, и поет ему песню о матросе-партизане Железняке. Как прекрасную сказку, воспринимает его слова человек, которому осталось жить несколько часов. Но разве не за эту «сказку» он отдал свою жизнь? В сущности, Антошин по отношению к Розанову находится в положении писателя-фантаста, так уверенно рассказывающего о временах грядущих, как будто он в них сам побывал. Наша воля — верить или не верить, ведь все равно мы не сможем проверить лично, не сможем дожить до тех времен, которые описаны во многих романах о будущем человечества. Но если бы мы потеряли веру в то, что величайшие изменения в устройстве человеческой жизни и в самом человеке возможны и осуществимы, наша жизнь, наши усилия во многом потеряли бы свой смысл.

До сих пор речь шла о сочинениях серьезных, с мрачным, порою трагичееким колоритом. Хотя и они ведут свою родословную от Марка Твена, пусть даже отталкиваясь от него, конечно, куда теснее с традициями «Короля Артура...» связаны веселые книжки.

Особенно близок к «Янки из Коннектикута...» Джон Пристли в повести «31 июня». Подчеркнуто близок. Он выбрал ту же самую эпоху и отнесся к ней, как и его великий предшественник, без из-

лишней сентиментальности. Правда, Пристли слегка усложнил сюжет — в его повести герои не только попадают из настоящего в прошлое, но и современникам прославленного короля дана возможность посетить наш век — принцессе Мелисенте довелось даже выступать по телевидению. Подобно марктовеновскому герою английские — на этот раз — парни не очень-то смущаются, попав в столь непривычную обстановку. Глава рекламного агентства мистер Диммок был превращен в дракона, но это не отразилось роковым образом на его деловых способностях — бизнес превыше всего, и он продолжал диктовать безотлагательные корреспонденции своей секретарше Пегги.

Но — при всем сходстве — повесть Пристли вдохновлена иной идеей. Преследуя сатирические цели, английский прозаик не столько разделил, сколько сблизил две эпохи, что символизируется забавной сценой свадьбы современного художника-дизайнера и средневековой феодалочки; стол на этом торжестве одним концом находится в прошлом, а другим — в сегодняшнем дне. И если посуда, вина и официанты на разных концах стола резко отличаются друг от друга, то представления о моральных ценностях отличаются не чересчур. И темные рыцари VI века, и образованные бизнесмены XX быстро находят общий язык за столом акционерного общества «Марлеграм, Диммок, Мальгрим и Пейли» по развитию туризма в эпоху короля Артура. Авантюрист и пьянчуга бравадный шкипер Планкет оказывается словно бы в родной стихии на рыцарских турнирах, а тамошние прекрасные дамы проявили живой интерес к нейлоновым чулкам и прочим завоеваниям цивилизации.

К пародиям примыкает и «Фантастическая сага» Г. Гаррисона. Можно, конечно, увидеть принципиальную разницу в том, что у Пристли перемещения туда и обратно происходят при помощи волшебной палочки, а у Гаррисона действует громоздкое, постоянно перегорающее устройство с торчащими во все стороны радиолампами. На самом деле разницы нет. И если поменять «технологии» местами, общий смысл обеих повестей изменился бы очень мало. С пародийными же целями Гаррисон вводит в произведение традиционную путаницу с временными петлями и даже рисует схемы для придания «научного» колорита. Пародийна и вся ситуация, в результате которой открытие Америки викингами оказывается инсценированным американской кинофирмой, воспользовавшейся машиной времени, чтобы поправить свои пошатнувшиеся дела; один из героев норвежских саг Торфин Карлсефни даже берет в жены голливудскую секс-бомбу Слайти, а рожденный ею сын был зафиксирован в сагах.

Подобный же ход мы увидим в «Евангелие от Ильи» Варшавского: кандидат исторических наук Курочкин собрался в Иудею нулевых годов нашей эры опровергать существование Иисуса Христа. Но события сложились так, что ему самому пришлось выступить в роли мессии.

* * *

Для того, чтобы «научно» объяснить набеги на историю, был изобретен специальный термин — «хроноклазм». Почти катаклизм! Возможность вмешаться в уже прошедшее, увидеть живыми давно умерших людей, т. е. как раз самое недопустимое и невозможное, для писателя самое ценное, самое необходимое. Чаше всего только ради этого и нужна ему машина времени. После того как положительно решен вопрос о технической стороне дела, обычно начинаются очень пространные рассуждения на тему: допустимо ли вмешиваться, добро это или зло, какие последствия, какие потрясения грозят человечеству? На этот счет существует целая радуга мнений, и можно даже расположить их в определенной последовательности, наметив крайние точки. Так, на одном конце нашего спектра будет находиться рассказ Рея Брэдбери «И грянул гром». Если поверить автору, то даже самое невинное нарушение, нарастая по принципу цепной реакции, может вызвать через множество лет самые решительные изменения в мире.

Бабочки, случайно раздавленной в эпоху ящеров, оказалось достаточно для того, чтобы, вернувшись в Штаты, герой обнаружил, что на президентских выборах вместо либерала Кейта (как было при его отъезде) победил демагог и фашист Дойчер. Вот как осторожно мы должны обращаться с прошлым, вот как зыбки и неустойчивы основы добра и непрочны те маленькие завоевания, которых добилось человечество. Достаточно ничтожной шалости, и все летит к чертям — характерный для Брэдбери исторический пессимизм.

А на другом конце спектра мы можем поместить рассказ А. Бестера «Человек, который убил Магомета». В отличие от рассказа Р. Брэдбери, он не несет в себе сколько-нибудь значительной мысли, это всего лишь неприятная шутка. Никакое изменение в прошлом не даст никакого результата — что там бабочка, человек уколошил Колумба, Вашингтона, Марию Кюри, Ферми и т. д. Но как тяжелый маховик, история, знай себе, крутится... Примерно ту же позицию занял Р. Шекли в рассказе «Три смерти Бена Бакстера».

Большинство же авторов занимают промежуточные позиции: да, вмешательство возможно, но нежелательно, хотя бы потому,

что неизвестно, как оно отзовется на будущем, т. е. на настоящем; может, и ничего не произойдет, а может, станет, по гипотезе Брэдли, и хуже. Не стоит рисковать. И вот учреждаются различные Службы времени, Управления Безопасности, Стражи Истории и тому подобные институты, которые призваны охранять прошлое от налетов неразумных любителей. В рассказе Чеда Оливера «Звезда над нами» описывается погоня одного из агентов таких служб за преступником, вознамерившимся перекроить судьбу американских наций. Но преступник он только с точки зрения довольных своей жизнью правящих групп. На деле же намерения у профессора Хьюза были самые благородные. Он решил спасти американских индейцев от истребления бандами Кортеса и других испанских завоевателей, для чего совершил хитрый ход, тайком перегнав в до-кортесовское время табун лошадей. Как известно, на американском континенте не было этих полезных животных, что сильно помогало немногочисленным, но храбрым и наглым отрядам завоевателей в борьбе против воинов Монтесумы. Если бы его отряды были привычны к лошадям, то, может быть, Кортесу и не удалось бы так легко разгромить империю ацтеков. Именно это и намеревался совершить герой повести Оливера: вооружить Монтесуму конницей.

Агенту по охране времени удалось выполнить свою задачу, но он сам не убежден, что был обязан выполнить приказ. В самом деле, где доказательство, что существующая на американском континенте цивилизация лучше той, которая сложилась бы, если бы головорезы Кортеса были своевременно сброшены в море?

Благие намерения, подобные намерению профессора Хьюза, всегда должны терпеть неудачу в произведениях, иначе их авторам пришлось бы объяснять, почему мы не видим плодов столь желанных изменений.

Иногда композиция таких книг строится по-иному. Сначала описывается другая, не похожая на нашу действительность, а уж потом — возникшая в результате вмешательства наша, имеющаяся в наличии. Именно так написан рассказ Севера Гансовского «Демон истории». Позиция автора сводится к тому, что вмешательство может изменить какие-то детали, но закономерности исторического процесса все равно возьмут свое. Попытка предотвратить появление фашизма в Европе, убив диктатора Астора в юности, приводит лишь к тому, что на его месте появляется Гитлер.

А вот Айзек Азимов не согласен с таким подходом. Как и Брэдли, он считает, что достаточно небольшого воздействия, чтобы вызвать кардинальные перемены: практически каждый раз возникает новая действительность. По его терминологии — это

МНВ — Минимально Необходимое Воздействие, которым может быть заглушенный мотор или какая-нибудь порванная в подходящий, точно высчитанный момент ленточка... Но в отличие от Брэдбери Азимов полагает, что такое воздействие вовсе не ухудшает, а наоборот, улучшает историю, исправляет ее, сглаживает шероховатости. Впрочем, я говорю неточно — так считает не автор романа «Конец Вечности», а его герои, задавшиеся целью сделать человеческую историю совершенной, идеальной.

Создается мощная организация — «Вечность», которая регулярно прихорашивает историю, начиная с XXI века (ниже в своих коллодиях времени они опуститься не могут, поэтому наши века остаются неисправленными). Члены этой организации беспрепятственно шастают по векам наподобие пожарной команды: не загорелось ли где-нибудь? Им удалось предотвратить войны, эпидемии, несчастные случаи и т. п. Занимаются они мало-помалу и экономикой, организовав межвековую торговлишку: «В 482-м (столетии.— В. Р.) существовало сильное стремление увеличить экспорт тканей из целлюлозы в столетия, лишенные лесов, вроде 1174-го, однако встречное предложение о поставках копченой лососины вызывало серьезные возражения»...

Вроде бы очень полезная организация, чьи действия следует всячески приветствовать.

Но писатель отвечает совершенно категорически: нет! Во-первых, он подчеркивает крайне недемократический характер «Вечности», такого наднационального правительства, которое никем не уполномачивалось, но по собственному разумению вершит судьбами людей и решает, что для них хорошо и что плохо. Люди в большинстве даже не знают, что их кто-то опекает, что действительность это нечто зыбкое и мимолетное, что любой человек может внезапно исчезнуть в результате изменившейся действительности.

Но главное даже не в этом. С пути человечества постоянно убираются все мало-мальски серьезные препятствия, и это приводит к тому, что оно начинает жить как будто в невидимой теплице, благополучное, изнежившееся и безынициативное. Так, например, «Вечными» было решено однажды, что полеты в космос никому не нужны, и поэтому на корню губятся порывы, регулярно возникающие в каждом столетии.

Человеческая история, конечно, нуждается в исправлениях, однако не задним числом и не такими методами. Никакая оторванная от народов власть не может принести пользы, даже если руководители этого сверхправительства и обуреваемы самыми лучшими побуждениями.

Правда, по Азимову, получается, что деспотия «Вечности» длилась на Земле чрезмерно долго; понять, в чем дело, и сбросить с себя ее гнет люди смогли только в тех веках, порядковый номер которых обозначается не двух-, не трех- и даже не четырехзначными числами.

Своим романом Азимов как бы отвечает коллегам по западной фантастике, которые, не видя средств и сил в окружающем, уповают на посторонние факторы для спасения человечества, вроде пришельцев из космоса или из будущего.

Итак, мы как будто пришли к мысли, что история слишком хрупкая штука, чтобы в нее можно было безнаказанно вламываться. Значит, невмешательство? Даже если ты и попал в прошлое, стой смирно, оставайся безучастным наблюдателем, что бы вокруг тебя ни творилось? Так?

Что из этого может получиться, рассмотрел Генри Каттнер в рассказе «Лучшее время года». На город должно обрушиться страшное бедствие, сюда рухнет гигантский метеорит, о чем жители городка, естественно, не догадываются, а выходцы из будущего не говорят им ни слова, решив позабавить себя роскошным зрелищем, пощекотать нервы «последним днем Помпеи». И вот респектабельные туристы прибывают в обреченный город. Им ничего не стоит избавить от огненной смерти сотни тысяч людей, для этого достаточно просто предупредить их, чтобы заблаговременно эвакуировать из опасной зоны. Но паломникам строго-настрого запрещено вмешиваться в историю, и они заняты тем, что отбивают друг у друга дома с наилучшим обзором, вызывая у жителей откровенное недоумение: с чего бы это явно не стесненные в средствах чужеземцы борются за какие-то невзрачные квартирки на окраинах, хотя в центре есть множество роскошных отелей.

Трудно себе представить, что человечество может состоять из распоследних мерзавцев и эгоистов, опустошивших в погоне за изысканными удовольствиями свою душу. И не по будущему, а по настоящему бьет Каттнер, он недвусмысленно отвечает на вопрос, к какому моральному падению ведет политика «хаты с краю».

А к чему может привести вмешательство, мы уже видели. Итак — тупик. Не вмешиваться — невозможно, и вмешиваться нельзя. Счастье в том, что эта альтернатива существует только на бумаге, и никогда люди не встанут перед необходимостью решать ее на самом деле. Иначе человечество оказалось бы перед опасностью серьезных потрясений, могущих разрушить все здание цивилизации. Но в руках фантастов эта конфликтная ситуация, как мы уже тоже видели, служит верным оружием для исследования не столько будущего, и уж, конечно, не прошлого, сколько настоящего.

го, и прежде всего волнующих нас нравственных проблем — что такое ответственность людей перед собственной совестью, перед другими людьми, перед будущими поколениями, перед историей. Таков глубокий человеческий смысл, который таится в мудреном научнообразном словечке «хроноклазм».

Впервые этот термин прозвучал в рассказе Джона Уиндема. (Рассказ так и назывался). Но автор не претендовал на глобальные сдвиги, он воспел любовь девушки из будущего к нашему современнику. Вечная тема искусства — любовь, которая уже ломала всяческие преграды — сословные, имущественные, национальные, территориальные, возрастные — нашла новую, неожиданную область распространения — научную фантастику. Теперь перед всепобеждающим общечеловеческим чувством не устояли и столетия, разделяющие любящие сердца. Оказалось, что с использованием стандартной машины времени можно создавать подлинные лирические шедевры вроде рассказа Роберта Янга «Девушка-одуванчик», очень похожего по сюжету на «Хроноклазм», но выполненного тоньше, проникновеннее. Необыкновенно поэтичен образ юной и загадочной Джулии, которая регулярно появляется на холме, повергая сорокалетнего героя в смятение чувств. Он понимает, что любит Джулию, что не может жить без нее, а в то же время любит свою жену, хочет остаться с ней. Но подобные затруднения не существуют для влюбленных особ, имеющих в своем распоряжении машину времени. Оказалось, что его жена и есть та самая Джулия; девушка просто перебралась еще на двадцать лет назад, тогда-то молодые люди и полюбили друг друга, а на холме герой просто не сразу узнал свою столь сильно и внезапно помолодевшую подругу. Конечно, временные хитросплетения придают повествованию оттенок необходимого юмора, но это лишь способствует созданию лирической атмосферы в рассказе, воспевающем верность и постоянство.

Но не только любовь мужчины и женщины, другие человеческие чувства тоже могут стать содержанием фантастического произведения. Вот перед нами еще один рассказ А. Азимова «Уродливый мальчуган», по-моему, одно из лучших творений известного американского фантаста. В современность доставлен малыш-неандерталец, с научными целями, разумеется; ухаживать за ним была приглашена уже немолодая воспитательница, одинокая, старая дева. «Уродливый мальчуган» — настоящий гимн женской самоотверженности. Вместе с тем, это страстное антирасистское произведе-

ние. Материнская любовь «белой» женщины к беззащитному мальчику показана как совершенно нормальный, естественный вариант человеческих отношений. Героиня борется с предрассудками, доказывая, что ее Тимоти — самый настоящий человек, здоровый, смысленный, а никакая не обезьяна, как бы ни шокировал его внешний вид некоторых не в меру брезгливых руководителей эксперимента. Но еще важнее то, что и сам писатель так изображает маленького делегата из прошлого, что мы невольно проникаемся к нему симпатией и негодуем на тех, кто видит в Тимоти не живое, чувствующее, страдающее существо, а лишь подопытный объект. Писатель находит ударную концовку: когда Тимоти пришлось вернуть в его время, женщина уходит вместе с ним, не желая расставаться с единственной своей привязанностью. Как бы ни был безрассуден с точки зрения тех же ученых джентельменов этот поступок, он продиктован сильным и искренним чувством, и мы не можем не восхищаться им.

Еще одного перетянутого в современность неандертальца, на сей раз вполне взрослого, и с подобными же целями ввел в свой роман «Заповедник гоблинов» Клиффорд Саймак. Линия Алле-Опа (так окрестили «каменного гостя») окрашена сильной дозой юмора, но мысль та же самая — дело не во внешности, по своему умственному развитию и неандерталец может стать полноценным членом современного общества. Я, правда, не знаю, как насчет научной достоверности этого утверждения, если говорить конкретно о неандертальцах, но с точки зрения гуманизма тут все правильно.

Еще одну лирическую ниточку к прошлому протянул Д. Пристли в повести «Дженни Вильерс». Здесь речь идет не о любви в прямом смысле слова и даже не о непосредственном общении. Предоставившаяся чудесная возможность стать, пусть даже посторонним, свидетелем трагической судьбы талантливой актрисы прошлого века, сопереживание с теми испытаниями и страданиями, которые пришлось пережить нежной и несчастной девушке, обогатило душу старого драматурга, помогло ему преодолеть душевный кризис, вновь обрести утраченную было веру в людей. Эта добрая повесть говорит о том, что мы связаны с прошлым невидимыми, но неразрывными нитями и что опыт прошлых поколений не исчез бесследно, не может исчезнуть. Мы не в состоянии жить без него, если хотим оставаться людьми.

А все-таки: нет ли каких-либо реальных путей для осуществления мечты фантастов? Если невозможно перемещение по времени «назад—вперед», то, может быть, возможны какие-нибудь принципиально иные способы для проникновения в прошлое или в будущее? Положим, насчет заглядывания в будущее можно усомниться, но что от прошлого сохранились какие-нибудь источники рассеянной информации, какие-нибудь застывшие волны — это более правдоподобно.

Такую идею использовал, например, И. Забелин в «Записках хроноскописта». Хроноскоп, изобретенный автором и двумя его молодыми героями, это весьма совершенное кибернетическое устройство, которое способно извлечь максимум информации из минимума данных. По обломку горшка, обрывку письма, кусочку материи оно воспроизводит образы людей, сделавших их или бравших их в руки. Словом, оно действует, как криминалист высочайшего ранга, электронный Шерлок Холмс, который, как известно, по одной пылинке мог представить себе возраст, достаток и цвет волос преступника, а также мотивы, толкнувшие его на преступление. Если такое мог сделать человек, почему бы не справиться «разумной» машине? Ничего нарушающего физические законы в предложении И. Забелина нет. С помощью хроноскопа героям его повестей удалось разрешить много любопытных историко-географических загадок — выяснить причину гибели полярной экспедиции, разгадать тайну узников северного монастыря, найти следы исчезнувших кочев — «земляных людей»... Именно эти полуфантастические, а может быть, даже и совсем не фантастические истории — существо книг И. Забелина. И хотя сейчас нас интересует хроноскоп, он введен автором лишь для того, чтобы протащить связующую нить от рассказа к рассказу.

И. Забелин видит в своем аппарате только достоинства. Иного мнения придерживается уже не первый раз упоминаемый А. Азимов; в его рассказе «Мертвое прошлое» действует устройство, носящее то же название и в принципе похожее на забелинское, хотя и сконструированное на иных технических идеях. Здесь утверждается: возможность беспрепятственного заглядывания во вчерашний день может обернуться всеобщим бедствием. Машине ведь все равно, что разглядывать, в какую сторону повернуть свой глаз. Никаких тайн больше не будет, жизнь людей будет протекать как бы в прозрачном аквариуме. Азимов своим рассказом предупреждает, что прогресс науки и техники может вызвать совершенно непредвиденные последствия.

Ладно, это прошлое, но вот получить сообщения из будущего, хотя бы в фантастическом романе, дело, бесспорно, хорошее. И Ольга Ларионова в «Леопарде с вершины Килиманджаро» описывает звездолет, нырнувший в некое подпространство и, переместившись по времени, вернувшийся обратно со списком, в котором указан год смерти всех живущих на земле людей. Каждый, кто пожелает, может навести справку, когда именно он сойдет с катушек. Следуя основной мысли этой статьи, я не стану задавать вопроса: зачем и кому — злему гению, энергетическим сгусткам, будущим поколениям — понадобилось составлять такой список. Это не столь существенно, теоретически подобный поминальник может привезти с собой любой путешественник по времени. Но зато нас очень будет интересовать: а для чего этот экстравагантно шокирующий ход придуман автором? И тут ненароком выясняется, что авторская позиция ложна, надуманна, если позволительно употребить это слово по отношению к фантастике. Добровольное обнародование подобной информации странным образом выдается за победу духа, за подвиг смелых, не боящихся взглянуть в лицо смерти. О, разумеется, собственного дня похорон и похорон своих близких люди будущего ожидают с большим достоинством, не прекращая напряженного творческого труда, шуток и занятий спортом!

Из-за ложности основной посылки повесть фальшива во всех психологических мотивировках. И герой, который не знает даты своей смерти, и две знающие женщины, которых он любит, — все ведут себя крайне неестественно. Например, девушка, которая знает, что скоро погибнет, признается герою в любви (надо учесть: он-то и не догадывается, что видит ее в последний раз). Зачем же она призналась? Чтобы любимому тяжелее было переживать ее преждевременную кончину? Ни один искренне любящий человек так не поступит. Это свойственно лишь героиням мелодрам.

А ведь замысел у Ларионовой был благородным: показать любовь, сильные чувства людей будущего, людей коммунизма. Но невозможно поверить, что эти действительно сильные, действительно гордые люди будут вести себя в предложенной ситуации именно так. Больше всего, пожалуй, поражает их абсолютное смирение перед роком, обуявший всех крайний фатализм. Ни автору, ни героям не приходит в голову: а нельзя ли начать борьбу против этого проклятого списка, сделать его неверным, ликвидировать его.

В свое время Лаплас выдвинул знаменитое положение о всеобщей предопределенности. Из уважения к первоисточникам процитируем его самого: «Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы, обуславливающие природу и относительное положение всех ее составных частей, если бы вдоба-

вок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в одной формуле движение величайших тел вселенной наравне с движением легчайших атомов, не оставалось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же, как и прошлое, предстало бы перед его взором». Последователи Лапласа договорились до того, что его Вычислитель мог бы узнать на основе своей формулы, кто был человек в железной маске и когда Англия сожжет последний кусок угля. Увы, нынешняя наука доказала, что все это умопостроение неверно в корне. Если бы даже предлагаемая Лапласом гигантская работа была проделана, Вычислитель все равно ничего не смог бы предсказать. Как выяснилось, физической Вселенной правят вероятностные законы и закономерность проявляется через случайность. Но, прочтя «Леопарда», Лаплас, вероятно, порадовался бы тому, что фантасты XX века решили доказать его правоту в художественных образах. И действительно, лишь фанатической верой в «железную» предопределенность можно объяснить поведение героев Ларионовой. Ну, а вдруг кто-нибудь решит умереть раньше, чем ему указано в списке, хотя бы для того, чтобы сделать его неверным. Кто ему может запретить это сделать? Не божественная ли воля? Значит, законы случайности в частном случае можно нарушить. Почему же человечество ведет себя, как гуси во дворе мясокомбината...

Большинство фантастов считали и продолжают считать, что любая информация из прошлого или будущего была бы бесценным подарком для человечества. Азимов по отношению к прошлому, а Ларионова по отношению к будущему показали, что это не так, что со временем шутки плохи и подарок может обернуться проклятием (хотя сама Ларионова, видимо, думает по-иному). Так что фантастика обсудила все варианты, и человечество может считать себя подготовленным, если такое изобретение появится.

* * *

Нельзя не обратить внимания на то, что произведения-путешествия по времени больше норовят устремиться в прошлое, нежели в будущее; так сказать, линия Марка Твена и Сватоплука Чеха решительно торжествует над линией Уэллса. Почему так происходит? Дело в том, что путешествие в будущее по смыслу вещей должно всякий раз приводить автора к утопии (или антиутопии). Но на этот трудный жанр не каждый решается, к тому же если уж писатель затеял утопию, то само по себе путешествие во времени ему не очень-то и нужно. Понятно, с прошлым положение иное, иначе мы получили бы обычный исторический роман, а не фантастику.

Рассматривать в рамках избранной темы значительную часть гигантской утопической литературы едва ли целесообразно. Ограничимся двумя современными примерами, чтобы опять-таки показать, с какими намерениями и каким образом серьезная фантастика перебрасывает героя через «хребты веков».

Хотя нынешние писатели и не любят героя бездейственного, но в позиции экскурсанта, которого водят по утопическому музею, есть свои преимущества, поэтому совсем от него они не отказались. Через восприятие человека из другой эпохи легче показать странность, необычность того мира, куда он попал, по контрасту с его представлениями легче выявить достоинства или недостатки окружающей его новой жизни.

И вот тут-то у современного писателя есть блестящая возможность отправить человека сквозь века, не мучая ни себя, ни читателя никакими временными головоломками. Теория относительности разрешает (по крайней мере в принципе) обгонять время. Вот как о так называемом «парадоксе близнецов» говорит творец теории относительности Альберт Эйнштейн: «Если бы поместить живой организм в коробку... то можно было бы достичь того, что этот организм после сколь угодно длинных полетов, сколь угодно мало изменившийся, снова возвратился бы на свое первоначальное место, в то время как совершенно такие же организмы, оставшиеся в покое на первоначальных местах, давно дали место новым поколениям. Для двигавшегося организма продолжительное время путешествия было одним моментом в том случае, если движение происходило со скоростью, близкой к скорости света». Коробка с живым организмом, это, конечно, ракета с космонавтами. Экипаж такого сверхскоростного корабля, вернувшись на землю и попав в будущее, так в нем и останется навсегда, не сможет вернуться в свое родное время. Это единственная возможность путешествовать по времени, которая лишена логических противоречий и поэтому вполне может претендовать на звание научной.

Ситуация, в которую попадают космические путешественники, сохранившие свою молодость, когда их сверстники на земле постарели или уже умерли, угадана в старой легенде о монахе, который забрел далеко в лес, услышал соловьиное пение, наслаждался трелью и побрел обратно. Но в монастыре его никто не узнал, так как он отсутствовал полвека, и только один глубокий старик, его бывший товарищ, опознал вернувшегося.

Чтобы резче подчеркнуть изменения, которые происходят вокруг, писатели XIX века заставляли иногда своих героев засыпать на долгий срок (например, Рип ван Винкль В. Ирвинга или Поток-богатырь А. К. Толстого).

Теперь фантастика пользуется рекомендациями самого Эйнштейна. После слушания космических соловьев возвращаются космопроходцы на родную планету, которую они не узнают и на которой их никто не ждет: люди не считают в живых экипаж давным-давно стартовавшего звездолета. Этим почти одинаковым приемом начинаются два романа, которые первоначально и назывались почти одинаково: «Возвращение на землю» Станислава Лема и «Возвращение» братьев Стругацких. (В новом издании Стругацкие назвали свой роман «Полдень. XXII век»). Но за первой главой сходство кончается. А. и Б. Стругацкие, иные книги которых вызывали споры и разногласия, написали одно из самых ясных произведений. Собственно, это просто цикл новелл о прекрасном и светлом завтрашнем дне. Космонавты, застрявшие в космосе из-за аварии, нечто подобное и ожидали увидеть, поэтому они могут восхищаться увиденным, но поводов для потрясения у них нет.

Совсем другое дело космолетчики Лема. Они никак не ожидали застать тот страшный мир, который ожидал их на Земле, и тем более страшный, что люди, живущие в нем, считают его вполне нормальным, более того, они сами его создали. Впрочем, внешне это очень благополучный и респектабельный мир, в котором никто ни в чем не нуждается...

«Возвращение со звезд» в чем-то схоже с «Концом вечности». И тут, и там люди, затеявая грандиозные научные эксперименты над человечеством, руководствовались самыми лучшими побуждениями; обычно фраза продолжается так: «и не их вина...» К сожалению, это неверно, вина как раз их, хотя, конечно, они могли не предусмотреть конкретных последствий, к которым привела «бетризация» — мозговая операция, проделанная над всеми людьми. Она должна была лишить человека агрессивных инстинктов, но одновременно с этим лишила его воли и интереса к жизни, он стал незлобивым, довольным собой, травоядным. Зачем, например, нужны те же самые космические полеты, зачем куда-то стремиться, когда и на земле хорошо?

Люди из другого времени, близкие нам по психологии космонавты не смогли понять и принять этот мир. И они снова уходят в просторы Вселенной на своем старом корабле, теперь уже навсегда, потому что возвращаться им некуда.

Снова в самой резкой, может быть, даже излишне резкой форме заявляется: будьте поосторожней с плодами научно-технического прогресса, как бы потом не пожалеть!

Как можно узнать из научных книг, время бывает абсолютным, релятивистским, звездным, гравитационным, маятниковым, физическим, универсальным, симметричным, асимметричным, цикличным, индивидуальным, биологическим, математическим, космическим и т. д. Какое же из этих многочисленных времен нас интересует больше всего?

Загадкой и природой времени занимались крупнейшие мыслители и крупнейшие ученые. В числе гипотез, которые были выдвинуты при продолжительном обсуждении этого вопроса, были и такие, которые далеко оставляют за собой самые смелые из фантастических книг. Например, Больцман (а вслед за ним и другие) предположил, что во Вселенной могут быть районы, в которых течение времени противоположно нашему, хотя они, надо думать, отделены от нас невообразимыми пустыми пространствами. С нашей точки зрения, в таких местах следствие предшествует причине, рана — выстрелу, суд — преступлению, смерть — рождению, здесь как бы осуществилась выдумка Люиса Кэролла, у которого Белая королева лучше всего «помнила» события, которые произойдут на будущей неделе. Разумеется, с «их» позиций, подобные нелепицы происходят в нашем мире.

Мотив встречного времени иногда используется и в фантастике. В рассказе «Забавный случай с Бэнджамином Баттоном» Скотта Фитцджеральда, например, рождается старичок, который с каждым днем все молодеет, молодеет... Но как бы порой ни были забавны подобные выдумки, не к ним нужно призывать авторов научно-фантастических книг. Нас интересует художественное отражение времени, в котором мы живем. Еще Аристотель высказал мысль, что в отсутствие души время не будет существовать. Современная наука опровергла эту идеалистическую точку зрения. Время — это не порождение человеческого сознания, а неотъемлемое свойство движущейся материи. Но, пожалуй, в области художественной литературы точка зрения Аристотеля должна быть признана непререкаемой, без «души», без человеческого наполнения, время не может и не должно становиться предметом беллетристических упражнений над ним, ибо единственное, к чему они обычно приводят, — это к его потере.

СОДЕРЖАНИЕ

Георгий Гуревич. Приглашение в зенит	3
В. Фирсов. Ангелы неба	78
В. Комаров. Решение	93
Роман Подольный. Согласен быть вторым	111
С. Алегин. Человек, который не спал .	150
Станислав Лем. 137 секунд. С польского перевел В. Иваницкий	154
Еремей Парнов. В год «Башни солнца» .	180
Всеволод Ревич. Время, вперед! Время, назад!	195

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Выпуск № 13

Составитель Е. С. МУСЛИН

Редактор Н. Яснопольский

Художник Г. Басыров

Худож. редактор В. Конюхов

Техн. редактор Т. Самсонова

Корректор О. Мигун

А 06703. Индекс заказа 37 713. Сдано в набор 10/VIII—1973 г.
Подписано к печати 17/1—1974 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 3. Бум. л. 3,5. Печ. л. 7,0. Усл.-печ.
л. 11,76. Уч.-изд. л. 1447. Тираж 100 000 экз. Цена 46 коп.
Издательство «Знание». 101 835. Москва, Центр, проезд
Серова, д. 3/4. Заказ 585. Киевская книжная фабрика респуб-
ликанского производственного объединения «Полиграфкинг»
Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.

46 коп.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
МОСКВА 1974**